

Проверено 1961 г.

76

Les historiens étrangers

ПРОВЕРЕНО
2000 г.

Н. И. КАРЕЕВ

ИЗУЧЕНИЕ



ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
ВНЕ ФРАНЦИИ

СЛОВО



Издательство „КОЛОС“
ЛЕНИНГРАД
1925

ГЛАВА XII.

Немецкие историки.

Немецкая историография всегда славилась своим универсализмом в отличие от многих других исторических литератур, в которых мы имеем почти исключительно только труды, относящиеся к прошлому одной родной страны. Это общее наблюдение распространяется и на эпоху французской революции, изучавшейся некоторыми немецкими историками вполне самостоятельно и с важными результатами для науки. Немецкая публицистика, как мы видели в первой части нашего обзора ¹⁾, в самую эпоху революции обратила большое внимание на это событие еще безотносительно к тому, что революция затронула самое Германию. С 1792 года две главные германские державы, Австрия и Пруссия, находились в войне с Францией, война-же эта привела к отторжению от Германии всего левого берега Рейна, который и вошел в территориальный состав Французской республики. Это было только началом разрушения средневековой Священной Римской Империи немецкой нации и началом французского владычества почти во всей Германии. Не только левый берег Рейна, но весь северо-запад Германии вдоль Немецкого моря сделался территорией, принадлежавшей французской империи в то время, как остальные германские государства, кроме сильно обрезанных Австрии и Пруссии, образовали так называемый Рейнский союз под протекторатом Наполеона. Мало того, французская революция, дело которой по отношению к Германии продолжал Наполеон, уничтожила здесь феодальное мелкодержавие, соевратив число германских княжеств с трех сотен до двух десятков и отменив самостоятельность вольных имперских городов, и, кроме того, ввела в некоторые



¹⁾ См. т. I, стр. 57.

из этих княжеств новые французские порядки до отмены крепостного состояния крестьян включительно. Таким образом, французская революция сделалась очень важным моментом в национальной истории Германии, что явилось лишним мотивом для немецких историков серьезно изучать эту знаменательную эпоху. Весьма естественно, что франко-германские отношения во время революции сделались предметом большой литературы на немецком языке, которая тоже входит в состав историографии французской революции. Мы ограничимся здесь только простыми указаниями на главнейшее в этой литературе. Здесь, кроме очень старых работ Рюса, Зугенгейма, Гонеггера вообще о французском влиянии на Германию¹⁾, обращают на себя внимание следующие немецкие труды: во первых, это — труды о революционных войнах французов против Австрии и Пруссии, каковы книги Huffer'a (*Oesterreich und Preussen gegenüber die französische Revolution der Kongress und die zweite Koalition*), L. Range (*Ursprung und Beginn der Revolutionskriege*, 1875), Lanhert von Simmern'a (*Oesterreich und das Reich im Kampfe mit der französischen Republik*, 1880 — 1882), Heydrich'a (*Preussen im Kampfe mit der französischen Republik*). Во вторых, сюда относятся работы о внутренних настроениях Германии в эпоху революции, каковы например: Wohlwill. *Weltbürgertum und Vaterlandsliebe der Schwaben von 1789 bis 1815.* — Venedey. *Die deutschen Republikaner unter der französischen Republik* (1870). — A. F. Raif. *Die Urteile der Deutschen über die französische Nationalität im Zeitalter der Revolution* (1911) и т. д. Не называю уже общих историй Германии (или отдельных ее государств) за время французской революции. Разумеется, не об этой литературе должна идти речь в настоящей главе, а об общих трудах по истории самой французской революции на немецком языке²⁾.

¹⁾ Rühls. *Historische Entwicklung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen.* — Sugenheim. *Frankreichs Einfluss auf Deutschland seit der Reformation bis zur ersten französischen Staatsumwälzung.* — Honegger. *Kritische Geschichte der französischen Kultureinflüsse in den letzten Jahrhunderten.* Сюда же можно отнести: Perthes. *Politische Zustände und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrschaft* (1861 — 1862).

²⁾ Мы оставляем без рассмотрения многочисленные имеющиеся на немецком языке всеобщие истории, в которых большее или меньшее место отводится, конечно, и эпохе французской революции, потому что это более сводные работы, подводящие итоги, а не прокладывающие новые пути.

Фр.-Хр. Шлоссер ¹⁾.

Одним из первых, серьезно занявшихся в Германии историей французской революции, был знаменитый в свое время Шлоссер (1776 — 1861), занимавший университетскую кафедру более сорока лет в Гейдельберге. Вскоре после занятия этой кафедры в 1823-м году, когда во Франции Тьер и Минье только приступали к своим работам по революции, Шлоссер выпустил двухтомную „Историю XVIII столетия и XIX до падения французской империи с особенно подробным изложением хода литературы“, — труд, сразу сделавшийся общеизвестным и потребовавший новых изданий, в которых он разрослся, так что предсмертное его издание вышло уже в восьми томах (как он появился и в русском переводе). Признавая за историей задачу объяснить современность, с одной стороны, а с другой, проводя в своих сочинениях либерально-демократические и гуманитарно-либеральные идеи, что не мешало ему, однако, оставаться беспристрастным, Шлоссер написал труд, который, несмотря на многие недостатки построения и изложения, равно как стили, очень нравился широкой публике. Для своего времени он дал очень глубокий анализ того разложения, в каком находились в Европе государственная и общественная жизнь, в частности и нравы высших сословий. По его убеждению, такое состояние могло завершиться или такою же гибелью, какая постигла Римскую империю, или „очищением в пламени революции“, которая и дала Франции ряд „благодеяний, достойных вечного благословения потомства“. Таковую точку зрения на революцию историк проводил в эпоху меттерниховской реакции, когда в революции находили все, что только видели в ней реакционные писатели, родоначальником которых был в Германии Генц ²⁾. Возможным это было только благодаря из-

В начатой в 1879 г. Вильгельмом Онкеном „Allgemeine Weltgeschichte im Einzeldarstellungen“, вышедшей в свет в сорока томах, история французской революции излагается самим Онкеном в составе двух томов, посвященных, кроме того, империи и освободительным войнам (1884—1887). Этот труд оставляем без рассмотрения по той же причине.

¹⁾ О нем Gervinus (1861; русск. пер. в предисловии к пер. 1 тома его „Всемирной истории“), Georg Weber (1876), Erdmannsdörfer (1876), O. Lorenz (1873). E. Marcks (в Heidelberg Professoreu, 1903).

²⁾ О его взглядах на революцию см. в 1 томе, на стр. 55 — 57.

вестному либерализму баденского правительства, чем об'ясняется посвящение автором одного из последних изданий этой книги вдовствующей баденской герцогине Стефании.

Одной из важных особенностей „Истории XVIII столетия“ Шлоссера было соединение в ней политической истории с литературной, правда, несколько внешнее. Благодаря этому он ввел в свое изложение главы, посвященные обзору „главнейших перемен, происшедших в воззрениях на отношения людей образованного круга“ в разные периоды XVIII века. История собственно французской революции начинается у Шлоссера с V тома и заканчивается в VI т., занимая в нем приблизительно две пятых части, посвященные эпохе директории. Переиздавая пятый том незадолго до смерти, Шлоссер предпослал ему предисловие, где из прежних предисловий сохранил некоторые характерные места. Он говорит, например, что сам „всегда слишком мало заботился об одобрении специальных ученых“ и что издавна старался „более о том, чтобы иметь за себя внутреннее правдоподобие, нежели о том, чтобы иметь за себя документы, которыми, прибавляет он, не следует, впрочем, пренебрегать“¹⁾. Далее, он ссылается на то, что „очень почтенные люди ободряли его расширить об'ем этого труда, несмотря на то, что философы и мастера об'ективной истории хмурили брови“ (стр. 2). Выходят так, как будто внутреннее правдоподобие было для Шлоссера научнее, чем документы, хотя и ими пренебрегать он не советовал, — черта, отмечающая известный период в понимании задачи истории. Ему было приятно, когда, как он сам выражается, „люди, знающие свет, были за него, а самодовольные книгоделатели — против него“. С презрением отзывается он об „университетских матодорах“, которые каждое свое издание „обременяют таким грузом цитат, что очень немногие бывают в состоянии читать их толстобрюхие и очень дорогие книги, покровительствуемые и награждаемые правительствами и нравящиеся аристократам“. Впрочем, он тут-же прибавил, что если ученые не хотели его слушать, то читателей у него всегда было много (IV). Но здесь-же, в этом предисловии, Шлоссер говорит и о том, как много он работал и перерабатывал свою книгу. Он побывал в Па-

¹⁾ Т. V русск. перевода, изд. 1868 г., стр. 1.

риже в первый раз в 1821 году, потом в 1834 году, когда познакомился с Тибодо, бывшим членом Конвента и Совета пятисот, автором мемуаров о Конвенте и Директории (1824), и с историком революции Минье, в то время хранителем архива министерства иностранных дел, позволившим ему работать в архиве.

Наконец, для характеристики книги Шлоссера, отметим из этого предисловия, что, по его словам, он боялся, как бы его „реакционное доктринерское время не стало пугаться резкого тона и неприкрашенной правды“, и потому „сделал все, чем мог смягчить свое негодование“, и „заменял многие жесткие выражения другими“ (VI). С другой стороны, он „поставил себе правилом не вдаваться ни в какие рассуждения и ни в какие политические и дипломатические прения“, а только „рассказывать факт за фактом, предоставляя читателю рассуждать, годится ли для него“ (VIII).

Собственно говоря, рассказ о событиях революции у Шлоссера был невелик. Изложение ее истории прерывается у него обзором событий в других странах и международных отношений. Например, вся эпоха от волнений 1788 года до конца Учредительного Собрания занимает менее 100 страниц из 500 с небольшим (по русск. пер.). Параграфов о внутренней истории Франции в эпоху Законодательного Собрания можно насчитать страниц около 70, не включая из них тех, где речь идет о происхождении войны 1792 г. Наконец, на время от учреждения республики до конца Конвента приходится около сотни страниц, так что в целом из этих кусков составила-бы книжка немного более, чем в 250 страниц, к которым из IV тома пришлось-бы прибавить немного, собственно, из внутренней истории Франции в эпоху Директории. Но эти страницы в Германии долгое время находили наибольшее количество читателей, знакомившихся по ним с историей французской революции. Читались они с большим увлечением, потому что Шлоссер везде давал полную волю своему субъективизму. „В истории Шлоссера, писал о нем автор предисловия к VIII тому русского перевода (М. А. Антонович), на каждой строке говорит голос глубокого убеждения, искреннего чувства, неподдельного восторга или негодования, нравственной строгости и презрения ко всякому ренегатству. Шлоссер не холодно и не безразлично

относится к изображаемым им фактам и личностям, но живет с ними, интересуясь прошлыми событиями так, как будто они совершаются вокруг него, для него и имеют влияние на его собственную жизнь... У него есть несколько общих принципов, несколько признанных им законов правды и добра, за нарушение которых он порицает всякого, кто бы их ни нарушал: прогрессивная или отсталая партия, революционеры или контр-революционеры, демократы или аристократы" (стр. LXXIX). От этого некоторым казалось, что отношение Шлоссера ко всем политическим партиям отличалось безразличием, чего на самом деле далеко не было, потому что он соблюдал свое правило не вдаваться в политические рассуждения и прения и, как он говорил в другом месте предисловия к V тому, „не хотел обращать никого“ (т. V, стр. 7). Он судил не принципы, не лозунги партий и людей, но их действия, их дела, особенно негодуя, когда дело расходилось со словом. Не нужно забывать того, что уже было приведено из этого предисловия о „внутреннем правдоподобии“. Оно было для него все. Опять-таки в этой своей profession de foi он упоминает о достижении им объективной уверенности, с которою и говорил, „потому что субъективной не мог достичь на своем пути“. Историк для него должен был быть прежде всего рассказчиком, а „образованный рассказчик, говорит он, всегда достигает непосредственного знания о том, что правда и что могло быть правдой, без всяких других доказательств, кроме внутренней связи и знакомства с ходом человеческих дел“. Вот эти, так сказать, интуитивизм и импрессионизм Шлоссера и делали его любимцем современных ему читателей. В этом отношении, *mutatis mutandis*, в Шлоссере было нечто сходное, из других историков революции, с Карлейлем и с Мишле, писавшими позже его.

Каким-бы отсталым стародумом ни казался теперь Шлоссер при перечитывании тех или других страниц его „Истории XVIII в.“, какую бы устарелюю ни была она на самом деле, те две с половиной или три сотни страниц, на которых у него изложена внутренняя история Франции в эпоху революции, стоило бы даже переиздать отдельно, с необходимыми поправками, ради того благотворного воспитательного действия, которое всегда признавалось за чтением Шлоссера, хотя сам он был далек от навязывания другим своих мыслей,

как он упоминает все в том же своем предисловии к V тому, зная, что „каждый читатель берется за книгу со своей системой, с духом своей партии и сочувствует в книге только тому, что соответствует его системе и понятиям его партии“ (VIII). Отсюда он выводит необходимость осторожности и сознания, что не все же читатель будет принимать за истину, но в то же время и невозможность угодить всем, в особенности молодежи, склонной увлекаться „системами и доктринами, избавляющими от надобности иметь запас положительных знаний и трудиться над подведением сотни отдельных опытов под одно понятие“ (IX).

Рассмотрение отдельных мыслей Шлоссера о французской революции при указанном его субъективизме завело бы нас слишком далеко, тем более, что изображение им французской революции интересно не со стороны каких-либо точек зрения в деле построения ее общего хода, а со стороны ее оценки с моральной точки зрения. Но и ничего не сказать о Шлоссере в обзоре немецкой литературы о французской революции было-бы, мне кажется, каким-то пробелом, хотя в историю революции он не внес ни нового материала, ни новой какой-либо идеи, ни какой-нибудь партийной точки зрения. Его отношение к революции стоит особняком, как и Карлейлевское в Англии¹⁾.

Вскоре после появления трудов Тьера и Минье, в 1827 году, в Германии стала появляться большая „История государственной перемены во Франции“ Ваксмута и Шютца, бывшая доведенною в шести томах только до 1792 года²⁾. Первый из названных авторов был профессором в Киле и в Лейпциге и в сороковых годах написал еще два сочинения о революции³⁾, которым в восьмидесятых годах видимо пользовался Карл Каутский в своем обзоре классовых противоречий в 1789 году. Об этом труде Гейссер, впоследствии автор университетского курса о революции, отозвался так: „это целый магазин сухих заметок. Муравьиное прилежание

¹⁾ VIII т. прижизненного издания „История XVIII в.“ вышел в 1860 г. незадолго до кончины Шлоссера. В предисловии к нему, он констатирует, что перестал быть современным событий, совершавшихся вокруг него.

²⁾ Wachsmuth und Schütz. Geschichte der Staatsveränderung in Frankreich.

³⁾ Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter (1840 — 1844) и Geschichte des Zeitalters der Revolution (1846 — 1848).

в собирании и откапывании фактов и самая пошлая ограниченность в суждениях. Вся основательность автора не спасает его от смешного непонимания великих характеров и положений, от жестоких искажений, тем не менее этот труд, оговаривается Гейссер, весьма пригоден, как список грехов Учредительного Собрания и как тщательный каталог возводимых на него обвинений¹⁾.

Это и все, что стоит отметить в немецкой историографии о французской революции в первой половине XIX века. Только после революции 1848 года, когда во Франции уже были написаны первые томы историй Мишле и Луи Блана, появилась оригинальная работа о великой революции, достойная того, чтобы и теперь читаться, притом и с удовольствием, и с пользой. Автором этой работы был Лоренц Штейн, на котором мы теперь подробно и остановимся.

Лоренц Штейн²⁾.

Лоренцу фон-Штейну, знаменитому немецкому государствоведу, юристу и экономисту (1815—1890), было только двадцать пять лет, когда, окончив университетский курс, он, заинтересованный новыми французскими социальными теориями, поехал в Париж, где лично познакомился с такими писателями, как фюрерист Консидеран, автор „Икарни“ Кабе и только что написавший свою „Организацию труда“ Луи Блан. В 1842 году появилась книга Лоренца Штейна „Социализм и коммунизм теперешней Франции³⁾“, бывшая первым научно-критическим трудом об этом новом направлении общественной мысли. Когда во Франции произошла февральская революция, он написал еще „Социалистические и коммунистические движения со времени третьей француз-

¹⁾ L. Häusser. Geschichte der französischen Revolution, 125.

²⁾ О. Л. Штейне статьи Шмоллера (в „Preuss. Jahrbücher“ за 1869 и в „Zur Literaturgeschichte der Staats- und Socialwissenschaften“, 1888), Менгера (в „Jahrbuch für Nationalökonomie und Staatswissenschaft“, 1891), Мясковского (в „Unsere Zeit“, 1890), Мархета (в „Oesterreichische Zeitschrift für Verwaltung“, 1890) и книги Тарасова (Основные положения Лоренца Штейна) и Блока (Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Л. Штейна, 1880).

³⁾ Der Socialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs.

ской революции“¹⁾. Через два года он слил оба эти труда, переработав и расширив прежний материал, в один трехтомный труд, озаглавленный „История социального движения во Франции от 1789 года до наших дней“²⁾. В это время автор уже занимал кафедру в Кильском университете, которую вскоре вынужден был оставить по политическим причинам, после чего, спустя некоторое время, в течение тридцати лет (1855—1885) преподавал в Венском университете, будучи его украшением и гордостью. Он оставил громадное число серьезных научных трудов и выработал стройное систематическое учение о государстве и управлении, сложившееся под влиянием отчасти философии Гегеля, а отчасти и французских социалистических теорий.

Чтобы понять отношение Лоренца Штейна к французской революции в его „Истории социального движения во Франции с 1789 года“, необходимо иметь в виду то, что собственно составляет основную идею его первого еще юношеского труда. В Париже Штейн познакомился, между прочим, с Луи Рейбо, только-что выпустившим тогда книгу под заглавием „Этюды о современных реформаторах или новейших социалистах, Сен-Симоне, Фурье и Оуэне“ (1839), но это было простое изложение их идей без исследования предмета. Молодой немецкий ученый сразу понял основной недостаток книги Рейбо, который видел в теориях названных писателей лишь новые утопии в ряду других, не связав их с историей общества и с появлением пролетариата на исторической сцене. С этой точки зрения он решительно осудил работу Рейбо, как одностороннюю и неверную по отношению к содержанию и эпохи, и самых теорий. Заслуга Штейна была в том, что он связал новые социальные теории с общественной почвой, на которой они возникли. Время чисто политических революций прошло, и ближайшая революция, предсказывал Штейн, может быть только социальной, причем говорил он это относительно не только Франции, но и других стран, прежде всего Германии. Из своего исследования он вынес ту общую мысль, что социально-экономическая подкладка французского

¹⁾ Die socialistischen und kommunistischen Bewegungen seit der dritten französischen Revolution.

²⁾ Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. Первое издание вышло в 1850 году, второе — в 1855, новейшее — в 1922 г. Переводы мне неизвестны, если только они были.

социализма и коммунизма была классовая борьба буржуазии и пролетариата.

Конечно, такой вывод не был совершенною новостью, потому что точка зрения классовой борьбы уже давно была принята французскими историками и в частности Луи Бланом в его „Истории десяти лет“, вышедшей в свет как-раз перед приездом Штейна в Париж ¹⁾. Уже тогда, однако, Штейн занялся самостоятельным выяснением понятия общества, взятого, главным образом, в своей экономической основе „с зависимостью тех, которые ничего не имеют, от тех, которые имеют“, — формулировка, напоминающая Луи Блана ²⁾. Занявшись теоретическим вопросом об обществе, Штейн пришел к мысли, что отношения между обществом и государством могут быть весьма различные, вплоть до борьбы, в народном же представительстве он стал видеть „орган, посредством которого общество (т.-е. господствующий класс общества) господствует над государством“. Сам он хотел бы, чтобы была власть, стоящая выше частных интересов, в том числе и классовых, и усматривал возможность такой власти в монархии и во всей совокупности должностных лиц государства. Его идеалом являлась социальная монархия, самостоятельно пользующаяся государственным верховенством для „возвышения низшего, социально и политически подчиненного класса против волн и естественных стремлений господствующего слоя“. Нас, однако, должна здесь интересовать не эта политическая утопия Штейна, а обнаруженное им глубокое понимание — с социально-экономической стороны общественных движений и в связи с нею — теоретического движения общественной мысли. Вскоре ту же основную идею стал, как известно, развивать Карл Маркс, переселившийся в Париж, позже приезда Штейна, и позже также занявшийся изучением тогдашней социалистической литературы.

Первый том труда Лоренца Штейна называется „Понятие общества и социальная история французской революции до 1830-го года“ ³⁾. Изложению в нем истории революции предшествует на ста тридцати страницах особая нуме-

¹⁾ См. т. I, стр. 142—143.

²⁾ См. т. I, стр. 142.

³⁾ Der Begriff der Gesellschaft und die sociale Geschichte der französischen Revolution bis zum Jahre 1830.

рации римскими цифрами целый теоретический трактат под заглавием „Понятие общества и законы его движения. Введение к истории социального движения во Франции с 1789-го года“¹⁾, корпус же книги в 340 страниц заключает в себе три неравные части, из которых первая посвящена революции, вторая — империи, третья — реставрации, но так, что первая занимает больше половины всей социальной истории Франции (именно 217 страниц). Этими двумя сотнями страниц мы и займемся теперь, как одним из наиболее замечательных произведений в историографии французской революции.

Прежде всего, не нужно забывать, что Лоренц Штейн писал эти страницы в конце сороковых годов, когда вышли в свет только первые томы больших историй Мишле и Луи Блана и едва только Ламаргин опубликовал свою „Историю жирондистов“, но еще не было „Старого порядка и революции“ Токвиля, некоторые идеи которого Лоренцом Штейном были уже предвосхищены. Чаще всего автор ссылается на Минье, мнениям которого иногда прямо следует, почти не называет Тьера и очень сравнительно редко ссылается на таких историков, как Лакретель, бывших уже достаточно устарелыми в конце сороковых годов. Тем не менее небольшой очерк социальной стороны революции, написанный на основании тогдашних пособий с прибавкою к ним немногих литературных (публицистических) и документальных (законодательных) источников, представляет собою нечто в высшей степени содержательное и оригинальное. Нужно только удивляться, что изданная в начале пятидесятых годов книга Лоренца Штейна почти не переиздавалась в течение семи десятков лет и, в общем, очень мало упоминается в трудах других историков французской революции²⁾.

То, что в ней дал автор, отнюдь не представляет собою повествовательного труда. Лоренц Штейн предполагает события революции хорошо известными читателю, а потому не рассказывает, а только следит за общим ходом революции, объясняя его необходимость с той точки зрения, которую устанавливает в упомянутом введении, где разъясняет понятие

¹⁾ Der Begriff der Gesellschaft und die Gesetze ihrer Bewegung. Einleitung zur sozialen Bewegung Frankreichs s. 1789.

²⁾ Новое издание сделано только в 1922 году.

„общества“ в его отличии от „государства“ и делает попытку открыть „законы его движения“, сводя все наиболее основное и существенное в истории к взаимоотношениям и взаимодействиям социальных классов. Не входя в подробности, намеренно устраняя все второстепенное, побочное, случайное в ходе событий, он видит в данной их последовательности лишь внешние проявления внутреннего движения, происходившего в глубинах общественного бытия, лишь бросающиеся в глаза обнаружения некоторой закономерности в развивающейся жизни общества. Уже одно это составляет важную заслугу автора, но, кроме того, мы находим у него множество оригинальных и необычайно провидительных суждений об отдельных явлениях революции, о событиях и людях, о конституциях и законах и т. п. Лоренц Штейн не размышлял новых источников, а пользовался общеизвестным материалом, но в это общеизвестное он глубоко вдумывался и искал в ходе революции некоторой внутренней логики, не насилая, однако, фактическую историю заранее придуманными схемами, как ни схематично само по себе все его историческое построение. И теперь еще, через три четверти века, после стольких новых трудов по истории эпохи, две сотни страниц, написанных о ней Лоренцом Штейном, читаются с величайшим интересом, как и появившаяся несколькими годами позже книга Токвиля. Могу только рекомендовать непосредственное ознакомление с книгой Лоренца Штейна всякому серьезно занимающемуся историей французской революции, социальная сторона которой даже гораздо глубже была им понята, нежели столь важным писателем, каким был Токвиль.

В предисловии автор ссылается на высказанное им раньше положение, что следующая революция будет социальной: оно прямо сбылось во исполнение „закона общественного движения“, возникшего не в 1848 и 1849 годах, а вечного, изначального. Он и поставил своею задачей „найти этот закон“ (стр. 2). Основная мысль его теоретического введения — та, что „государственные устройства и управления подчинены элементам и движениям общественного распорядка“ (*gesellschaftlichen Ordnung*). Важно, что наше время достигло познания того, что существует такой распорядок, господствующий над государством и над правом.

„Сознание этого начинает проникать с собою движения народов, а чрез то в этих движениях постигается, что государственная власть есть лишь средство для общественных целей, лишь оружие в общественных битвах, лишь условие общественной свободы. Борьба одного класса против другого поэтому направляется в сторону приобретения для себя закономерной (verfassungsmässige) государственной власти с исключением из нее другого класса. Цель же этой борьбы определяется мыслью о необходимости такого использования приобретенною в борьбе государственною властью или такого ведения государственных дел, чтобы оно служило целям общественного класса, обладающего этой властью“. Этого закона, прибавляет Лоренц Штейн, не может избежать никакое политическое движение (стр. 2—3). В частности, он указывает на то, что всякое, какое бы то ни было „вступление неимущего класса в государственный строй (Staatsverfassung), совершится ли оно во имя силы или во имя человечества, любви, братства или церкви, божества, всегда будет иметь только это, а не какое-либо иное применение государственной власти“ (стр. 3). Вот с этой точки зрения он и поставил своей задачей рассмотреть историю французского общества (стр. 7). Предисловие кончается такими словами: „Утренний час всемирной истории с ее сильным оживлением при первых лучах грядущего солнца пробудил наше время, сообщил ему мощь, радость и упование юности. Мы не хотим потерять этот час“ (стр. 8). Под этими словами стоит дата: „середина октября 1849 года“. Читатель видит, что основная точка зрения Лоренца Штейна близко подходит к той, которую в те же сороковые годы прошлого века выдвинул вперед Карл Маркс. Еще резче бросилось бы в глаза это сходство, если бы мы изложили самую теорию Лоренц Штейна¹⁾. Далее, противопоставляя общество государству, как „два жизненных элемента всякого человеческого общения“ (Gemeinschaft), наш автор полагал, что „содержание истории такового общения заключается в постоянной борьбе государства с обществом, общества с государством“ (стр. 31). Их принципы—разные, ибо в государстве единица стоит в отношении только к этому целому,

¹⁾ См., напр., § „Der Organismus des Güterlebens (стр. 17 и след.)

тогда как в обществе — к другим таким же единицам, а это ставит одних в зависимость от других. Прямое противоречие обоих принципов (стр. 143) заключается в том, что „государство, как всеобщая личность, содержит в себе множество отдельных личностей без всяких различий“, т.-е. одинаково для него равных и свободных, тогда как в обществе всегда есть „господствующий и зависимый классы“ (стр. 45), при чем первый стремится, насколько лишь возможно, овладеть государственною властью (стр. 47). „Материальное преобладание (Uebermacht) имущих над неимущими есть не основа, а только следствие присущей обладанию имуществом, как таковому, власти“ (стр. 75). Лоренц Штейн с такой точки зрения и видит социальную подкладку во всякой политической революции¹⁾. Для него революция „является необходимым, совершенно естественным (naturgemässes) событием, раз зависимый класс действительно приобрел материальные и духовные и общественные блага, которые обуславливают его равенство с высшим классом, а этот высший класс отказывает ему в признании такого равенства в государственном и общественном праве“ (стр. 95). Лоренц Штейн развивает целую теорию революций, в которых отводит большое место не только политическому, но и экономическому моменту, касаясь вопроса об отношениях между капиталом и трудом (стр. 99) и понятий социализма, коммунизма и социальной демократии (стр. 107 и след.).

Социальный вопрос во всей той остроте, какую он приобрел в середине XIX века, особенно занимает мысль нашего автора в конце его теоретического „введения“. Все свои теоретические положения об обществе и его движении он и рассматривает на примере Франции, в истории которой с 1789 года различают три периода. Первый он обозначает, как чисто политическую революцию (от 1789 до 1830 г.), состоявшую в „победе приобретающего, но юридически зависимого класса над классом, просто обладающим и господствующим“. Во втором он видит „возникновение просто работающего класса, как самостоятельной и замкнутой части общества, т.-е. пролетариата в его противоположности к имущему классу или капиталу“. Третий период кажется ему

¹⁾ См. § „Понятие и закон политической революции“ (стр. 91 и сл.).

временем „борьбы и победы социальной демократии“ (стр. 140). Разумеется, мы проследим взгляды Лоренца Штейна только по отношению к первому периоду, да и то не ко всему, а только к начальному его десятилетию (1789 — 1799).

Отметим прежде всего, что Лоренц Штейн неоднократно говорит об общеевропейском значении французской революции, особенно настаивая на том, что „те же самые отношения, которые революция разрушила во Франции, подобным же образом тяготели над народами и в остальных странах Европы“ (стр. 5, 8, 17, 112 — 114), — мысль, которая проведена была потом в „Старом порядке и революции“ Токвиля¹⁾. В частности, как и последний, Лоренц Штейн основу этих отношений, т.-е. до-революционной „формы общества“, видел не в чем ином, как в феодализме: „*dies war die Bildung der auf dem Lehnswesen ruhenden Gesellschaft*“ (стр. 6). В своем развитии это общество породило целый ряд внутренних противоречий, причем на первом месте автор ставит те отношения, какие возникли к XVIII веку между привилегиями дворянства и реальным значением капитала, образовавшегося в городском сословии, с одной стороны, и духовным развитием, овладевшим общественным мнением, с другой. В силу этого противоречия должно было произойти что-либо одно: „или все свободное будущее Европы, или тогдашний общественный порядок должны были погибнуть“ (стр. 13), — мысль, которую Лоренц Штейн повторяет неоднократно (стр. 15, 16, 20). По мере того, как росло это противоречие, мысли всех заинтересованных и понимающих обращались все более к той силе, у которой были и возможность, и призвание вмешаться в дело, т.-е. к государственной власти. „Благо, богатство, искусство государства зависят от блага, богатства и силы большинства его членов, а потому и в интересе государства, и соответствует его назначению всею своею мощью помогать отдельной личности. Народ чувствует это, говорит далее Лоренц Штейн. Вот почему постоянно со своими требованиями он обращается прежде всего к государственной власти. Теперь у нее была совершенно определенная задача. Раз форма государства препятствует развитию благосостояния, государство должно пожертвовать формой, чтобы спасти самого себя. Эта форма

¹⁾ Историки французской революции, т. II, стр. 22 и сл.

сама есть не что иное, как существующее публичное право. Поэтому государство должно в силу своей власти отменить существующее право и создать новое. Этому нового публичного права требует недовольное (собственно страдающее) общество, и поэтому оно, осуществляясь, приводит новые элементы общества к участию в господстве; оно уничтожает старое общество, прежде всего нападая на существовавшие в нем привилегии. Если государство этого не делает, то делает нечто внутреннее противоречивое: оно силою власти, существующей для блага целого, поддерживает благо некоторых на счет целого и лишает самого себя средств существования превратным применением своей власти, делаясь врагом большинства своего народа" (стр. 15—16).

В таком как-раз положении находилась Франция при вступлении на престол Людовика XVI, и тому, кто не был слеп, было ясно, что „не было никакого спасения без нового порядка общественных прав“ (стр. 16). По убеждению Лоренца Штейна, если во Франции началась революция, дело было не в особенностях характера и образованности французской нации, не в ее свободолюбии или храбрости, а в недостатке энергии и инициативы у ее правительства. Здесь он сравнивает это правительство с тогдашним правительством прусским, сделавшимся образцом для подражания других правительств второй половины XVIII века. Не очень высоко ценил недостаточные, половинчатые, остававшиеся неисполненными или встречавшие противодействие реформы государей и министров этой эпохи, указывая в частности на то, что ими не имелись в виду политическая свобода и самоуправление общества, Лоренц Штейн тем не менее отдает предпочтение этим правительствам перед французским в делах управления, ибо, по крайней мере, общество в других странах не приходило к такому отчаянию относительно своего правительства, какое было во Франции (стр. 17—18). Правда, появление у власти Тюрго, рядом с которым автор ставит Мальзерб, окрылило-было надежды передовой части общества, но они не оправдались. Лоренц Штейн высказывает по этому поводу ту мысль, что вся история Франции сложилась бы иначе, если бы власть в ней сумела использовать, как следует, этот важный момент. „Путь тесного единения монархии с третьим сословием, с жизнью целого народа, говорит он, был указан;

возможность прогресса без переворота была предоставлена". Он думает совершенно так же, как полустолетием позже думал социалист Жорес¹⁾, „вера в королевскую власть могла бы быть укреплена на целые столетия“ (стр. 20), но двор взял верх над королевской властью, и оба они себя погубили. Отставка Тюрго повлекла за собою, вместо бывшего возможным союза королевской власти и среднего сословия (Mittelstand), соединение последнего „с интеллигенцией (Intelligenz) и с массою против существовавшей государственной формы... Третье сословие, оставленное властью государства, обратилось к власти новых идей“ (стр. 22).

Лоренц Штейн дает и общий очерк этих идей, т.-е. идей свободы и равенства (стр. 22 — 40), различая в них два направления. Одно из них он называет „практическим или историческим“: это было то, которое ставило своею задачею создать посредствующее звено (vermitteln) „между существующим и будущим состоянием“ (стр. 32). Представителем его был Монтескье, идеи которого исчезли из французского общества только с падением королевской власти, но, говорит Лоренц Штейн, раз, по Монтескье, монархия опирается на дворянство и на привилегии, то „для общества отсюда не было никакой пользы“ (keine Hilfe), а потому успех могло иметь только другое направление, основанное не на историческом факте, а на понимании свободного человека, на принципе государственного договора“ (стр. 34). „Верховная власть народа, говорит автор далее, в это время вовсе не была отвлеченным понятием. Значение ее заключалось не менее, как в праве государства отменить привилегии дворянства и духовенства“. Историческому праву она противопоставляла право разума, „что и давало высшую санкцию требованиям народа“ (стр. 36). Своим общим соображением о том, почему во Франции произошел политический переворот и почему он не мог оставаться исключительно политическим, Лоренц Штейн дает общее название обзора „Элементов революции“.

Часть книги, озаглавленная „Французская революция“, заключает в себе, приблизительно на полутораста страницах, обозрение хода революции от созыва нотаблей 1787 и 1788 года

¹⁾ Историк французской революции, т. II, стр. 227 и 238—269.

до издания конституции третьего года, т.-е. периода в восемь лет (1787 — 1795). Эпоха директории (1795 — 1799) рассматривается им уже в части, посвященной империи, как эпоха уже реакции. Характерно, что первый период революции обозначается у автора, как эпоха „господства третьего сословия“, причем он отнюдь не смешивает понятия „третьего“ и „среднего“ сословия (dritter Stand и Mittelstand), различая в первом имущий и неимущий классы и видя только в последнем „фактически господствующий класс“ (стр. 86). Это — эпоха Учредительного Собрания, а время Законодательного Собрания характеризуется им, как „переход к демократически-коммунистическому периоду“, ибо как-раз этим именем он обозначает эпоху Конвента, включая в ее обзор и относящийся к периоду директории эпизод заговора Бабёфа.

Лоренц Штейн поступил совершенно правильно, отнесши начало кризиса к собраниям нотаблей в 1787 и 1788 годах, как это сделал уже в конце XIX века французский историк падения старого порядка Шерэ¹⁾. Во Франции в эти годы у правящих не было ни достаточного понимания того противоречия, какое существовало между обществом и государством, ни особенной охоты устранить это противоречие (стр. 44 — 45). Чего, однако, не могли достигнуть „ни высокие идеи философов, ни самые настоятельные предостережения и доводы государственных людей, ни глубочайшее страдание томящегося в неволе народа, то, говорит нам историк, оказались в силах сделать деньги“ (das vermochte das Geld), которые „тут впервые обнаружили свою истинную мощь, принудив государственную власть взять в свои руки упорядочение нового общества“ (стр. 46). Выражаясь таким образом, Лоренц Штейн, понятно, имел в виду финансовую нужду плохо управлявшегося государства, по поводу которой и были созываемы нотабли, прибавляя, что предыдущие историки напрасно едва только затрагивали эти собрания, правда, ничего не сделавшие, но „доказавшие, что общественные силы, господствующие над государством, неспособны добровольно отказаться от своего положения и что, по общему правилу, скорее допустят насильственный переворот, нежели занятие низшим классом его естественного места в ущерб

¹⁾ Историки французской революции, т. II, стр. 159.

своим преимуществам“ (стр. 48). Жребий был брошен. „Старое государство, продолжает автор, было слабее этого старого общества, им овладевшего“, но это общество „было неспособно взяться за свое собственное преобразование и за его проведение в жизнь“. Если в это время и было произнесено название генеральных штатов, то, думает Лоренц Штейн, общество еще не знало, чего хотело, более только нечто чувствуя, чем что-либо ясно понимая (стр. 49). И еще раз по поводу нотаблей он повторяет: „то, чего не могли сделать ни ум, ни любовь к людям, было осуществлено материальной нуждой: она принудила государство занять его естественное, единственно настоящее место, принудив его стать во главе развития нового общества (стр. 50),— один из примеров того, какое важное значение имеют в глазах Лоренца Штейна материальные условия общественной жизни вообще и в частности в истории французской революции.

Если для 1787-8 г. отчасти и верно замечание Лоренца Штейна, что общество хорошенько не знало, чего хотело, то этого уже нельзя сказать по отношению к 1789 году, когда все население Франции высказывало в знаменитых наказах свои желания и надежды, при этом не только политического, но также социального и экономического характера. Из обзора французской литературы о революции мы знаем, что до середины прошлого века наказам, как историческому источнику, не придавали значения¹⁾. Не мудрено, что и Лоренц Штейн в надлежащем месте, когда можно было-бы много сказать о тогдашнем настроении разных классов общества, не только не пользуется наказами, но даже о них не упоминает и лишь однажды коротко ссылается на них по поводу выработки „Декларации прав человека и гражданина“, да и то в связи с политическими, а не социальными требованиями наказов (стр. 71). Этот пробел в рассматриваемой книге приходится, однако, поставить в упрек не ее автору, а тогдашнему общему состоянию историографии французской революции.

Лоренц Штейн очень высоко ставит Учредительное Собрание. „Ни одно позднейшее собрание до настоящего дня, говорит он, не заключало в себе такой массы выдающихся

¹⁾ Историки фр. рев., т. I, стр. 124, 205 и 244.

умов (der ausgezeichneten Geister) и характеров. Эта была благороднейшая часть народа, мало молодых людей, но еще меньше таких, которые не сумели бы умереть за свои убеждения. Люди были окружены и проникнуты самосознанием, что на них зиждется будущее страны, .. и моральный перевес был решительно на стороне той половины собрания“, которая разделяла новые идеи (стр. 53). Автор, то и дело, подчеркивает значение того или другого из всего, что было совершено этим собранием, как нечто необходимое, соответствовавшее требованиям времени, единственное, сообразное с законами общественного развития. Менее всего чувствует он себя удовлетворенным тем, как прежде него историки, даже такие, как Минье, относились к „Декларации прав“. Последний увидел в ней только ряд общих мест. Все это, думает Лоренц Штейн, было потому, что на французскую революцию смотрели, как на политическую (Revolution des Staats) только, тогда как нужно понимать ее глубже, как революцию в самом обществе (стр. 59). Высоко ставит он и законодательные декреты Учредительного Собрания в качестве „положительных основ нового общественного строя: со времени первой революции они продолжают действовать в тиши и еще действуют теперь, говорит он; они — настоящие краеугольные камни преобразования, которое без них не могло бы быть прочным“ (стр. 63). Правда, при этом наш историк не всегда был достаточно хорошо осведомлен о фактических отношениях, бывших во Франции до 1789 года, как это видно из того, что, по его мнению, во Франции будто бы был целый „большой класс совершенно крепостных (völlig leibeigener) крестьян, абсолютно подчиненных „Hörige“, что только Учредительное Собрание создало крестьянское сословие и т. п. (стр. 64, 65, 73 и 241), но не нужно забывать, что в самой Франции до Токвиля плохо знали, что представляло собою дореволюционное крестьянство ¹⁾. В общем, однако, значение ночи 4-го августа 1789 г. Лоренцом Штейном было понято верно, как и значение закона о равном разделе наследств и распродажи национальных имуществ.

Большим поклонником законов Учредительного Собрания является Лоренц Штейн и по отношению к административ-

¹⁾ Историки французской революции, т. II, стр. 24 и 27.

ному устройству, данному им Франции. Особенно хвалит он муниципальное ее устройство, за то, что это было „современное новое создание“. И здесь, как и в других сторонах управления, где последующие законы почти ничего не изменили, он видит доказательство того, что законодатели нашли надлежащее, соответствовавшее новому обществу пути (стр. 76). Говоря, однако, о конституции 1791 года, он останавливается на одном ее пункте, в котором заключалась самая слабая ее сторона: в этой конституции не был целиком осуществлен принцип равенства, что ее и погубило (стр. 82).*

Со своей общей социологической точки зрения Лоренц Штейн не мог не остановиться подробно на классовом составе третьего сословия в эпоху революции. В последнем были имущие и неимущие. Первые взяли в свои руки государственную власть по воле народа, что превратило их фактически в господствующий класс, по отношению к которому неимущие сделались классом подчиненным (стр. 86). Лоренц Штейн указывает на то, что хорошо известный ценз был введен в конституцию 1791 года по соображениям целесообразности, с точки зрения которой по отношению к одному и тому-же можно найти всегда столько-же доводов против, сколько и за. Каков бы ни был ценз, он обозначал „вторжение общества, основанного на обладании, в государственное устройство“ (стр. 87). В вопросе о цензе, как он был поставлен в Учредительном Собрании, проявилась „борьба между частым принципом равенства и принципом гражданского (staatsbürgerlichen) общества“ (стр. 88),— борьба, в которой последним была одержана победа над первым. „Равными сделались уже не личности, но только те, которые обладали определенным квантумом“, т.-е. произошло разделение между гражданами государства и его подданными (Staatsbürger und Staatsunterthanen (стр. 89). Так и образовался новый подчиненный класс. Учредительное Собрание оставило революцию незавершенною (hat nicht die Revolution vollendet), в чем лежал зародыш противоречия, устраненного более свободной конституцией (стр. 90). В этом, говорит еще автор, проявилась „противоположность между принципом свободной и равноправной личности и распределением имущества,— противоположность, прибавляет он еще, которой суждено было „определить содержание всего нашего столетия“ (стр. 91).

Впрочем, по Лоренцу Штейну, это противоречие было связано новому законодательству не своим возникновением, а только своим обнаружением, которое опять-таки, по его мнению, на первых порах не было еще очень „острым и гнетущим“, поскольку считалось возможным создать себе необходимый ценз трудом и бережливостью и пока еще развитие крупных капиталов не затрудняло перехода из одного класса в другой (стр. 92). Главную своей задачей в дальнейшем Лоренц Штейн и сделал — проследить развитие данного противоречия (*wir werden die Verfolgung jenes Widerspruchs als unsere Hauptaufgabe festhalten*, стр. 93), хотя и признаёт, что „перемена в ходе французской революции произошла от нападения иностранных держав“ и что „переход от конституционной эпохи к социальной в истории революции сделался возможным только при содействии внешней борьбы“ (стр. 92 — 93).

В главе об этом переходе Лоренц Штейн прослеживает постепенное расхождение обоих классов. Сначала „народ“ еще не противопоставлялся „буржуазии“, и царила вера, что государственная власть находится в руках всей нации (стр. 94). Но различие мало-по-малу стало ощущаться. Раз в обществе существуют сильные и трудно примиримые противоположности, необходимым образом „признание народного верховенства превращается на деле в верховенство каждого из отдельных элементов общества“ (стр. 95). Каждый из них стремится сделать зависимыми от себя другие, вооружаясь этим верховенством, что приводит к „легализованной борьбе социальных противоположностей“. Это и произошло во Франции вопреки казавшемуся прочно утвердившимся суверенитету народа с его единой общей волей, о котором учил Руссо. Едва только пало феодальное государство, говорит Лоренц Штейн, как возникали два явления, которым он приписывает величайшую важность в классовом отношении. Одним из них была гражданская стража, т.-е. национальная гвардия, другим — клубы (стр. 96). Говоря о возникновении национальной гвардии¹⁾,

¹⁾ У Лоренца Штейна есть одна фактическая ошибка. Париж разделялся на 60 дистриктов еще до революции, а вовсе не был так впервые разделен во время революции (стр. 96.) Эту мелочь можно было бы оставить без внимания, если бы Лоренц Штейн не проявил незнакомства вообще с внутренней организацией Парижа и его 48 секций, которыми были в 1790 году заменены прежние дистрикты.

автор бросает вскользь замечание о совершенной неверности мысли, будто войско может служить какой-либо идее или просто обществу, ибо служить оно может только государственной власти, хотя бы ему самому и пришлось создать ее для себя. Если новое общество хотело обезопасить себя от силы государства, то должно было само подняться до военной организации, каковою и была гражданская стража, национальная гвардия французской революции (стр. 97). Военная мощь старой монархии была сокрушена, и ее место заступила национальная гвардия, состоявшая лишь из активных граждан, т.-е. цензовой части населения, с полным устранением пассивных граждан, в силу чего полноправные граждане (Vollbürger) имели в своем распоряжении военную организацию для господства над неимущими полугражданами (Halbbürger). Одни пользовались избирательным правом, другие его не имели, и к этому еще присоединялось участие и неучастие в новой военной силе (стр. 98).

Рядом с этою силою возникла и другая — клубы. Лоренц Штейн ставит их образование в связь с существованием в нации некоторой такой ее части, которая недовольна устройством государства или его управлением (стр. 99). Для Лоренца Штейна клубы французской революции были организацией неимущего класса. Конечно, эту мысль его можно принять только с оговорками. Если бы в его время лучше была разработана внутренняя история революции и в частности тогдашнего Парижа, он должен был бы дать в своей схеме место и так называемым секциям, бывшим в 1790—1792 г.г. организацией одних активных граждан, но около 10 августа 1792 года превратившимся в общенародную организацию. Указанная же оговорка должна заключаться в том, что клубы не были исключительно простонародными (санкюлотскими) собраниями и что (это особенно) незначительность ценза не проводила грани между пассивными и активными гражданами там же, где шла граница между действительно имущими и неимущими.

Между обеими частями, на которые Лоренц Штейн делит французское общество, в эпоху революции сначала царил мир: одна нуждалась в другой для защиты нового порядка от его врагов. Масса была в это время доверчива и послушна, но в Национальном Собрании первые же ее эксцессы вы-

звали тревогу, что и проявилось в издании так называемого „марциального закона“ против нарушения общественного порядка (стр. 101). Ему Лоренц Штейн придает главное значение, ибо это узаконило употребление военной силы „благонмерными гражданами“ (bons citoyens) против „народа“ (le peuple). Он прибавляет, что не было мудрым делом ни применение этого закона, ни самое его издание, результатом же первого было внушение массе ненависти и недоверия. По его выражению, это было полуобъявление войны со стороны граждан или буржуа (немецкое Bürger значит то и другое) рабочим (стр. 102). Попытка Людовика XVI бежать из Парижа привела к конфликту. Собрание решило, несмотря ни на что, удерживать короля на троне; масса, которую все чаще начинают обозначать, как народ, под влиянием клубной агитации, стала требовать низложения короля, и дело кончилось печальным столкновением между народом и национальной гвардией на Марсовом поле 17 июля 1791 года.

„Действительно, говорит по его поводу Лоренц Штейн, произошло здесь нечто очень крупное (Grosses). Оба класса общества, давно разделенные, дошли до открытого разрыва. Кровь убитых сорвала повязку с глаз. Война была объявлена, и никто не сомневался в том, что это будет только началом страшной войны. Ибо, продолжает он, была ли в самом деле опасность для общественного спокойствия? Нет“ (стр. 104). Все дело было в том, что Собрание, по словам автора, „стремилось к безусловному устранению массы от государственной власти, основанной на понятии народовластия и абсолютного равенства. Противоречие было очевидным. Этот день показал в первый раз кровавым образом (blutig) необходимые следствия неясного понятия народного суверенитета. По внешности он защищал силу закона, в действительности только обнаруживал, что та социальная борьба, которую узаконивает народный суверенитет и которая за ним следует с неотвратимой необходимостью, уже разразилась и что неизбежно воспоследует разложение только внешним образом восстановленного порядка. Отныне Assemblée имела непримиримого и страшного врага. Противоречие между ее принципом и его последствиями воплотилось в ненависти народа (le peuple) против национальной гвардии... Отныне или конституция должна была погибнуть, или основательно

сломлена сила народа“ (стр. 105). Собрание поспешило перед своим концом,—на что обыкновенно мало обращается внимание,—решительно закрыть клубы и запретить их соединения, а также дать окончательную организацию национальной гвардии. На самом деле, однако, клубы остались.

Время Законодательного Собрания, как мы видели, рассматривается Лоренцом Штейном, как переходное к демократическому периоду революции. Начался „спор из-за господства между двумя новыми общественными классами“. Королевская власть была уже теперь иной, чем прежде, и ей предстояло определить свою будущую задачу. „Еще не вполне развившийся класс имущих, говорит Лоренц Штейн, имел за собою право новой конституции и знал, что против него самого вся масса рабочих. Потому он естественно обратился к королевской власти, как во всем еще представлявшей собою государство, с требовавшим от него защиты его, этого класса, права. За это со своей стороны он должен был и защищать королевскую власть в его праве, что было предпосылкою действительной от нее помощи. Естественная связь, на которой покоится весь конституционализм, обнаруживала здесь себя в своих первых очертаниях; это было соединение королевской власти с буржуазией“, как здесь приходится перевести немецкое „Bürgerthum“, имеющее и значение „гражданства“ (стр. 109). Между тем неимущие увидели, что после падения господства привилегий наступает господство имущих, которое будет в интересах имущества. Лоренц Штейн думает, что даже в это время было „все еще возможным, хотя бы и трудным“, обращение неимущих к защите у королевской власти, как это бывало в течение целых столетий (стр. 109—110). Нужда обоих классов в союзе с королевскою властью, продолжает наш историк, могла бы быть использована королем для поднятия своего значения, к чему, собственно говоря, и стремился Мирабо. Но, оговаривается совершенно основательно Лоренц Штейн, „королевская власть по конституции 1791 года уже не была настоящею королевскою властью“, поскольку король был только уполномоченный (Mandatar) своего народа, и „идея самостоятельности государства находилась бы в противоречии с суверенитетом народа“. Республиканская партия, как верно отмечает автор, в начале революции была очень слаба,

если не сказать еще, пожалуй вернее, что ее и совсем не было, а королевская партия была в противоречии сама с собою (стр. 110). Главное же заключалось в том, что „сама монархия (Königthum) не желала быть демократическою монархией“ (Volkskönigthum), а между тем оба новые класса удерживали ее лишь постольку, поскольку надеялись, что она будет бороться с их врагами, в то самое время, как сама она только и думала о восстановлении своего прежнего значения при помощи внешней силы, что ставило ее в „противоречие со всем обществом ее же собственного народа“ (стр. 111). Это обращение Людовика XVI к заграничным дворам дает Лоренцу Штейну повод коснуться отношения остальной Европы к происходившей во Франции революции. „Из Франции, говорит он, направляется двоякий поток в другие страны Европы. Одним был поток новых идей и упований, другим — поток эмигрантов со старыми притязаниями. Оба они находили там, куда достигали, дружественный прием, каждый в своем роде“ (стр. 112 — 113), что, в свою очередь, не могло не повлечь за собою образования двух лагерей и начала совсем новой истории. В глазах Лоренца Штейна важны здесь не войны, не победы, не территориальные перемены, а важно то, что происходило в самой Франции, т.-е. социальные и политические перемены с порождением первыми вторых (стр. 113). По его словам, совершенно верным, вся историография XIX века должна была исходить из того положения, что в конце предыдущаго века началась великая борьба двух общественных систем, оказавшая потом влияние на все главные события внутренней и внешней истории европейских народов. Инициаторами войны с революционной Францией являются у него не сами короли, а привилегированные сословия, настаивавшие перед правительствами на необходимости борьбы за сохранение привилегий и абсолютизма. Это была война не с Францией, как государством, это была „первая европейская война организованного, сознавшего самого себя феодального общества против едва только возникшего гражданского общественного порядка“ (staatsbürgerliche gesellschaftliche Ordnung, стр. 114). В этой великой борьбе Людовик XVI не мог не стать на сторону старого порядка, и народ не мог не почувствовать, что король ему изменяет. Защита Людовиком

XVI интересов непокорного духовенства и эмигрировавших за границу дворян только ухудшило его положение. Указав в общих чертах на то, как 10-го августа 1792 года произошло крушение королевского трона, Лоренц Штейн по отношению к процессу и смерти Людовика XVI ограничивается замечанием, что они остались „без дальнейшего значения для история общества“, быв только „необходимыми следствиями событий и оснований“, только-что изложенных (стр. 119). Гораздо важнее то, что 10-е августа впервые вполне осуществило идею народовластия в виде республики. „Но, продолжает он, эта республика заключала в себе общество, только что раздвоившееся на две резко разошедшиеся части. Обе они об'единились против короля, но каждая из них сделала это по мотивам, коренившимся в ее собственных интересах. Как-только монархия пала, они тотчас-же должны были раз'единиться. Падение королевской власти было поэтому сигналом для борьбы обоих классов за лежавшую между ними, осиротевшую государственную власть. Республика была как-раз этою борьбою, и в первый раз обнаружилось, что опасность для республики заключалась в ее собственном существовании, в господствовавшем над самим собою обществе, потому что именно это господство над самим собою (Selbstherrschaft) проявляется в господстве одного класса над другим“. Лоренц Штейн указывает при этом на то, что господствующий класс, который он называет „гражданским сословием“ (Bürgerstand) в его двойном для немецкого языка значении „гражданства“ и „буржуазии“, изменился. Через два года нахождения своего у власти, говорит он, этот класс „ее потерял, потому что по самой своей природе не мог действовать наскоком, агрессивно (angriffsweise). Его дело, и его жизненным принципом была конституция 1791 г., к которой здесь прилагается Лоренцем Штейном эпитет „staatsbürgerliche“. „В этом деле заключалось все, что могло дать обществу понятие гражданина (Staatsbürger). Громадная, бесконечно важная область при этом совершенно не была затронута: это была имущественная область (es war das des Besitzes). Масса немущих выступила теперь в роли господствующего класса. Она вторглась в область имущества и пыталась основать, вместо нового государства, новое общество“ (стр. 120). Всю историю республики Лоренц Штейн сводит к этой попытке,

нуть к которой открыло низвержение монархии. Таково было значение события для Франции, на Европе же оно отразилось, по верному замечанию Лоренца Штейна, тем, что здесь королевская власть, ставшая-было в середине века во главе реформ, надолго от них отказалась и бросилась в объятия аристократии. „Этим, читаем мы в последних строках главы, может быть более, нежели чем-либо другим, был отрезан путь к мирному развитию, и это сделало революцию явлением, которое даже могли назвать вполне естественным“ (naturgemäss), хотя прибавляет историк, „скорее неестественное положение, занятое королевскою властью, было причиной тогдашней и следующих революций“ (стр. 121). Чтобы понять значение этой последней оговорки, нужно иметь в виду особый взгляд Лоренца Штейна на королевскую власть, как на силу, долженствующую возвышаться над противоположными стремлениями социальных классов и правильно регулировать развитие общества и государства. С точки зрения такого идеала реакционная политика королевской власти, о которой автор здесь говорит, могла казаться ему неестественной, но если на дело взглянуть с точки зрения реальной истории, такая ориентация королевской власти была очень естественной, что хорошо понимал сам Лоренц Штейн, когда говорил о полной невозможности для Людовика XVI оторваться от основ старого порядка.

Глава о „демократическо-коммунистической эпохе“, как называется в книге, главным образом, время Конвента, начинается таким заявлением: „та часть истории французской революции, к которой мы теперь приступаем, принадлежит решительно к самым важным во всемирной истории. Мы утверждаем это о ней не потому, что она была ознаменована громкими внешними движениями и появлением в ней и исчезновением сильных характеров; в этом отношении бывало многое и покрупнее. Мы утверждаем это скорее в смысле собственного предмета нашего исследования — общества в его отношении к государственной власти. Для этого отношения начинается новая история, и краткий промежуток времени, рассмотреть который нам предстоит, оставил после себя урок, столь важный для всего будущего, что заключающийся в нем правда была приобретена для грядущих поколений не слишком дорогою ценою кровавого деспотизма“ (стр. 122). Ло-

ренц Штейн к этим словам прибавляет, что глубокий смысл этой эпохи доселе скорее только предчувствовали, нежели ясно понимали.

Падение королевской власти, в своей слепоте связавшей себя со старым феодальным обществом, увлекло за собой и „первую форму гражданского общества, основанного на имуществе и законах о его приобретении“, что сделало невозможным „чисто конституционное устройство“. Победил и начал господствовать народ. Тут для историка возникает два вопроса: кто был этот народ и чего он мог желать от своей власти? (та же страница). В последние месяцы Законодательного Собрания именем „le peuple“ стали обозначать массу, состоявшую преимущественно из неимущих, хотя победивший королевскую власть народ, в начале еще Конвента, отнюдь не был простой массой, заключая в себе оба элемента гражданского общества. Вопрос заключался в том, сумеют ли эти два элемента, очувствившиеся обладателями власти, столкнуться между собою при полном исчезновении всех общественных властей, разрушении всякого законного порядка, при отсутствии войска, находившегося на границах государства, и при утрате национальной гвардией своего прежнего характера, а с ним и своей силы.

Между тем, как, рассказывает Лоренц Штейн, большинство (Menge) народа, составляющее его ядро, только и было тою силою, с которою можно было управлять, оно же лишь ждало приказаний извне, тем самым и сделавшихся направляющими события идеями. Это и была „грубая форма господства идей (des Gedankens) во время государственной жизни“ (стр. 123). Отсюда великий интерес вопроса о принципах тогдашних стремлений и партий. Общей для них всех идеей была идея равенства, и ни одна партия не сомневалась в том, что эта идея истинна и осуществима. Так как, однако, из-за применения этой идеи через несколько месяцев произошла кровавая борьба, то Лоренц Штейн полагает здесь нужным остановиться на разборе идеи равенства, имея в виду не только тогдашнее и борьбу жирондистов и монтаньяров, но и всю следующую эпоху с ее печальными смутами (стр. 124). В идее равенства он различает отрицательный и положительный „психодные пункты“. Коротко его рассуждение можно передать в том смысле, что в одном случае равенство предоставляет

личности „правовую возможность развивать свою индивидуальность с полной свободой своею собственною силою“ с сохранением, значит, возможного неравенства, тогда как в другом случае равенство понимается в полном отрицании всякого неравенства, как обусловливаемого лишь экономическими и культурными различиями, т. е. внешними обстоятельствами имущества и воспитания. Первое понимание не противоречит фактическому (неправовому) неравенству, второе требует устранения неравенства, создаваемого собственностью и образованием. Отсюда и два разных взгляда на задачи государственной власти (стр. 125). Эти разные понимания были представлены, с одной стороны, Жирондою, с другой—Горою, а так как „при отсутствии всякой высшей власти над массою царили мысль и слово“, то борьба между двумя воззрениями и не могла не получить своего бурного характера (стр. 125). О жирондистах Лоренц Штейн судит до известной степени по Ламартину, который для него сам был человеком жирондистского воззрения. Эту партию он называет „смелой, но неясной“ (unklagen?) и говорит, что она была „раздавлена между двумя противоположениями“ и что ее „падение низвергло революцию в пропасть, спасши в то же время Францию“. Для нашего историка все дело не в борьбе партий самих по себе, а в общественном движении: почему именно позитивное понимание равенства (mit allen seinem Widersinn, прибавляет он) одержало победу над пониманием негативным (стр. 126)?

По мнению Лоренца Штейна, общее направление истории революции с середины 1792 года было создано внешнею опасностью, грозившей Франции и вызвавшей в ее населении чувство патриотического самопожертвования (die Liebe zum Vaterlande, das Opfer der Person). „Кто в эти торжественные минуты желал чего-либо особенного для себя или хотя бы для какого-либо класса, тот тем самым отделялся от целого. Не было иного какого-нибудь средства оградить Францию от совершенного уничтожения, кроме всецелой преданности (dévouement) делу революции, преданности безграничной, не останавливавшейся ни перед какими жертвами, свободной от каких бы то ни было частных интересов и личных желаний.“ Этого и требовал якобинизм, который даже, по мнению такого консерватора, как Жюзеф де-Местр, спас

Францию¹⁾. Лоренц Штейн, вполне соглашающийся с этим взглядом, думает, что, именно, внешняя опасность, грозившая Франции, сделала „положительное действительное равенство всех французов на некоторое время (auf einen Augenblick) основою всего будущего Франции“ (стр. 127). На этой мысли он особенно настаивает. Такова была воля народа, выделившего из себя сильное духом войско, а между тем Жиронда желала чего-то, конечно, разумного, но рассчитанного на мирное спокойствие времени, „желала такого состояния, которое не могло не вызвать развитие естественных различий“, в то самое время, как иностранные державы грозили всем надеждам на свободу. „Став на такую дорогу, Жиронда все более и более впадала в противоречия и портила свое собственное положение“ (стр. 128). Ее поведение делалось еще более подозрительным для Горы (попытка спасти короля, связь с Дюмурье и т. д.), и этим была решена ее гибель. „Только тирания свободы, говорит Лоренц Штейн, могла спасти свободу от тирании“, и, ссылаясь на общую характеристику жирондистов у Минье²⁾, он прибавляет: „mit dieser halben Stellung halber Menschen war der Charakter der Mittelpartei erschöpft“, т.-е. этим половинчатым положением этих половинчатых людей исчерпался характер средней партии (стр. 129). В положении Жиронды он видит не „победу массы над интеллигенцией“, а „победу принципа позитивного равенства над принципом равенства негативного, абсолютно равного общества над основой неравного“. Господствовали, по его мнению, не Робеспьер и Дантон, а подчинялась государственная власть в могучем и сильном возбужденном государстве той мысли, что внешние отношения данного общества, делающие по существу равных людей неравными, неестественны, и что поэтому они должны быть смертельно преследуемы, как враждебные истинному назначению человеческих существ. Лоренца Штейна, как прежде всего теоретика в области политики, интересует вопрос о правильности такого взгляда на взаимные отношения индивида и государства, и он указывает на поучительность в этом отношении террористического года (das Jahr des Schreckens) французской революции (стр. 130).

¹⁾ Истории Франц. рев., том I, стр. 32 и 116.

²⁾ Истории Франц. рев., том I, стр. 115.

Затем идет в рассматриваемой книге разбор конституции 1793 года (стр. 131 и сл.), которая характеризуется, „как чистейшее демократическое государственное устройство“, как „первая закономерная (gesetzliche) форма господства массы над государственною властью“, как единственный в истории документ (wie kein anderes Dokument der Geschichte), „показывающий, в чем собственно заключаются оба понятия республики и демократии“. В этой конституции по видимости (scheinbar) принцип достиг наивысшего пункта, поскольку государство не знает в нем никакого неравенства между гражданами¹⁾ и никакой особой государственной власти вне верховной народной воли. Но творцы ее тотчас же увидели, что сама по себе одна она была неспособна справиться с собственными противниками и удержаться лишь присущею ей самой силою (стр. 134). Причина невозможности ее введения в жизнь и сосредоточения всей государственной власти в комитете общественного спасения усматривается Лоренцом Штейном в том, что принцип политического равенства не соответствовал тем фактическим отношениям, которые существовали в общественном строе.

Необходимую предпосылку той государственной формы, которую создавала конституция 1793 года, было „отсутствие различий и в обществе“ (Unterschiedlosigkeit auch in der Gesellschaft), но спрашивает Лоренц Штейн, „существовало ли действительно это социальное равенство рядом с политическим? Мы, продолжает он, не хотим просто сказать нет. Мы хотим, во избежание всякого сомнения, спросить, могло ли оно еще существовать“ (стр. 135). Революция 1789 года уничтожила все виды неравенства, обусловленные существованием сословных привилегий, но все остальные виды неравенства остались в полной неприкосновенности. Между тем Конвент создал конституцию, основанную на абсолютном равенстве, и исключительно не в чем ином, как в этом противоречии, Лоренц Штейн видит причину того, что конституция осталась только на бумаге, хотя другие историки указывали и на иные причины ее неприменимости (при том не вообще, как полагал наш автор, а главным образом в данное время). Он прямо указывает на эту причину (стр. 136). Здесь опять-

¹⁾ Не забудем, что в XIX веке гражданами считались только мужчины.

таки он говорит больше в качестве политического теоретика, нежели историка, теория же его заключалась в признании за демократией полной неспособности властвовать (*die reine Demokratie ist absolut unfähig zum Herrschen*, стр. 137). Смутное ощущение этого у самых власть имущих (у Конвента), на которое он в одном месте ссылается (*wo ein solcher Widerspruch vorhanden ist, da zeigt er sich immer zuerst in dem dunklen Gefühle der Machthaber*, стр. 136), и объясняет для него судьбу конституции 1793 года, оставшейся только чисто бумажным документом. Конвент, далее полагает Лоренц Штейн, тогда задумал „то, чего не могла сделать внутренняя правда вещи“, провести при помощи материальной силы. Природа вещей раздавливает даже самую высшую человеческую власть, и эпоха террора показала, „что — во власти абстрактного принципа, но также и что — вне его власти“ (стр. 138).

„Терроризму“ французской революции посвящен целый довольно значительный параграф. Он начинается с указания на то, что во всей революции нет такого периода, о котором говорили бы с такою решительностью, сводя все к „рости, безумию и насилию отдельных лиц, но при этом очень мало задавались вопросом, как это так-таки хладнокровно могли губить тысячи мирных граждан с убеждением в своей правоте (*das Wahre und das Rechte zu vertreten*). „А между тем, читаем мы дальше, терроризм был не чем иным, как необходимым результатом положения, при котором вследствие единодержавия чистой демократии государственная власть находилась в руках демократов; терроризм, являющийся для большинства избытком безумной кровожадности, был всецело естественным развитием на раз занятом пути, как кризис в болезни, как бы он ни был ужасен“ (стр. 138). Возвращаясь к мысли о том, что при известных положениях исходом может быть или гибель данного строя, или гибель самого общества ¹⁾, Лоренц Штейн и теперь говорит, что третьего исхода быть не могло, что в 1793 году нельзя было хотеть одновременно двух противоположных вещей, что приходилось выбирать между или уничтожением конституции обществом, или уничтожением общества конституцией. „Госу-

¹⁾ См. выше, стр. 19—20, 28—29.

дарственная власть той чисто демократической конституции должна была вступить в борьбу на жизнь и на смерть с обществом. Оно должно было уничтожить все, что было общественным неравенством. Это и было задачей терроризма; это было применением государственной власти против всякого различия в обществе, которое могло бы обосновать различие в государстве... Раз равенство было освящено государственным устройством (Staatsform), каждое его нарушение в обществе было теперь преступлением, ... опасностью и непримиримым врагом для чисто демократического государственного порядка. Это была позиция, которую занимали эти люди“, т.-е., как несколько выше были названы Лоренцом Штейном монтаньяры вообще и три человека, представляющие собою три стороны Горы: Марат, Дантон и Робеспьер (стр. 139). Только с указанной точки зрения считает он возможным понять терроризм „в его ужасном аспекте, который сам был, однако, только чистейшим следствием принципа. Этот принцип, прибавляет он, делал для людей возможным совершать бесчеловечные поступки“ (das Princip machte es Menschen möglich Unmenschliches zu thun, стр. 140).

В этом бессердечии Лорен Штейнц усматривает, кроме того, „вечный пограничный столб на том месте, где человеческая власть, во всем для нее возможном, ограничивается от закона человеческого общества с его несокрушимыми условиями“ (стр. 139). Вслед за этими общими соображениями мы находим на нескольких страницах характеристики Дантона, Марата и Робеспьера или, вернее того, как каждый из них понимал и осуществлял равенство. Не передавая всего содержания этих интересных страниц, ограничимся наиболее существенным. Дантон здесь рисуется сторонником свободы и равенства, более всего желающим ими наслаждаться, но не понимающим равенства в работе и в воздержании, рядом же с политической свободой ставившим свободу нравственной распущенности (Sittenlosigkeit). „Есть своя аристократия наслаждения; Дантон, когда всякая другая аристократия исчезла, бросился в эту. Он пал, потому что озлобил против себя тех, которые и такой аристократии не хотели“. Между тем к нему примыкали люди, которые хотели спасти в обществе высшие духовные блага, но, к сожалению, и такие, для которых революция была лишь пово-

дом для спекуляции. Это были „сибариты революции“ (140). Признавая в Дантоне нечто сильное, необычайное (ein gewaltiger, ein ungewöhnlicher Mann), Лоренц Штейн видит в Марате скорее жалкую фигуру „олицетворенной зависти ко всему лучшему“, ссылаясь на слова Ламартина: „равенство было его страстью, потому что превосходство было для него мукою“. Он был представителем тех, которые не любят ничего выдающегося и стремятся к господству посредственности, и ранее других указывал на имущественное неравенство, как на истинную опасность для свободы в его понимании, но его мысль не шла далее простого уничтожения имущего класса массою (стр. 141). И никто так, как он, не популяризировал убийства и кровь, как Марат, замечает еще автор. Особого внимания заслуживает та еще его мысль, что Марат оказался неспособным возвыситься до коммунизма, до отрицания собственности, хотя и видел в ней врага равенству, не мог подняться до действительной социальной идеи. В связь с Маратом Лоренц Штейн ставит эбертистов, которым, однако, отказывает в каком бы то ни было принципе, если не считать за таковой „чистейший нигилизм“ (стр. 142).

„Для большинства людей, читаем мы далее в этой характеристике трех вождей Горы, Робеспьер кажется не чем иным, как кровожадным тираном (Wütherich), который, принеся в жертву всех своих друзей, казалось, в конце хотел перебить одной половиной людей другую их половину. Вот он, это страшное явление, холодный, твердый, последовательный, не останавливающийся ни перед какими средствами, окруженный палачами, в дрожащем перед ним собрании... Он не оратор, не государственный человек, не полководец; он не умеет увлечь массу, одушевить сомневающихся, простить противникам; он не оставил после себя ни одного учреждения, ни единственного предприятия; его никто не любил, уважали немногие, большинство смертельно ненавидело, но все ему повиновались. Он загадка для всех, которые его рассматривают, как отдельную личность в истории Франции, но эта загадка разгадывается, как только начинают вникать в социальную историю Франции“. Если партия Дантона признавала интеллектуальные различия (den Unterschied des Genies), а эбертисты искали совершенства в чистом бесконечном от-

рицании всякой самостоятельности, то „это был Робеспьер, который впервые сделал действительное равенство общества предметом своей воли и действия и преимущественною задачею государственной власти... Вместо того, чтобы как прежде, общество господствовало над государством, теперь государство должно было господствовать над обществом“. Лоренц Штейн видит в этой формуле или, вернее, на пограничном пункте этих двух положений, объяснение всей жизни, всей деятельности и самой смерти Робеспьера (стр. 143).

Лоренц Штейн подверг краткому рассмотрению политическое миросозерцание Робеспьера, сложившееся под влиянием „поэтического духа Руссо“, чтобы показать, как далеко было понимание отношения между государственною властью и обществом от его, историка, собственного понимания. Задачу общества вождь монпансьеров видел в возвращении к „естественному человеку“, как „идеалу равенства для всех“. Этот естественный человек усматривался Робеспьером в „самом низшем классе общества“, как „истинном носителе естественного состояния“. Источником всего доброго был для него „le Peuple“, народ в новом смысле слова с его „непосредственными, неиспорченными чувствами, с его естественною силой, с его естественною сердечною доброю“ (стр. 143—144). Это положение стало аксиомой господствующей партии, что „подняло господство массы со степени простого факта политической жизни на степень нравственной необходимости для демократии“ в соответствии с конституцией 1793 года, отдававшей власть в руки „самого низшего и многочисленного класса“ (стр. 145). Раз народ в таком понимании был „выражением неиспорченного человеческого разума, задача государственной власти должна была состоять в том, чтобы предоставить воле этого народа неограниченное господство в государстве“. Народная воля, проявляемая в клубах, должна была превратить государство в своего слугу, ибо только народ обладает качествами доброты, верности, истинного понимания, и перед ним все должны быть равны (стр. 146). „Равенство отныне должно было заключаться не в равенстве перед законом, а в отрицании всех лучше поставленных (besseren) классов общества“.

В таком именно убеждении и почерпал Робеспьер, говорит Лоренц Штейн, мужество для проведения своего тер-

ролизма, причем историк утверждает даже, что Робеспьер прямо хотел „уничтожения всех классов, которые не были народом“. Лоренц Штейн не обходит и того „могущественного принципа республиканской добродетели (или—доблести), которая составляла положительное содержание новой демократии“ (стр. 147). В этом учении о добродетели автор видит даже „основу той тайной силы, с которой в то время демократия притягивала к себе наиболее благородные сердца“ (стр. 148). Робеспьер был предан этой идее с религиозным чувством, но он видел, что это обоготворение и уравнивание народа встречает оппозицию, а это и вызвало с его стороны, как и со стороны его приверженцев, „крестовый поход“ против высшего класса самого общества. „Сверхчеловечность принципа, замечает Лоренц Штейн, сделалась бесчеловечною“ (стр. 149).

Так понял Лоренц Штейн сущность революционного террора 1793 — 1794 годов. Но говорит он, „возведенное в принцип беспощадное убийство“ не могло удержаться. Робеспьер пал жертвою собственного закона, а с ним пала его система. В девятом термидора автор „Истории социального движения во Франции“ видит одно: в сущности, в этот день одна материальная сила победила другую материальную силу, одна сильная партия — другую тоже сильную партию (стр. 151). Началась реакция, приведшая к „победе имущего класса над неимущим“, но, спрашивает Лоренц Штейн, „был ли принцип равенства вполне исчерпан? Сказал ли он свое последнее слово?“ Здесь он переходит к идеям и движениям, которые дали ему основание назвать рассматриваемый период революции не только демократическим, но и коммунистическим.

Он посвящает прежде всего целый большой параграф „предшественникам коммунистических идей и социальной демократии“ (стр. 153—165), где говорит о целом ряде писателей XVIII века, особенно остановившись на „первой теории коммунизма“ в книге Мабли „О законодательстве“, где находит, впрочем, больше нападок на собственность, чем исследования ее сущности (стр. 158). Указывает он и на некоторые брошюры, не приписывая им, впрочем, большого значения, каковое вопрос приобрел только позднее (стр. 161), уже во время самой революции (стр. 162 и сл.) и притом

как-раз после того, когда реакция начала свирепствовать после такового же режима при господстве массы, даже после подавления народного восстания 20-го мая 1795 года (стр. 165). Говоря это, мы имеем в виду знаменитый заговор Бабёфа, которому в книге посвящено три значительных параграфа в сорок без малого страниц. Ни один эпизод французской революции не был так подробно рассмотрен в книге Лоренца Штейна, как этот с приведением даже документов. В основу этой части труда легла известная, вышедшая в 1828-м году в Брюсселе двухтомная книга одного из участников „заговора равных“ Буонаротти¹⁾, книга в свое время позабытая, но в эпоху февральской революции сделавшаяся знаменитой.

Введение рассмотрения этого эпизода в историю французской революции составляет одну из заслуг Лоренца Штейна²⁾. В движении, связанном с именем Бабёфа, он правильно различает два направления: демократическое (чисто политическое) и коммунистическое (социальное), бывшие „тесно связанными между собою в принципе, но чуждые друг другу в своих выводах“ (стр. 168). Соединение их в одно он и называет делом Бабёфа (стр. 169), которого в одном месте (стр. 167) причисляет к „фанатическим жрецам слепой жизни чувством“. В бабувизме он видит при этом „первый систематический коммунизм, сделавший попытку в практической жизни, и последний систематический вывод из принципа равенства“ (стр. 175), сущность же его — в „отрицании общества, основанного на неравенстве имуществ, или в нем проявляющегося неравенства“ (стр. 179). Здесь не место останавливаться на общих рассуждениях Лоренца Штейна о коммунизме и на характеристике бывшего еще очень неразвитым коммунизма революционной эпохи, равно на приводимых автором отрывках. Важнее остановиться на причинах провала всего смелого предприятия Бабёфа, как их понимает автор рассматриваемого труда. Во-первых, в учении равных было многое для чистых республиканцев, участвовавших в заговоре, совершенно неприемлемым (стр. 197). Во-вторых, проповедь о необходимости возвращения к терроризму заставило тогдашние власти быть особенно бдительными (стр. 200).

¹⁾ *Conspiration pour l'Egalité, dite de Babeuf... par Ph. Buonarroti.* Лоренц Штейн везде эту фамилию пишет неправильно Буонаротти.

²⁾ Историки фр. рев., т. I, 133—135, 231.

В третьих, заговор относится к годам, когда рабочим классом овладела полное разочарование (стр. 201—202). Наконец, Лоренц Штейн отмечает еще, с одной стороны, сравнительную мягкость судебного приговора над заговорщиками (стр. 202) и непоколебимое мужество тех двух вождей (Бабефа и Дартэ), которые были приговорены к казни (стр. 203). Появление Бабефа на исторической сцене дало Лоренцу Штейну даже повод заговорить, в духе „философии истории“ Гегеля, о царящем в истории Weltgeist'e (Мировом духе) и о воплощении „общего“ в отдельных личностях, представляющих собою моменты идейного развития (стр. 166).

Заговор Бебефа был крайним следствием принципа равенства, который до сих пор царил в революции, но тогдашняя Франция не представляла собою почвы, сколько-нибудь благоприятной для этого принципа, даже в чисто политическом только его понимании (стр. 204). В эпоху термидора старое общество безвозвратно было уничтожено, но новое еще не сложилось, чтобы его заменить (стр. 205). Эпоха строения нового общества наступила во Франции только после падения Робеспьера (стр. 206). Такими соображениями начинает Лоренц Штейн особую главу о переходе к новому принципу общества. В понимании эпохи директории он очень близко подходит ко взгляду на нее Минье, на которого и ссылается, приводя прямо его слова ¹⁾. В эту эпоху имущие поняли, что материальные бедствия, переживавшиеся неимущими, пожалуй, опаснее ипостранных армий, и что единственным средством предотвратить возвращение террора было дать народу хлеб и работу (стр. 207). Во время революции хозяйственная жизнь Франции пришла в полный упадок, и восстановление ее первым делом требовало обеспечения собственности, особенно земельной (стр. 208). „Без терроризма, говорит Лоренц Штейн, новая хозяйственная жизнь в народе не могла бы возникнуть (т.-е. поскольку террор сделал невозможным возвращение земель прежним господам), но с терроризмом она не могла существовать“. Именно, „практическое значение господства террора для внутренней жизни Франции“ он и видит в обеспечении им нового аграрного строя (Bodenertheilung). „Едва, говорит он, кончился террор, как имущие в ясном

¹⁾ Об этом взгляде см. „Историки франц. рев.“, т. I, стр. 107—108.

понимании своего положения должны были первым делом потребовать такого состояния публичной власти, при котором возможны были бы работа и использование приобретенного имущества". Он почти удивляется, как это „тот же самый Конвент допустил сначала падение Жиронды, чтобы дать возможность терроризму захватить власть, а потом дозволил низвергнуть этот самый терроризм, чтобы учредить директорию“ (стр. 209). Это произошло потому, что „вещи сильнее людей“. Задача Конвента заключалась в подготовке нового общества, и эта задача была исполнена. Лоренц Штейн различает в истории Конвента три периода. Первый, когда были побеждены сначала монархия, потом Жиронда, кончается с падением последней 31-го мая 1793 года, и тогда наступает второй, когда Конвент служит терроризму — до 26-го июля 1794 года. В оба периода Конвент был „безвольным орудием в руках своих вождей“, и после того, как пало все, что в Конвенте имело имя и власть, казалось бы, ему оставалось быть только „безвольной массой“, лишенной вождей, но вместо этого, мы видим „собрание, которое самую правильную, самую ясную твердость объявляет, чего оно хочет“, и проявляет „энергию, достойную лучших времен Учредительного Собрания“. Сначала он дает волю реакции, чтобы сделать невозможным возвращение терроризма, но как-только реакция начинает заходить слишком далеко, Конвент поворачивает фронт и, в конце концов, создает своими собственными силами конституцию, которая, хотя и лишенная какого-либо принципа, вполне соответствовала потребностям данного момента, а затем расходится, чтобы далее в новой форме развивать прежние, еще более смягченные положения (стр. 210). Такой конец Конвента кажется Лоренцу Штейну следствием некоторого инстинктивного понимания потребностей народной жизни: „чтобы создать прочное государство, нужно было обладать прочным общественным порядком, а его-то и не было“. К нему стремилась и вся нация, которая теперь жертвовала всею государственною властью. „Директория была не менее сильна, чем прежде королевская власть“. Обществу и его элементам, т.-е. имуществу и праву нужно было еще получить прочный вид, и оно начало эту работу (стр. 211). В этом состоянии, когда, как выражается автор, во Франции был только народ, но не было еще общества, т.-е. была

масса, было население, но пока не сложилось прочных социальных отношений, он находит в высшей степени поучительным пример для понимания взаимных отношений общества и государства (стр. 212). Отсутствие в народе общественности (*Gesellschaftslosigkeit des Volkes*) влекла за собою безответственность власти директории при той распыленности населения, которая и есть отсутствие настоящей организованной общественности (стр. 213). Конституцию 1795 года Лоренц Штейн называет конституцией 1791 года без королевской власти, но с двумя палатами (стр. 214), главным же в ней было то, что государственная власть в ней была отдалена (*entfernt*) от народных движений и даже частью уединена (*entfremdet*), а в директории заключался орган и исполнительная власть с большими полномочиями. Но, с другой стороны, то, что называют свободой, было здесь обставлено довольно плохо, да и народ теперь не особенно о ней заботился (стр. 215). Более всего стремились к спойойствию, к безопасности и снизу и сверху. В этом общем факте Лоренц Штейн полагает объяснение всей истории Франции до 1815 года. То же самое общество, которое в 1795 году хотело республики, допустило в 1815 году падение Наполеона и приветствовало нового короля. В 1795 году пришлось бы преодолеть общество, чтобы посадить над ним короля, а в 1815 году оно приняло его почти добровольно. Не общество изменилось, а изменился характер самой королевской власти, благодаря Наполеону, значение которого Лоренц Штейн видит „не в истории государств и правительств, а в истории европейского общества“ в победе при нем „гражданского общества и государства над феодальной их формой“. В 1795 году восстановление королевской власти было невозможно, потому что она тогда была тесно соединена с принципами старого порядка (стр. 216 — 217).

Тем, что только-что приведено из мыслей Лоренца Штейна, собственно и кончается отдел книги, посвященный революции. Следующий посвящен уже Наполеону, но первые его параграфы, строго говоря, относятся еще к последним годам революции. Указав еще раз на то, что во Франции указанной эпохи вовсе не было никакого общества, в смысле определенной группировки классов и интересов, что новому обществу предстояло возникнуть на основе „отрицательного принципа

равноправия и нового распределения собственности“ (стр. 221), Лоренц Штейн, следуя в характеристике эпохи за Минье¹⁾, отмечает преобладание теперь частных и имущественных интересов над публичными (стр. 222). Не разделяя упреков, которые этой эпохе делались историками в данном отношении, он находит такое положение вещей естественно необходимым по самому существу дела. Раз люди приобрели земли, их нужно было обрабатывать, а это—занятие отдельных лиц, желавших только, чтобы им не мешали, да и государству нечего было впутываться в это дело. Беспрецедентное вмешательство народа в политическую борьбу само перед тем не было явлением, основанным на природе вещей (стр. 223). „Публичная жизнь замолкла, и единичное хозяйство сделалось центром движения“. Только теперь, говорит Лоренц Штейн, остатки старого феодального общества могли подумать о последнем решительном бое. Обрадованные гибелью вождей терроризма и ошибочно полагая, что только в них заключалась сила новых идей, они думали, что при общем затишьи общественной жизни им легко будет справиться со слабым и бездушным правительством, пользуясь средствами, которые им давала сама новая конституция. Все дело было в систематической конституционной борьбе остатков старого общества за обладание государственной властью, на что ответил переворот 18 фрюктидора (стр. 224). Одновременно с этими элементами, впоследствии то с ними соединяясь, то, наоборот, вступая с ними в борьбу, выступали на сцену вновь возникшие общественные элементы, экономическое значение которых было иным. Дальше в книге идет речь о денежных делах времен революции, об ассигнатах, о звонкой монете и отношениях между теми и этою, о возникавших на такой почве спекуляциях, о развитии легкой наживы и прожигании жизни в непрерывных удовольствиях (стр. 225—228), о чем так много писалось историками революции. Это был своего рода ответ (der Gegenschlag) „республике добродетели времен террора, и впервые теперь, говорит Лоренц Штейн, деньги получили ту силу во французской истории, которая вызвала против себя такую ненависть, выразившуюся впервые в заговоре Бабёфа: слишком бросалось в глаза противоречие этого

¹⁾ Истории фр. рев., т. I, стр. 107—108.

нового явления с теми принципами, во имя которых вся страна только-что вела борьбу. Инстинкт простого народа, продолжает историю, судил верно, ибо эта власть денег была первой и самой верной союзницей феодальной реакции, которая начиналась рядом с нею и в ней самой“ (стр. 228). Лоренц Штейн психологически объясняет, как в этих „господах денег“ нарастало реакционное настроение против республики с ее постоянными переменами и борьбой, „как эти крупные, возникшие из революции капиталы сделали их обладателей решительными противниками революции и союзниками остатков феодального общества“. И вот „обе части нового общества, читаем мы дальше, создают определенный план“ своих будущих действий, в смысле агитации в провинциях в пользу роялистических выборов (стр. 229). Но тут в дело вмешалась новая сила — армия. Хотя, повторяет Лоренц Штейн уже ранее высказанную им мысль, „войско по самой своей внутренней природе есть чисто повинующаяся сила“ ¹⁾, но в то время выходило иначе. Армия одерживала блестящие победы и понимала, что конец директории был бы ее собственным концом. Могла ли она, спрашивает Лоренц Штейн, подчиниться одной фракции собрания, которая к тому же имела против себя весь народ? Наконец, прибавляет он, „в самой армии нашел применение республиканский принцип равенства, значение чего для той эпохи не может не быть достаточно принято в расчет“ (стр. 231).

А между тем реакция угрожала не только директории, не только обществу, не только новым собственникам, но и самой армии, единственной существовавшей тогда силе, в ее внутреннем строе. Было бы, как выражается Лоренц Штейн, „настоящею глупостью“ думать, что армия, отвергшая раньше таких своих вождей, как Буйлье, Дюмурье и Лафайет, желавших ее направить против революции, теперь имея во главе себя всемирно известного Буонапарте и после стольких побед для республики, предала эту республику внутри государства“ (стр. 223). Наш автор несогласен с большинством современных ему историков революции, в частности с Тьером, что инициатива переворота 18 фрюктидора против реалистических результатов выборов, принадлежала директории: ее

¹⁾ Ср. выше, стр. 27.

обращение к армии „только легализировало, по его мнению, первое выступление новой армии в защиту нового общественного порядка“. Дело в том, что „для армии роялизм был противником принципов нового строя, и потому армия была необходимою противницею реакции“ (стр. 234).

Ставши на такую точку зрения в вопросе о происхождении переворота 18 фрюктидора, Лоренц Штейн не мог не приписать ему „величайшего значения для развития республики и общества“. Исходя из сформулированного им здесь положения, что „каждый новый конституционный закон держится одним из трех факторов: собственным движением общества, принципом, развиваемым им в его следствиях, или политическою мудростью и ее требованиями, автор склоняется к тому решению вопроса, им поставленного, что конституция 1795 года, фактически нарушенная (gebrochen) 18 фрюктидора, была делом третьего фактора. Если конституция 1791 года была обязана своим происхождением победе нового общества, конституция 1793 года — созданием нового принципа, то конституцию 1795 года произвело на свет политическое искусство, причем в ней выражалось, по мнению Лоренца Штейна, собственно, „острое, строго органическое понимание ее творца, Сьейса, который лучше, чем кто-либо, судил о своем времени и своем народе“. Конституция, им созданная, подверглась грубому нарушению, и, держа свою мысль постоянно на теоретических высотах, Лоренц Штейн хочет видеть в этой конституции крупный пример для решения вопроса: „может ли вообще вышедшая из политического искусства (aus der Kunst der Politik) конституция быть жизнеспособной“ (стр. 236)?

Ответ на этот теоретический вопрос, по поводу и на основании исторического примера конституции 1795 года, дается сейчас-же отрицательный: „никакая теоретическая конституция не может быть жизненной (ist nicht im Stande lebendig zu bleiben) но необходимо бывает ниспровергаема или преобразуема настоящими устрояющими силами (verfassungsbildenden), общественными элементами, если-бы даже такая конституция была задумана и составлена с величайшей мудростью (стр. 237), как это и было, думает Лоренц Штейн, с конституцией 1795 года, называемой им „образцовым произведением политического расчета“. Но, продолжает он развитие своей мысли,

время тогда было такое, что „никакая конституция не была тогда возможна“, потому что еще не было общества, выражением которого она была бы. Такое решение вопроса он сам называет „смелым“, но считает его единственно правильным, „потому что, по его мнению, еще не было никаких классов, никакой наследственности социальных положений, никакого воспитания в новом обществе, никаких особенных интересов целых отделов внутри нового принципа свободы и равенства. Конституция была выражением этого общего принципа, но не выражением социальных элементов. Там, где возможна только доктринарная конституция, там вообще невозможна никакая конституция“, заключает Лоренц Штейн это рассуждение (стр. 238).

Во Франции, таким образом, не удержались „ни чисто общественная (gesellschaftliche) конституция 1791 г., ни чисто принципиальная 1793 года, ни чисто доктринарная 1795 г.“, и оставалась неиспробованною (unberührt) только одна деспотия. Так начинает наш автор параграф, озаглавленный „Наполеон“, продолжая свою мысль следующим образом: „французская революция, столь богатая крупнейшими фактами, должна была еще исчерпать и эту область во всем ее объеме“, и тут же ставя вопрос, произошло ли это лишь потому, что только этой формы Франция еще не испытала, или потому, что для этого было „более глубокое основание в предыдущем ходе вещей“ (стр. 239). Изображая тогдашнее состояние общества в уже известных нам чертах, он еще раз повторяет, что „для участия в политике не было времени“, так как имущественный вопрос заступил место политических движений. „Государство предоставили самому себе, но с предпосылкою, что оно не будет опасным для имущественного развития, а будет его охранять и, где возможно, ему помогать“. Между тем конституция 1795 г. не обеспечивала от перехода власти в руки одной партии, которая стремилась к возрождению старого права, а с ним и старых имущественных отношений, и возникал вопрос: где искать безопасности для нового порядка вещей? Ответ получался такой: „в отсутствии конституции“ (Verfassungslosigkeit), в „исключительном господстве государственной власти“ (стр. 241). Нужна была только сильная власть да еще чтобы она господствовала во имя принципов и законов, на которых зиждился

новый вид имущественных отношений. Первое условие требовало перехода власти от представительства к одному человеку, который сделал бы эту власть своею. Таким человеком и был, говорит Лоренц Штейн, Наполеон, „человек тогдашнего французского общества“, человек, о котором, говорит тут-же он, „социальная история должна произнести новое суждение“ (стр. 242). Наполеона тысячи голосов во Франции и вне Франции ославили деспотом, но он „не родился деспотом, а был деспотом сделан“ силою обстоятельств, „неразвитым состоянием нового общества (стр. 243). Ни свободный выбор, ни характер сделал Наполеона деспотом, а неотвратимая потребность общества... Общество сделало его абсолютным владыкою... Как-раз в тот момент, когда, по видимости, это общество более всего отступало на задний план, оно произвело самую блестящую личность века... Деспотия одного человека столь же необходимо была обусловлена общественным движением, как и всякая другая политическая форма“ (jede andere Form der Verfassung, стр. 244). И Лоренц Штейн называет Наполеона как бы „настоящим краеугольным камнем нового общества“ (стр. 245). Отметим еще одно место, где мы читаем: „Это правда, что Наполеон был предназначен к господству, но неправда, будто его властолюбие подавило свободу Франции“ (стр. 249).

Мы видели, что в построении нашего историка придается большое значение перевороту 18 фрюктидора, бывшему первым нарушением директориальной конституции. Эта конституция открыла эпоху борьбы политических партий, вместо борьбы классов, и 18 фрюктидора было победою одной из этих партий (стр. 246). Нарушая конституцию для спасения республики, этот переворот уничтожил и в народе, и в его представителях веру в конституцию, показав, что „настоящим носителем нового развития был уже более не народ и избранные им самым представители, а войско. При его помощи директория захватила в свои руки высшую власть, но не обнаружила ни правительственных талантов, ни нравственной самостоятельности (стр. 248). 18 брюмера конституция 1795 года была низвергнута. Началась новая эпоха. Отсутствие в консульской конституции 1799 г. (VIII года) декларации прав Лоренц Штейн объясняет, как „признак решительного прогресса“, как „доказательство того, что большая часть этих

прав была обеспечена и не нуждалась ни в каком законодательном признании“, но вместе с тем он видит в этом и шаг назад, поскольку из конституции исчез „оживляющий ее элемент“ (стр. 253).

В главе о возникновении империи в первом томе „Истории социального движения во Франции“, в конце этой главы, перед началом новой — о самой империи — есть еще две страницы (266 — 267), содержание которых не может остаться не отмеченным в нашем обзоре этой важной книги о французской революции. На них Лоренц Штейн бросает общий взгляд на состояние французского общества в конце революции или, вернее говоря, при Наполеоне. Указав на „невероятную мощь“ нового централизованного государства, он в обществе находит „равноправного пользующегося закономерною защитой индивида, которому, кроме того, во многом государство приходит на помощь, но только не в достижении участия в государственной воле“. Государство и единичная личность, это — две отдельные, чуждые одна другой сферы. Этот раздел между государством и обществом был делом Наполеона, но такое состояние не было способным остаться надолго. Момент крушения такой системы должен был наступить, когда общество своей тихой и медленной работой укрепило свой новый порядок и должно было найти свое выражение в действительной конституции.

Я передал так подробно содержание посвященной французской революции части первого тома труда Лоренца Штейна, в сущности не очень значительной по объему, в виду той стройности, с какою в ней изображается общий ход революции, и той оригинальности взглядов, с какою в ней выступает автор. Читая эту книгу, чувствуешь, однако, что имеешь дело скорее с теоретическим политиком, чем с историком, с человеком более логических дедукций, нежели фактических индукций, который ищет общую схему развития, а не воспроизводит прошлое в его реальном ходе. В его методе есть и сильные, и слабые стороны. Многие Лоренц Штейн более интуитивно угадывал, чем доходил до этого путем накопления, классификации и обобщения единичных фактов. Он обрабатывал не сырой материал, заключающийся в источниках, а материал, уже бывший обработанным такими историками революции, как Лакретель или Минье, но он посвоему

многое объяснял, исходя из своей счастливой идеи о зависимости политических событий и форм от процесса, совершающегося внутри общественной жизни. Его подход к истории французской революции можно назвать не только подходом социальным, но и социологическим,— социальным в том смысле, что понятие общества идет у него впереди понятия государства, а социологическим в том, что он постоянно имеет ввиду некоторую общую теорию о законах общественного развития. В первом отношении его особенно интересовал не только вопрос о равенстве (о свободе меньше) в политическом устройстве, но и вопрос об экономических отношениях с социальной точки зрения. У него была своя особенная классовая теория общества, основы которой давно уже были в ходу у французских историков времен реставрации и июльской монархии и главные положения которой уже применяли к пониманию французской революции Бюшез и Луи Блан ¹). В немецкой историографии это было новостью.

При оценке книги Лоренца Штейна не следует забывать двух вещей. Она была написана три четверти века тому назад, когда та сторона французской революции, которая его наиболее интересовала, совсем еще не была разработана, и в частности, плохо были известны положение крестьян в эту эпоху ²), как и история отмены феодальных прав или распродажи национальных имуществ, и столь же мало имели фактических знаний о положении городского рабочего класса и понимали значение закона Учредительного Собрания, запрещавшего всякие профессиональные ассоциации (о нем же только упоминается на стр. 161 ³). Это не могло не отразиться на чересчур схематичном делении всего населения Франции на резко разграничиваемые классы имущих и неимущих. Но для своего времени и анализ социальной стороны французской революции, сделанный

¹) Историки французской революции, т. I, стр. 142, 210—211, 237 и сл.

²) См. выше, стр. 24.

³) Дело касается знаменитого закона Ле-Шапелье, изданного летом 1791 года и запрещавшего коалиции и стачки. Впервые надлежащее внимание на него было обращено Карлом Марксом, который взглянул на него с точки зрения классовой тенденции буржуазии. Старые историки революции и во Франции как-то проглядели этот закон, чего, конечно, теперь делать уже поздно. У нас им занялся Е. В. Тарле, о чем см. в последней главе настоящего тома.

Лоренцом Штейном, при всей своей схематичности и слишком общем характере, был большим шагом вперед. Другое обстоятельство, которое нужно принимать в расчет при оценке взглядов Лоренца Штейна на французскую революцию, это то, что он занимался эпохой не со специальною целью ее познания в ее особенности, как отдельного самостоятельного целого, а брал ее лишь в качестве исходного периода тех перемен, которые переживала Франция с конца XVIII до середины XIX века. Это необходимым образом обуславливало не только то, что он рассматривал в своем труде, но и то, что он сознательно исключал из своего рассмотрения, важное для своей эпохи, но терявшее свое значение для исторического содержания последних эпох. Читатель книги Лоренца Штейна сверх того не может не обратить внимания на об'ективно-спокойный вообще ее тон, выдержанный от начала до конца. По отношению ко всему и ко всем он желает быть беспристрастным, и это ему удается — удается особенно по отношению к политическим и социальным идеям, которых сам он не разделяет, но которые хочет понять в их природе и оценить в их практическом применении. Это, между прочим, проявляется и в его книге о социализме и о коммунизме и в предисловии к „Истории социального движения во Франции“. Он далек от всякого догматизма, как и говорит о себе в этом предисловии. „Я, именно сказано здесь, не принадлежу к тем, которые, открыв в своих мыслях путь в лабиринте вещей, начинают также думать, что у них по этому самому в руках ключ к великой загадке. Я знаю, что над познанием самых простых истин работали в течение целых столетий“... и что, для достижения полной истины „должна быть произведена еще некоторая серьезная, хотя бы, может быть, для будущего поколения излишняя работа“ (стр. II). А между тем свое исследование он предпринял не из простой научной любознательности, а будучи заинтересован смыслом переживавшейся в середине XIX века социальной революцией (стр. III). Историей он пользуется, как одним из средств понимания социального вопроса (стр. VII), но это не заставило его сделать из истории прислужницу политики, чем и объясняется его об'ективно-спокойное и беспристрастное отношение к французской революции. На этом об'ективизме Лоренца Штейна сказалось влия-

ние гегельянства ¹⁾, причувшего рассматривать исторический процесс, как нечто логически необходимое и в этом смысле разумное, да и тот историк, который, повидимому, особенно повлиял на Лоренца Штейна, Минье ²⁾, действовал в этом же направлении своим известным фатализмом ³⁾. Та социальная точка зрения, на какую стал автор „Истории социального движения“, при его об'ективизме не перешла в какую бы то ни было классовую точку зрения, хотя в то же время сказала на том, что на первом плане у него идея равенства, представляющая бóльший интерес в общественном смысле, чем идея свободы, прежде всего имеющая значение для индивида. Вся революция поэтому представляется Лоренцу Штейну в большей степени борьбой за равенство, как равноправие и равное пользование благами жизни, нежели борьбой за политическую свободу, от которой у него общество так легко и отказывается, хотя бы и под условием сохранения за ним свободы в его хозяйственных делах. В данном отношении он довольно близко подходит к основному взгляду Бюшеза и Луи Блана ⁴⁾.

Вскоре после книги Лоренца Штейна стал появляться в Германии капитальный труд по эпохе французской революции Зибеля, который теперь у нас, таким образом, и стоит на очереди.

Генрих Зибель ⁵⁾.

Генрих фон-Зибель был одним из наиболее выдающихся и плодотворных немецких историков XIX века, вышедших из

¹⁾ См. стр. 134—135, особенно стр. 166, где говорится о Weltgeist'e. В приготавливаемой мною к печати книге „Французская революция в философии истории“ об этом будет подробнее.

²⁾ Для отношения Лоренца Штейна к Минье см. в его книге стр. 129, 212, 216, 218, где он ссылается на него большею частью с полною удовлетворенностью по поводу его понимания („trefflich“, „dies ist der Sinn des Satzes bei Mignet“, „der am tiefsten, in seiner Beurtheilung greift“).

³⁾ Историки французской революции т. I, стр. 104.

⁴⁾ Историки французской революции, т. I, стр. 213 и сл., 236—237.

⁵⁾ О Зибеле (1817-1895) Varrentrapp, Vorträge und Abhandlungen von Sybel (1897). F. Meinecke (в Hist. Zeitschrift за 1895 г.) — В. П. Бузескул. Генрих Зибель, как историк-политик (1890; переиздано в „Исторических Этюдах“ 1911). Fueter в „Geschichte der neueren Historiographie“ (1911) дал весьма хорошую общую оценку (но очень короткую) Geschichte der Revolutionszeit.

научно-объективной школы Ранке, высоко ставившей строгую критику источников, как первую обязанность настоящего исследователя прошлого, а изображение прошлого, „как оно собственно было“, в значении другой, не менее важной, задачи, ради которой и предпринимается историческая критика. Однако, если в первом отношении ученик не отступал от заветов своего учителя, то во втором, будучи еще 20-летним юношей, он громко заявил, что писать историю следует „*cum ira et studio*“, т.-е., в сущности, давая волю своим пристрастиям. Сначала Зибель, равно начавший свою преподавательскую деятельность в высшей школе (в Боннском университете), посвятил себя изучению средневековой истории, но потом, после перехода в другой университет (Марбургский), переменил и предмет своих занятий. Это было, когда ему исполнилось 28 лет, и тогда же он начал интересоваться политикой, сделавшейся в его сознании неразлучною с историей.

Мартовская революция 1848 года втянула Зибеля и в практическую политику. Мы видим его во франкфуртском предварительном парламенте, потом в гессенском ландтаге, наконец в так называемом эрфуртском парламенте (1850). „Буря революционных годов, как сам он говорил о себе, направила его исторические исследования на другой путь“. В политике он был умеренным либералом и конституционным монархистом, восстававшим как против феодально-клерикальных тенденций консерваторов, так и против радикально-демократических и социалистических идей тогдашних передовых деятелей. Его выступления против народовластия, против всеобщей подачи голосов, против республики лишили его в широких кругах общества той популярности, которою он пользовался раньше. Во время своих споров с радикалами он пришел к мысли о необходимости показать, каковы были последствия демократических и социалистических стремлений во время французской революции. Первоначально он думал ограничиться брошюрой, но, в конце концов, написал пяти-томный труд под заглавием „История революционного времени от 1789 по 1800 г.“¹⁾ Первый том этого капитального исторического исследования вышел в свет в 1853 году, последний — только в 1879 г., так что работа

¹⁾ H. von Sybel. Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1800.

Зибеля над этой эпохой продолжалась четверть века. Когда историк начинал свой труд, еще не существовали книги Токвиля, Мишле только заканчивал свою историю, а Луи Блан был в середине своей работы. Первые томы труда Тэна появились только перед выходом в свет последнего тома истории Зибеля, а Сорель уже шел по его стопам. Как верный ученик Ранке, новый историк революции обратился к архивным источникам, что на первых порах было сопряжено с некоторыми трудностями, когда, по его выражению, нужные ему документы „хранились еще за семью печатями“. В начале своей работы он, однако, получил доступ к делам комитета общественного спасения, к военным архивам Берлина и Парижа и к бумагам нидерландской дипломатии, пока перед ним не стали открываться двери в архивы министерства иностранных дел не только Пруссии и Австрии, но и Англии с Францией. Не лишним будет отметить, что еще в самом юном возрасте Зибель с увлечением читал сочинения Эдмунда Бёрка, политического писателя, государственного деятеля и оратора, бывшего таким противником французской революции ¹⁾.

Отличия труда Зибеля от предыдущих историй французской революции заключались в том, что он стал рассматривать ее, не как событие, важное только для самой Франции, но и как такое, которое оказало влияние на историю всей Европы. Кроме французской революции, как падения старого порядка в одном из государств Европы, он занимается в своем труде еще двумя одновременными переворотами в других государствах. Одним таким переворотом было падение Польши, другим — распадение средневековой Священной Римской империи германской нации. Зибель изучает эти три факта истории конца XVIII века в их связи и взаимоотношениях, — тема, которую впоследствии разрабатывал во Франции Сорель ²⁾. Тема была, таким образом, общеевропейская, но обработал ее Зибель с довольно-таки прусской точки зрения.

В 1848 году был поставлен в Германии на очередь вопрос об ее об'единении, — вопрос, решенный войнами 1866 и 1870—1871 гг. в смысле об'единения ее под гегемонией

¹⁾ История франц. рева., т. I, стр. 45—51.

²⁾ Там же, т. II, стр. 121 и след.

Пруссии, как того хотела так называемая мало-немецкая партия, тогда как велико-немецкая желала видеть Германию объединенной под главенством Австрии. Зибель был одним из виднейших представителей первой, пруссофильской партии. Приглашенный в 1856 году самим баварским королем Максимилианом на кафедру в Мюнхене, где участвовал потом в образовании исторической комиссии при баварской Академии наук и основал знаменитый периодический орган исторической науки „Historische Zeitschrift“, Зибель вынужден был покинуть баварскую столицу, когда в начавшейся в конце 50-х годов полемике между обеими названными партиями очень решительно высказался за Пруссию, которую в Баварии не любили, против Австрии, напротив того пользовавшейся там симпатией¹⁾. Переселившись снова в Бонн, где началась его профессорская деятельность, он опять бросился в политическую жизнь, сделавшись членом прусской палаты депутатов и даже заняв в ней место среди национал-либеральной оппозиции в эпоху знаменитого „конфликта“ начала 60-х годов. Впоследствии, после побед Пруссии над Данией и над Австрией, Зибель признал оппозицию, в которой участвовал, делом ошибочным и превратился в самого горячего поклонника Бисмарка. В эти же годы он развил свою публицистическую деятельность в прусско-патриотическом духе. После основания Германской империи Зибель вскоре (1875) получил место директора берлинского Государственного Архива и, окончив труд, в коем рассказано было, как пала старая Германско-Римская империя в эпоху французской революции, принялся, по предложению Бисмарка, за большую историю основания новой Германской империи. В промежуток времени от 1889 по 1894 годы вышли в свет семь томов его „Основания Германской империи Вильгельмом I“²⁾, написанные в духе прусского национального либерализма.

Вот с этой-то прусской точки зрения Зибель и взглянул на эпоху революции. Во всех трех крупных событиях того времени у Прусского государства были свои особые интересы. Среди всех держав, ведших войну с революционной Францией, Пруссия первую пошла на мир с Французской республикой,

¹⁾ Его речь „Ueber die neueren Darstellungen der deutschen Kaiserzeit (1859) и книга „Die deutsche Nation und das Kaiserreich“ (1862).

²⁾ Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.

конечно, преследуя при этом свои политические цели. Второй польский раздел был прямо подстроен прусской политикой, не говоря уже о том, что вообще Пруссия была особенно заинтересована в польском вопросе. Наконец, распадению старой Германской империи уже предшествовало возникновение австро-прусского антагонизма, проявившегося потом очень резко в период от 1848 по 1866 г. Все три события конца XVIII в. Зибель и обсуждает с точки зрения тех выгодных или невыгодных для Пруссии сторон, какие эти события имели. В другом месте я уже рассматривал отношения Зибеля к польским разделам¹⁾. Ту-же прусскую позицию занял он и по отношению к французской революции, хотя, конечно, многое, впервые им высказанное, о войне с Францией в конце XVIII в. заслуживает внимание, как важное приобретение науки. Так, например, он исследовал вопрос о происхождении революционных войн и пришел к тому выводу, что вовсе не существовало никакого заговора монархических правительств против Франции, а с другой стороны, подверг критике легенду о спасении Франции исключительно энтузиазмом и героизмом четырнадцати армий, указав, что сама коалиция была очень слаба вследствие противоречий в интересах держав, и что Австрия и Пруссия не выставили против Франции всех своих сил, так сказать, карауля Польшу, дабы ею не завладела одна Россия. Конечно, такими заявлениями немецкий историк революции вызвал против себя большое негодование среди французов, грозивших неприятностями переводчику книги за то, что он хочет содействовать распространению подобных мыслей. Французская наука, однако, стала считаться со взглядами Зибеля, как с основанными на документальных данных.

У Зибеля был еще один политический (т.-е. не чисто научно-исторический) интерес к истории французской революции. Не задолго перед тем, как он начал над нею работать, Пруссия тоже пережила революцию, превратившую ее из абсолютной монархии в конституционную, как то было и с Францией в 1789 году. Его, как историка-политика, не могла не заинтересовать проблема об условиях, в каких может и должно упрочиваться и развиваться конституционно-монар-

¹⁾ Падешие Польши в исторической литературе (1888). См. там стр. 107—120.

хическое правление, первые шаги которого делала тогда Пруссия. Отсюда особый интерес Зибеля к тому периоду революции во Франции, когда создавалась и действовала монархическая конституция 1791 года. Ему самому в начале шестидесятых годов пришлось участвовать в национальном представительстве Прусской монархии и выбирать между поддержкою правительственных требований, необходимость которых он признавал, и оппозицией правительству за его антиконституционный образ действий. Как для конституционалиста, для него характерно то, что он стал на сторону оппозиции и даже сделался одним из ее вождей.

„История революционного времени“ Зибеля состоит из пяти томов, из которых самый малый (II) заключает в себе 472 стр., самый большой (V) — 703, в общей же сложности все пять томов содержат 2843 стр., так что на каждый том приходится средним числом около 570 страниц¹⁾, Нужно, однако, всегда иметь в виду, что не все в этом труде относится к французской революции, вследствие чего многие главы и даже целые большие отделы („книги“) говорят о разных других предметах. По приблизительному подсчету, по крайней мере, 500 — 600 страниц во всех почти томах совсем не относятся к французской революции²⁾, а в остальном так много посвящено внешней, т.-е. дипломатической истории, что число страниц о внутренних делах Франции еще более сократится — в первых трех томах до 820, в последних двух, где особенно много мест, относящихся к внешней политике революции, — всего до 300, так что на внутреннюю историю Франции придется немного более тысячи страниц или несколько менее двух пятых всего труда. И в таком объеме рассмотрение французской революции относится к числу наиболее обстоятельных, существующих в литературе предмета.

Между отдельными томами материал распределен так, что первый том доведен до провозглашения республики, т.-е. рассматривает первые три года и четыре с половиной месяца революции, второй охватывает время до падения Дантона, или около полутора года, третий — до конца Конвента, тоже,

¹⁾ Первые три тома охватывают время до 1795 года, остальные два — до 1800 года. Первые три тома были у меня в третьем издании (1865 — 1866), последние два в первых изданиях (1870 и 1879).

²⁾ Например, о польских разделах, взгляд на которые у Зибеля был мною рассмотрен в „Падении Польши в исторической литературе“.

значит, около полутора года; выходит, что первый период революции, чуть не в три с половиною года, рассмотрен гораздо быстрее, чем второй только в три года с небольшим. В четвертом томе излагается время от установления директории до государственного переворота 18 фрюктидора (один год и десять месяцев), а в пятом до конца XVIII и начала XIX столетия (около двух с половиною лет). К V тому приложен очень обстоятельный, на шестидесяти страницах, указатель, — более частая принадлежность, очень полезная, в немецких, нежели во французских книгах, но столь обычных у немцев подстрочных ссылок в труде Зибеля необычайно мало. Самому труду он притом не предпосылает никакого предисловия, и только в коротких предисловиях к некоторым из следующих томов он делает несколько незначительных замечаний частного характера.

В общей сложности Зибель работал над своей „Историей революционного времени“ около четверти века: первый его том вышел в свет в 1853 году, еще когда не были закончены истории Мишле и Луи-Блана, а последний в 1879, когда уже были первые тома „Происхождения современной Франции“ Тэна, с которым у Зибеля было некоторое родство взглядов.

Первоначально Зибель, как впоследствии и Сорель, думал остановиться на 1795 годе, что и отмечалось на заголовке первых трех томов, но через десять лет после выхода третьего тома (1860) он издал IV том (в 1870 г.) с обещанием в нем выпустить еще V, который появился только через девять лет (1879). Далеко не с самого начала получил Зибель вход в те архивы, где он мог найти необходимый материал особенно по дипломатической истории. Только тогда, когда уже был издан первый том, ему удалось выхлопотать разрешение заниматься в Лондонском State-Paper-Office, что он и отметил в предисловии ко II тому. В предисловии к III тому он упоминает о расширении материала, которое доставили ему бумаги прусского Государственного Архива. В следующем томе предисловие уже ссылается на архивные документы Вены и Неаполя, и с особенным удовольствием автор отмечает, что наконец-то ему после прежних напрасных попыток был открыт доступ во французский Архив министерства иностранных дел, а произошло это, благодаря лишь

личному вмешательству Наполеона III, дозволившего Зибелю работать в этом архиве без каких-бы то ни было ограничений. Конечно, в новых архивах Зибель находил документы, которые могли бы ему очень пригодиться для изданных уже томов. Такой капитальный труд не мог, разумеется, не потребовать новых изданий и не сделаться очень скоро известным за границей, равно как не найти переводчиков на иностранные языки. В предисловии к IV тому Зибель уже мог указать на французский и английский переводы первых трех томов своего труда, в которые он даже внес некоторые дополнения из новых архивных материалов.

В это время существовал и русский перевод под несколько измененным названием „История французской революции и ее времени“, при чем явился он разделенным на два тома, из которых один помечен 1863 годом и был издан еще с предварительной цензурой, второй — 1865 годом, когда уже для переводных сочинений известного размера такая цензура более не требовалась¹⁾. Полезным нововведением переводчиков было приложение к каждой части подробных хронологических указателей.

У Зибеля мы находим как элементы прагматического рассказа, так и культурного описания, т. е. изображения и событий и быта. Его история революции открывается общим описанием состояния Франции перед революцией не особенно большим (т. I, стр. 3—43), но содержательным. Чувствуется, однако, что Зибель писал эту главу до появления труда Токвиля. Отсюда о наказах буквально только десятков строк с таким о них замечанием, что „в них уже говорит всеобщая коренная (gründliche) революция“ (41). Рассказывая события, Зибель постоянно обращает внимание на те или другие стороны тогдашнего состояния Франции и

¹⁾ В свое время указывалось на недостатки и ошибки этого перевода, сделанного самим издателем (В. Ососовым) при помощи и под редакцией, начиная с третьей главы II тома, другого лица (И. Путьяты). Редактор имел первоначально намерение „посредством примечаний указать читателю все те места, где, по редакторскому мнению, взгляд автора ошибочен“, находил у Зибеля пристрастные суждения о „действиях защитников чернорабочих (sic) или предводителей социальной революции“. На предисловии „от редактора“ сказались влияние точки зрения Луи Блана, хотя он и оговаривается, что „вовсе не хочет во что бы то ни стало оправдывать защитников интересов чернорабочих“. Но, поразмыслив, И. Путьята отказался от таких примечаний, пообещав дать главные свои возражения после, чего, однако, не исполнил.

происходивших в нем перемен. Так, в первом томе есть глава страниц в 30 (195 — 224) об экономических отношениях первоначального периода революции. Кстати сказать, он вообще обращает большое внимание на финансовую сторону общего положения дел ¹⁾. В большинстве случаев у Зибеля сведения о состоянии переплетаются с известиями о событиях, ход которых и определяет план изложения, но местами историк посвящает им отдельные главы. Такова в первом томе еще глава об управлении и ассигнатах в начале революции (108 — 134), во втором — глава под названием „*Behandlung des Landes*“ (стр. 414 — 439), в четвертом — вступительная глава о внутреннем состоянии Франции в начале директории (5 — 46). В общем распределял Зибель свой материал менее искусно, нежели потом Сорель, комбинируя материал повествовательный и описательный, в особенности же касающийся Франции и других стран ²⁾. Рассказ о французских событиях, то и дело, резко прерывается на долгое время эпизодами из истории, например, падения Польши. Сорель, можно сказать, объединяет разнородные элементы своего материала более органически, тогда как у Зибеля комбинирование выходит более механическим, внешним.

Другое преимущество Сореля нам известно из разбора его труда ³⁾. При всем своем национальном патриотизме он все-таки значительно более поднимается до универсальной, обще-европейской точки зрения, нежели немецкий историк, в котором слишком проявляется даже не германец вообще, а пруссак, имеющий в виду постоянно интересы Гогенцолернской монархии. С точки зрения этих интересов он смотрит на войну с французской революцией, с которою Пруссия первая пошла на мировую. Та же точка зрения доминирует в отношении ко второму и третьему разделам Польши, давшим Пруссии превращение ее территории. Наконец, и по отношению к начавшемуся под непосредственным действием французской революции разложению Священной Римской империи германской нации Зибель постоянно помнит о проявившемся уже тогда антагонизме между монархи-

¹⁾ Например, в IV томе см. особую главу о бумажных деньгах (81 — 102).

²⁾ Таково и мнение знатока Зибеля, В. П. Вузескула (см. выше, стр. 54) в заметке о Сореле (Исторические Этюды, 1911, стр. 234).

³⁾ Историк фр. рев., т. I, стр. 120, 123 и 147.

ями Габсбургов и Гогенцолернов. Австрия обособилась от остальной Германии (I, 142), тогда как Пруссия сделалась настоящим оплотом Германии (I, 147). В одном лишь смысле обращение Зибелем особого внимания на польские и австро-пруссские отношения позволило ему с большою пронциательностью понять причину постигшей первую коалицию против Франции неудачи: в том, как было сказано выше, что, карауля Польшу, Австрия и Пруссия не выставили всех своих сил против Франции.

Раз уже пришлось сравнивать Зибеля с Сорелем, — пошедшим, впрочем, все-таки по его стопам, — не могу не отметить, что немецкий историк гораздо меньше, чем его французский продолжатель, дает обобщающих формулировок, менее вносит в свой труд историко-философских соображений и общих руководящих точек зрения, столь блестяще изложенных в первом томе „Европы и французской революции“. Зибель больше остается на почве самих фактов, не устремляясь в высь общего исторического взгляда на весь процесс трансформации внутренних и международных отношений в Европе. В этом я вижу преимущество Сореля перед Зибелем, но, конечно, на этот счет может быть и другой взгляд. Во всяком случае, сделанное мною сравнение отнюдь не должно влечь за собою унижение Зибеля, как историка французской революции, написавшего на самом деле, как-никак, капитальнейший, солиднейший критический труд, самый крупный и важный во всей немецкой историографии.

При малом развитии у Зибеля обобщающих формулировок, для передачи его общего взгляда на французскую революцию приходится теперь обратиться к началу второго тома, где он подводит итоги под предыдущим изложением (Rückblick und Uebersicht, II, 4 — 12). „Можно придти ко взгляду, говорит он здесь ¹⁾, что призыв 1789 года к свободе был только сигналом к военному насилию и деспотизму. Он был поворотом, с трагизмом которого у истории едва-ли есть сравнения; он был ужасающим падением после столь напряженного состояния, после таких восторженных надежд, так что именно

¹⁾ Пользуюсь в дальнейшем русском переводе цитируемых отрывков, сверяя их с текстом, но отмечая места по нем. подлиннику. Приводимое сейчас место находится на страницах 49 и следующей второй части I-го тома перевода.

в эту минуту уместнее всего вопрос: не носили-ли в себе эти надежды уже сами по себе гибели, не должно-ли было это развитие уничтожить уже с самого начала и все эти надежды“ (II, 3)? Кто, однако, продолжает Зибель, на основании такого заключения „захотел бы предать проклятию вообще события 1789 г., тому бы пришлось отвернуться с презрением от одной неисправимой потребности человеческой природы и об'явить историю Европы трех предшествовавших столетий громадною ложью“. Вслед за этим заявлением историк высказывает ту мысль, что „не к политической программе, начертанной собраньем 1789 г., а к цели, которой оно надеялось достичь ею для своего государства, стремился рост наших наций с конца прежних веков“. Цель эту он понимает, как „устранение всех призрачных авторитетов, расторжение всех проявлений, сломку всех неестественных ограничений. Мир, продолжает Зибель, повторял древние священные слова: ты не должен служить никаким кумирам, сделанным человеческими руками. А до сих пор он совершал такое служение по всем областям жизни, ибо каждому учреждению человеческого общества приписывал божественное происхождение и божеское освящение... Существующий порядок был неприкосновенен не потому, что он был хорош, но потому, что существовал... Все вращалось на прочных, все на одних и тех же неизменных путях... Повсюду форма господствовала над содержанием, и все формы были построены по одному и тому же основному началу. В одной половине средневекового тысячелетия можно видеть много внешних перестановок, но внутренних меньше было, чем в одно полу-столетие нового времени“. Противопоставляя последнее средним векам, автор видит начало этого времени „в том, что человеческий дух в своем стремлении к природе и истине разбил связывавшие его оковы (II, 4)“. Он называет здесь Колумба, Лютера, Коперника. После них мысль, одушевляющая народ с непреодолимую силою, требовала „развития человека, не стесняемого произвольными узами и обуславливаемого законами собственной его нравственной природы“, — мысль, действовавшая „не только в обществе, в области науки, в религии, но и на политическом поприще“. Влияние нового духа Зибель усматривает и в деятельности государей против старого порядка (das Altbestehende) во имя „общественной

пользы, национального блага и общечеловеческого права". Очевидно, историк здесь имеет в виду просвещенный абсолютизм. Этот исполненный творчества и человечности (schöpferisch und human) дух в то же время называется у Зибеля „разрушительным и необузданным“ (II,5). Чувствуя свою силу, новое направление перестало что-либо уважать, кроме своей собственной силы, „видело перед собой руководителями только свои страсти и произвол“. Если, заключает он эту часть своего рассуждения, только-что высказанная мысль „справедлива относительно монархических преобразований XVIII века, то относительно демократической революции французского народа она имеет еще большую силу“.

Предвосхищая одну из основных идей Токвиля, высказавшего ее весьма немногим позже, Зибель находит, что революция только продолжала раньше начавшийся процесс. „Она, говорит он, не была тем, за что часто выдавали ее,— исходною точкою совершенно нового времени: напротив того, по своему положительному содержанию она находится в самой тесной связи с начавшимся за три столетия мировым процессом, составляя прямое его продолжение. Она силится достичь устранения сгнивших порядков, которые, перешедши из времен феодального государства, тяготели уже в это время над Францией черезчур излишним бременем, потерявшим всякий смысл для жизни“. Разве это не токвилевская мысль о разрушении революции именно феодального государства,— разрушении, начатом раньше? ¹⁾ Вторую главу первого отдела I тома Зибель так и назвал „Sturz des Feudalstaates“ (1,44—68): в этом было ее освободительное значение. Здесь он усматривает действие тех же побудительных причин, по которым раньше Германия боролась против иерархии, Голландия— против Испании, Англия— против Стюартов, Америка— против Англии, (II,6), но он находит и разницу между этими движениями и французской революцией. Те были созидательными, в последней же он видит войну „не только против ложных авторитетов, но и против всех нравственных законов“. „Она, говорит он, не умеет исправить дурное правительство иначе, как только уничтожением всякой правительственной силы“, — утверждение, с которым Токвиль

¹⁾ Историк фр. рев., т. II, стр. 23.

ником образом не согласился бы ¹⁾, но которое подходило бы к настроению Тэна. „Не поспешная замена старой разрушенной почвы права, продолжает он, а полная необузданность каждой воли сделалась, кажется, задачей ее политики“. Выдвигал анархическую сторону французской революции сильно вперед. Зибель, однако, видит в событии и сторону положительную.

„Справедливо, говорит он далее, что, как вообще все, в конце концов, приносит пользу благому делу, так и революция очень много помогла свободе, потому что столетие прошло бы, быть может, для половины Европы, прежде чем можно было бы устранить мирным путем остатки феодального быта, ставшие в это время уже грудой мусора“. Оценка революции у Зибеля двойная. С одной стороны, без нее процесс замены феодального государства народно-правовым без французской революции замедлился бы, но, с другой, она оставила вредные последствия в жизни: „страх, внушенный ею, удерживал правительства от улучшений столь же часто, как и от насильственных мер; она принудила церковь стать в решительно ложное отношение к политике, привела бюргерство к нравственной ослабленности и наполнила пролетариат неразумными требованиями ²⁾. Зибель писал эти строки во время сильной реакции, вызванной социальной строною революцией 1848 года. Политический радикализм первого периода революции он готов был принимать за чисто „коммунистическую демократию“ (II, 3), начиная главу, содержание которой мы теперь пересказываем. Здесь же Зибель говорит, что, приняв таковой характер, революция не могла кончиться чем-либо иным, как первой империей, военным государством, „теснившим труд, мысль и веру“ (II, 7).

Причину такого именно исхода французской революции, наложившего роковую печать на все столетие, Зибель ищет в „нравственном состоянии старой феодальной, консервативной Франции“. Высшие сословия были в корне развращены, средний класс оттеснен от политических прав и, следовательно, от политического образования, народная масса придавлена нуждой и угнетением. Франция перед революцией предста-

¹⁾ Там же, т. II, стр. 21.

²⁾ Какие оттенки вносил русский переводчик в понимание слов Зибеля, можно видеть из того, что в данном месте слово „unverständige (безрас- судные, безумные) он заменил словами: „весообразные с его силами“ (стр. 123, ч II).

вляется Зибелю скольком с Византийской империи, при том, однако, различии, что во французском народе не умерло чувство национальной чести, которое и подвигало его на яростную борьбу ради своего государственного спасения. „При таких условиях, говорит Зибель дальше, каждое движение, как бы его нравственная причина ни была возвышена и чиста, становится судорожными и искажается: нельзя осуждать идею свободы за то, что ее образ побудил людей, прошедших школу Людовика XV, к дикости и преступлениям. Одним словом, прибавляет он, не удалась французская революция не потому, чтобы разрушение старого порядка было превратным началом, но потому, что нация приступила к движению с глубокою старою своею безнравственностью (стр. 8). Не из крушения феодального государства, а на его почве выросли любостяжание и себялюбие, насильственность и грубость, которые привели от либерализма ночи 4 августа к сентябрьским убийствам“¹). Французская национальная развращенность — тема, довольно обычная у немецких писателей²), но основная мысль, что старая монархия не воспитывала нацию для свободы, проводилась и во Франции такими историками, как Токвиль и Кинэ, которые, притом, не могли бы не согласиться и с другою мыслью Зибеля, что с указанным им настроением общества связано было еще заблуждение, заключавшееся в смешении понятий свободы народа и власти народа (II, 9), т. е. тут мы опять встречаемся с чисто Токвильевскою мыслью. Как и французский историк, Зибель сравнивает Францию с Америкой: „декларация прав, которая почти в сходных выражениях основала в Северной Америке цветущую республику, сделалась на галльской почве исходным пунктом для бешеного господства черни“. На той же странице Зибель называет французскую революцию „коммунистическим деспотизмом“, соответствием которому во внешней политике явились завоевания. С этого момента, замечает автор, „нам придется наблюдать, как это стремление (к завоеваниям) возрастает ежеминутно и мало по-малу вовлекают в круг своего движения все государства Европы; рядом с этим мы заметим, как все остальное

¹) Как не следует доверяться переводу Ососова, можно видеть с передачи им этого места: „выросли мерзости эмиграции и частые уличные насилия и зверства“. Ни об эмиграции, ни об улице у Зибеля здесь ни слова.

²) Многие примеры этого приводятся в моей книге „Французская революция в философии истории“.

содержание революции отстывает, постепенно суживаясь, на задний план, и как с этой стороны созревают условия военной диктатуры“ (II, 11). Глава заканчивается параграфом о встрече завоевательных политик революции и России, что было исключено из русского перевода цензурой: Зибель считает и политику Российской империи революционной. „Чем более, по его словам, остальные государства все более зависели от событий, сами события все решительнее зависели единственно от обоих могучих владык, от французского комитета общественного спасения и от императрицы Екатерины“ (II, 11).

Таких общих рассуждений, как изложенная глава, в истории Зибеля больше нет. Историк попытка написать еще что-либо подобное, хотя бы в виде заключения к третьему тому, которым оканчивалось первоначально это произведение, и даже к тому V. То, что здесь в оглавлении обозначено, как „Schluss“, сводится к десятку строк, содержащих в себе только краткое размышление о судьбе Бонапарта, завершившего революцию во Франции, но зато начавшего ее эру для всей нашей части света (V, 703). Зибель вообще в своем рассказе идет все далее и далее вперед, не останавливаясь, не озираясь назад, не заглядывая вперед. События идут за событиями, как следствия за своими причинами, или по крайней мере как картины, сменяющиеся одни другими, что затрудняет схватывание и охватывание его общих мыслей, конечно, проявляющихся в его отношениях к отдельным событиям, деятелям и учреждениям французской революции.

В политическом отношении Зибеля, как сторонника конституционной монархии, не могла не интересовать попытка основания таковой во Франции конца XVIII века. Единственным человеком, который в глазах немецкого историка правильно понимал положение дел, был Мирабо. Общая характеристика, которую ему делает автор (I, 80—81), отличается краткостью, как впрочем, и другие, характеристики деятелей революции, так как он не ставит своей задачей психологический анализ деятелей революции, предпочитая, чтобы каждый сам говорил за себя больше своими поступками и делами, чем мыслями и словами. Он не собирает в одном каком-либо месте,—как в фокусе рассеянные лучи,—отдельные черты, чтобы дать целый образ человека, чего можно было бы желать от такого обширного произведения, но предоставляет

самому читателю воссоздавать себе общее представление о личности на основании отдельных, разбросанных на протяжении множества страниц о ней упоминаний. Так, о Мирабо речь, в конце концов, заходит, по крайней мере, тридцать раз на протяжении без малого двухсот страниц (I, 49—235), но нигде автор не постарался сразу всесторонне осветить эту личность. То же можно сказать и о других деятелях, как Дантон или Робеспьер. То, что в указателе отмечено, как характеристика Дантона¹⁾, вовсе не может быть так названо по своей необычайной краткости, хотя все-таки о нем сказано полнее, чем было сказано о Мирабо. Коротко и бледно охарактеризован у Зибеля и Робеспьер (I, 388—9), причем больше способом противопоставления его Дантону и без проникновения в психику Робеспьера. Менее всего я намерен ставить в вину Зибелю отсутствие у него портретов. Это относится уже не к научной, а к литературной стороне его труда, но мне кажется, что данная особенность изобразительной манеры Зибеля стоит в связи с его способом передавать единичные факты, не формулируя их в каких-либо общих положениях о ходе исторического процесса²⁾. Во всем его труде исследовательский анализ преобладает над творческим синтезом.

В качестве конституционного монархиста Зибель с особым интересом отнесся к выработке конституции 1791 года, которая, однако, сама по себе нашла в нем сурового критика. Она, говорит он, делала невозможным какое бы то ни было правление, будь то монархическое или республиканское. И все законы Учредительного Собрания он характеризует, как дававшие полную свободу произвола каждому отдельному человеку, все равно сильному или слабому, правомерному или преступному, благоразумному или легкомысленному (I, 247), но вообще в подробности для оправдания таких своих приговоров о законодательстве 1789—1791 он не входит, как не очень долго останавливается и на анализе содержания „Декларации прав“, интересуясь гораздо более событиями, нежели идеями. „Правам человека“ такой заголовок он как-будто

¹⁾ В указателе V тома указана стр. 400 первого тома, на самом же деле это место находится на стр. 367—8.

²⁾ Это замечание не распространяется на описание Зибелем положения дел.

посвящает целую главу в 15 страниц (I, 69—84), но из них едва пятая часть говорит об этом историческом документе (I, 71—76), в остальном же речь идет о партиях Национального Собрания и о конституционных вопросах. Как и ко многому другому, и к „Декларации прав“ Зибель отнесся двойственно. С одной стороны, в ней он видит, несмотря на все ее „недостатки и ошибки“, „мощный пограничный столб на рубеже двух возрастов света и навсегда исходный пункт и общее направление нового неудержимого стремления в европейской государственной жизни“, а с другой — показатель глубокой болезни тогдашней Франции и страшности предстоявших ей кризисов. Самое предложение составления такого документа кажется ему „симптомом этой болезни, отнюдь не шагом к ее исцелению“. Зло заключалось в том, что во Франции никто уже не ощущал живого отношения к государству, к реальному французскому государству, что многовековое развитие превратило политическую деятельность одних в своекорыстную эксплуатацию государства (*geniessende Ausbeutung des Staats*) и политическое устремление других — в вождение равного наслаждения благами, что каждый думал о себе и о своих, о своей безопасности и свободе, и никто не ставил себе вопроса, какую работу или обязанность должны были, он сам и всякий другой гражданин, взять на себя при данных условиях, дабы сделать государство способным к исполнению этих желаний (I, 72). Я уже заметил, что у Зибеля мы находим обобщающие формулировки только для состояний (внешних положений, внутренних настроений): это мы видим и в данном месте, столь же пессимистическом, как и то, в котором речь идет о французской безнравственности. Такое же общее представление составил себе немецкий историк о неподготовленности французской нации к самоуправлению. „Народная масса делается политически способною не вследствие одного объявления о ее политической зрелости, как бы торжественно оно ни было сделано, но только благодаря распространению умственного образования и еще больше воспитания характера. Но тогда именно французская нация была так, как только можно, дурно подготовлена к самоуправлению. Массы были погружены в глубокое невежество, высшие состояния — в беспримерную нравственную порчу; всех обуревала жгучая жажда то мщения и разрушения, то

господства и обогащения; нигде не было просвещенного общего настроения, и у большинства было лишь настолько любви к отечеству, чтобы презирать опасности войны и ненавидеть иностранцев. Призвать такой народ к немедленной и все охватывающей суверенности значило привести его через разрушительную анархию к спасающему деспотизму“ (I, 73).

В конце концов, если уже так пессимистически, так отрицательно относился Зибель к политическому законодательству Учредительного Собрания и к самой французской нации во всех ее слоях, то можно себе представить, каково было его отношение к периоду, когда революция приняла во Франции еще более крайний характер. Экономическая разруха, на которую Зибель обратил большое внимание, только еще более обостряла положение.

Зибель считает (и, конечно, правильно) значительным недостатком прежних историй революции, что они хранят глубокое молчание о восстаниях рабочих и о крестьянской войне, вследствие чего даже на долгое время утвердилось мнение, будто в XVIII в. революция была только политической, и что лишь в XIX в. она приобрела социальный характер. Историк не согласен с этим, как и с тем, что первым провозвестником социальных стремлений был только Бабёф в конце революции¹⁾. Зибель ссылается на новейшие для его времени мнения, что самые крайние коммунисты имели свой прототип (Vorbild) в якобинцах, но, продолжает он, „и остальные течения современного социализма имеют своих представителей в прошлом (т. е. в XVIII) столетии. Можно положительно сказать, что ни одно предложение теперешних школ не было пропущено в 1790 году. Все новое в последнем десятилетии ограничивается теоретическими обоснованиями (Beweisformen) и философскими украшениями (Verbrämungen) системы“ (I, 195). Историк говорит тут же, что входит в рассмотрение этого, так как „с данного момента ни один важный пункт истории революции не остается незатронутым этим стремлением“. Он противопоставляет дальнейшее участие в революции, с одной стороны, образованных людей, действующих под влиянием страстного честолюбия, с другой—

¹⁾ Бабёфу и его заговору Зибель отводит довольно много места преимущественно в IV томе (стр. 103—133). В рассказе есть даже случайная ссылка на один архивный документ (122).

массы низших слоев, сообщающих революциям ее „вулканическую силу“, но нуждающихся в „более простых и сильных возбуждениях к участию в движении. Еще никогда, заявляет Зибель, не было ни одной крупной революции, которая не была бы социальной или религиозной“ (I, 196). После 1848 года, который был так недавно перед временем, когда писал Зибель, высказать такое положение было весьма естественным и понятным, но на этом он долго не останавливается и заключает свое рассуждение на всю тему такими соображениями. Принципы 1789 года провозгласили не только свободу труда и владения собственностью, но и равенство государственной защиты для рабочих и собственников, в чем, говорит Зибель, заключается „весь мировой смысл этих принципов“, ибо они противоречили основам феодального государства. „Оно считало политическую власть частною собственностью каждого владеющего ею в данный момент и предоставляло ему право употреблять ее, как и всякую другую свою собственность, для достижения своих целей и, следовательно также и труд других для своих выгод“. Но едва было высказано, что политическая власть не должна обогащать себя за счет народа, как голодная масса сама вспомнила, что она теперь сама политическая власть. Вместо того, рассуждает далее автор, чтобы отбросить принцип феодального государства, она постаралась только о том, как бы его объяснить в свою пользу. Если государственная власть помогала прежде увеличению богатств богатых, то теперь она, по ее мнению, должна была послужить бедным“. Вопрос заключался в том, окончена ли революция, или должна она еще продолжиться. Если Учредительное Собрание отвергло и общность имуществ, и республику, то, делая уступки крайним левым, оно приходило к принципам, из которых следовали с неизбежною логикою демократическая и социальная республика (т. I, 196—198).

Впрочем, читая у Зибеля подобные места о социальной республике и особенно о коммунизме, нужно всего иметь в виду, что нередко он обозначает последним термином многие вещи, которые в действительности не были коммунизмом в прямом смысле слова, в роде, например, конфискации, реквизиции, таксации с'естных припасов, декреты о которых в книге называются коммунистическими (I, 486—487; ср. стр. 11

оглавления). Вообще более или менее все случаи вмешательства власти в экономическую жизнь и принудительные меры в этой области сходят у Зибеля за коммунистические планы, как мы это видим неоднократно (II, 62 — 64; ср. стр. 8 оглавления), хотя и не всегда он так обозначает экономическую политику революции, когда, например, говорит об установлении знаменитого максимума (II, 370 и сл., 421). Вообще это были либо чисто политические меры, либо чисто финансовые, далекие от какой бы то ни было действительно противособственнической в принципе окраски.

В „Истории революционного времени“, конечно, очень подробно рассказывается, как пала монархия и установилась республика, как происходил суд над Людовиком XVI и совершилась его казнь, как возникла борьба между жирондистами и якобинцами и как первые были побеждены вторыми, но, как и во многих других случаях, автор не дает цельных характеристик обеих партий, предоставляя читателям самим составлять себе представление о той и о другой на основании разбросанных по разным местам труда фактам, которые вигде не сопоставляются и не обобщаются для получения некоторых резюмирующих выводов. С целыми партиями Зибель поступает совершенно так же, как и с отдельными лицами. Он очерчивает их скорее в форме кратких определений, чем в виде сколько-нибудь полных характеристик, как мы то видим уже при обзоре политических направлений в первом Национальном Собрании (I, 76 и сл.). Кто захотел бы узнать, как Зибель смотрит на якобинцев, тот должен был бы обратиться для этого к разным местам его труда, точно перечисленным в алфавитном указателе, да и то сравнительно малом для такого большого произведения (всего полтора десятка ссылок), при чем нет ни одного места, посвященного общей характеристике якобинцев на протяжении всей их истории, каковую характеристику Зибель дал, впрочем, жирондистам, хотя и в очень беглом виде (I, 293). Выводя их на сцену, он, так сказать, представляет их читателю, как горячих и радикально-настроенных людей, любимых всеми революционными патриотами, для которых кордельеры были слишком грязны, а фейльяны слишком пресны или вялы (*mattherzig*), и как искусных ораторов не без демагогических приемов и анархических выступлений во время нахождения в оппозиции,

в начале мало даже отличавшихся от кордельеров и бывших согласными с Робеспьером и Маратом в неуважении к праву и в устранении собственности (*Beseitigung des Eigentums*), в эманципации плоти и в уничтожении религии¹⁾. „Они, продолжает Зибель, оставались верны этому направлению до тех пор, пока сами не увидели, что кинжалы, приведенные ими в действие против королевской власти, угрожают их собственной жизни; тогда они сразу изменяются, начинают бороться за порядок, за закон, за собственность и погибают, ибо не умели действовать на чуждой им почве и сами же своими прежними поступками разрушили все преграды для анархии“. Беда их заключалась в том, что они, как охотно это утверждалось, с нерешительностью отдалялись от дела господства черни, но как-раз обнаружили неспособность совершить крупный и полный переворот: они пали не от логической силы своих противников, но от нравственных последствий собственной своей неправоты, в которых они непоправимо сами же и запутались (I, 294). Это одно из редких у Зибеля мест, где принимается в расчет и то, что случилось после того момента, к которому оно относится в повествовании. В этом же месте есть маленькая черточка, бросающая свет на то, как Зибель понимал причину расхождения жирондистов с якобинцами, с которыми их так близко ставил: она заключалась в личных честолюбиях. Как впоследствии обе партии между собою боролись по разным отдельным вопросам текущей политики, это, конечно, все подробно рассказано у Зибеля, но без резкого принципиального противопоставления обеих партий, к которому причиною большинство французских историков. Фактической обстоятельности у него очень много, но довольно мало обобщающих ретроспективных и бросающих взгляд на последующее формулировок, да и систематических сравнений обеих партий историк не делает. В приведенном наброске характеристики Жиронды, где между нею и Робеспьером и Маратом ставится чуть не знак равенства, Зибель как бы предвосхитил взгляд Тэна на тот-же предмет²⁾. Если он нашел, как мы видели, нужным особенно подчеркнуть социальную сторону революции, то религиозная ее сторона у него осталась, наоборот, несколько в тени, хотя, конечно, все

¹⁾ Как это подходит к Робеспьеру!!

²⁾ Историки франц. рев., т. II, стр. 90.

относящиеся к ней факты имеются налицо. Он как-то ее не выделяет, что сказывается даже при просмотре оглавлений отдельных томов, так что религиозная политика революции у него не сделалась предметом большого внимания. Даже то, что теперь называется дехристианизацией Франции, излагается у него едва на одной странице (II, 424), да и то в качестве одной из подробностей эпохи террора.

Очевидно, с Зибелем случилось то же самое, что в свое время было с Тьером, который задумал свой труд в меньшем размере, чем он стал получать по мере своего выполнения ¹⁾. Выше уже было сказано, что начальный период революции (1789—1792) рассказан у немецкого автора гораздо короче, нежели средний (1792—1795): если на каждый приходится года по три с месяцами, то первый уложен в один том, на второй потребовалось два, зависит же это не от одного того, что во втором периоде история французской революции осложнилась войною с монархической Европой, так как и в первом томе места внешней политике вообще отведено не мало: здесь мы видим такие темы, как общее международное положение и взаимные отношения отдельных государств, особенно австро-пруссские, начало польских осложнений и т. д. Уже в этом первом томе автор обозначает один отдел как „Первое действие французской революции на Европу“? Но здесь Зибель берет Европу в смысле ее политических сил, т. е. составлявших ее держав и их правительств, а не самых наций. Известно, что революция произвела сильное впечатление на английское общество и что в нем нашлись литературные заступники революции (Маккинтош, Пэй и др.), однако об этом Зибель молчит. Мы не находим упоминания и об итальянском поэте Альфьери, приветствовавшем революцию одой „Разбастыленный Париж“. Сам Фихте, написавший статью о необходимости исправить суждения немецкой публики о французской революции ²⁾, отсутствует в труде немецкого историка, и нет упоминания о том, что Шиллер удостоился от Конвента звания гражданина французской республики. Одним словом, Зибель имеет в виду Европу официальную, Европу королей, министров, дипломатов, полководцев и их армий, намерения и действия кото-

¹⁾ Историки фр. рев., т. I, стр. 118.

²⁾ Историки фр. рев., т. I, стр. 53—55.

рых он пристально изучал, но не Европу мыслителей, публицистов, литераторов. Эдмунда Бёрка и Малле дю Пана, слишком ярких противников французской революции¹⁾, ее историк обойти не мог, и даже думается, что названный английский писатель внушил Зибелю (как и Тэню) некоторые мысли, но другие иностранные литературные противники революции (хотя бы немец Гевц) не обратили на себя внимания Зибеля. Общественное мнение Европы во время революции его интересовало мало. Главная сила Зибеля в дипломатической истории международных отношений, что придает большую цену и IV—V тт. его „Истории“, но мы уже сюда за ним не последуем, так как это завлекло бы нас слишком далеко. Все равно, для исчерпывающего обзора такого капитального труда немецкой историографии, посвященного французской революции, у нас не было бы и достаточного места. Я только желал бы, чтобы у читателя от предложенного ему разбора труда Зибеля не осталось неблагоприятного для него впечатления. Рассматривая его, я не мог не противопоставлять ему „Европу и французскую революцию“ Сореля, у которого есть кое-что, чего нет у Зибеля, но критика, обращающая все внимание на то, чего нет у рассматриваемого автора, не может приводить к окончательному приговору. Для своего момента, более полустолетия тому назад, „История революционного времени“ была явлением замечательным, как бы ни относиться к политической позиции, которую занял в книге сам автор. Не знаю, много ли теперь читают в Германии этот труд, изданный, сколько мне известно, в последний раз в 1897—1900 гг.²⁾, но в России он принадлежит к числу совершенно забытых большой, по крайней мере, публикой.

Прежде, чем перейти к следующему, по хронологическому порядку, немецкому историку французской революции, нужно упомянуть о том, что в 1865—1866 годах вышли в свет два больших тома „Государственного и общественного права французской революции“ Карла Рихтера³⁾. Этот труд был первой в Германии попыткой систематической разработки законодательства французской революции, в котором автор

¹⁾ Там же, т. I, стр. 35—39, 42—51.

²⁾ Перед этим было еще изд. 1832 г.

³⁾ K. Richter, Staats-und Gesellschaftsrecht der französischen Revolution.

видел основу развития вообще государственных форм прошлого столетия и изучение которого считал потому необходимым для понимания новейших политических учреждений и общественных отношений Европы. С немецкою последовательностью в книге Рихтера соединяются большой внутренний интерес к делу и простота изложения.

Людвиг Гейссер ¹⁾.

Людвиг Гейссер (Häusser) был университетским профессором в Гейдельберге (1840 — 1867), временно в Цюрихе (в 50-х годах), увлекавшим своих слушателей умным и блестящим изложением предмета. После него остался ряд трудов по немецкой истории, из которых большею известностью пользуется возникшая из записи его лекций книга по истории реформационной эпохи ²⁾, где, впрочем, говорится не об одной Германии, но и о других странах. Вместе с этим Гейссер был публицистом и политическим деятелем, основавшим, вместе с Гервинусом, „Deutsche Zeitung“ и занимавшим, хотя и недолго, место в баденской палате депутатов. Свои политические переживания из эпохи германской революции середины XIX века Гейссер изложил в вышедших в свет в 1851 г. записках ³⁾. По своим симпатиям он принадлежал, как и Зибель, к мало-германской партии, вообще был настроен либерально, отличаясь свободой суждений и широтой взгляда. В нем не было черствости Зибели.

На Гейссера можно смотреть, как на ученика Шлоссера, собственно в исторической науке. В студенческие годы он больше тяготел к филологии, пока Шлоссер не убедил его специализироваться в области истории. Учитель заразил его и своим моральным пафосом, увлекавшим потом также слушателей самого Гейссера. В числе последних был Онкен, которому мы обязаны появлением в печати курсов учителя о реформации и о революции. Свои лекции о последней Гейссер читал

¹⁾ Гейссер родился в 1818 году, умер в 1867 году. О нем Erich Marks (в Heidelberg Professoren aus dem XIX Jahrhundert, 1903), а также краткая характеристика, сделанная А. С. Трачевским в статье, предпосланной русскому переводу его „Истории революции“ (1870).

²⁾ Geschichte des Zeitalters der Reformation. Русский перевод под редакцией В. М. Михайловского (1882).

³⁾ Denkwürdigkeiten zur Geschichte der badischen Revolution.

в годы, когда в Германии после долгой реакции пятидесятых годов снова заговорили о политической свободе, о конституционализме, о свободе совести и печати, о необходимости экономического обновления, наконец, о национальном объединении. В основу интересующей нас книги ¹⁾, вышедшей через два года после смерти Гейссера, легла стенографическая запись Онкена, сделанная в 1860 г. и кое-где дополненная по запискам двух студентов в 1861 и 1863 годах, но не мало также помогли Онкену собственноручные заметки самого учителя и его выписки из источников и пособий. Особенно Гейссер пользовался трудом Зибеля, материал же был у него только печатный, за исключением некоторых мест о Пруссии и Польше, которые были написаны автором на основании документов берлинского архива. В общем получалась, конечно, только популяризация, но зато такая популяризация, которая оставила по себе глубокий след.

История французской революции составляет компактный том, приблизительно в 600 страниц ²⁾, из которых около одной пятой части посвящено изображению Франции до 1789 года. В этой вступительной части на изложении Гейссера сказались большое влияние Токвиля, книгу которого автор называет одним из замечательных трудов Франции (стр. 8): прямо можно было бы даже указывать, где у Гейссера токвилевские мысли. Конечно, под влиянием автора „Старого порядка и революции“ немецкий историк отвел несколько страниц (110—119) наказам 1789 г., как в высшей степени замечательному документу о состоянии страны и о настроении народа в те дни. Но в шестидесятых годах еще не было издания Лорана и Мавидаля, и автор пользовался двухтомной книгой Грилля (Grille) „Tableau comparatif des mandats et pouvoirs donnés en 1789“ (1824). Правда, в книге указывается и Шассеп (Le génie de la révolution), но ссылка на него заключена в прямые скобки, — знак, что это дополнено Онкеном. Среди отдельных параграфов введения есть посвященные Вольтеру, Монтескье и Руссо ³⁾, также большой,

¹⁾ Geschichte der französischen Revolution. 1867. Русский перевод указан выше.

²⁾ В первом издании русского перевода 459 страниц. Редактор этого перевода исправил разные погрешности подлинника.

³⁾ То, что происходило в 1793 году, говорит Гейссер, было предсказано Руссо „второй же глубокой скорбью“ (7), но на восьми страницах, посвященных

в 27 страниц (82 — 109) параграф о прошлом Мирабо, на основании известных „Мемуаров“ и книг Пипица и Левица. Гейссер очень высоко ставил этого деятеля, прямо выделяя его из ряда других, но его еще интересовала жизнь Мирабо, как раскрывающая целую нравственную неурядицу в домашней и в семейной жизни (den ganzen sittlichen Wittwart in Haus und Familie) тогдашних дней, как это он считал нужным также отметить для полноты картины.

В самом начале введения, говоря об универсальном характере французской революции, Гейссер особенно подчеркивает, что она тем не менее „никогда не могла вполне отрешиться от местного своего характера“ и что, „стремясь перейти в общеевропейскую, она никогда не переставала быть французской“. По его мнению, везде, кроме Франции, „абсолютизм умел успешно оберегать популярные основы (Wurzeln) своей мощи... и выставил свою диктатуру такую благотворною, зыждительною, охранительною формою, которая как бы и сделалась любезною массам. Никто, продолжает автор, не питал, в большей части европейских стран, ненависти к монархии за ее абсолютизм, потому что ее влияние было во многих отношениях плодотворно и благодатно“ (segenreich und befruchtend, стр. 4). Во Франции и только во Франции, думает он, было иначе. „Другую своеобразную черту переворота 1789 года“ он усматривает в национальном характере французов, в их „подвижной, восприимчивой, непостоянной натуре“: „ни один народ не способен так колебаться между необузданною свободою и подчиненном самому суровому деспотизму. Из всех романских наций во французской больше всего той поспешности и страстности, которые заставляют ее сразу рваться к цели и достигать ее при помощи самых насильственных кровавых средств“, и рядом с этим способности проникаться высокими идеями и совершать подвиги, вызывающие удивление и восторг (5 — 6). Франция кажется Гейссеру „нечистым сосудом,

Руссо (39 — 47), у автора странным образом нашлось места только пять-шесть строк, чтобы сказать о „составившей эпоху книжечке (Büchlein) Общественный Договор, где в кратких решительных выражениях катехизически изложено учение о социальной действительности“ (fürchtlichen Ernst, 46 — 47). Между тем содержание двух ранних диссертаций Руссо излагается. Политическая теория Монтескье тоже не изложена.

в котором были помещены принципы 1789 г.“. Он признаёт за ними значительность, величие, зыбительность, которых не может, говорит он, не признавать и несогласный с ними человек. Но это великая историческая программа нового могущественного мирового развития „выродилась так быстро и ужасно во что-то преступнейшее и отвратительнейшее“ (6). „Идеи 1789 года“ Гейссер не делает „ответственными за дела 1793 года“. Он приглашает не забывать, что „политику в 1793 году делало общество времен Людовика XV“, не преследовавшее, по его мнению, уже „никаких определенных политических целей, желавшее разрушать ради разрушения и думавшее, что стоит только беспредельному хаосу поглотить все существующее, и возникнет новое“. Заканчивая эту общую характеристику, Гейссер прибавляет: события 1793—1794 годов „заставили сомневаться, возможны ли вообще у этого народа мирные плоды революции: ведь, прибавляет он, качание между теориями 1789 и практикой, начиная с 1793 г., составляет основной характер французской истории вплоть до этого часа“ (7). Такое отношение к Франции подсказывал Гейссеру его немецкий патриотизм, который, кроме его дара талантливого рассказчика, и создал ему популярность среди его современников¹⁾.

После Зибеля и Гейссера общих трудов по истории французской революции, кроме упомянутых ее изложений в индивидуальных или коллективных всеобщих историях или совершенно популярных квижек, собственно говоря, почти не было, но зато умножились монографические и биографические работы, о которых говорится дальше. В более общем смысле заслуживают внимания только произведения, в которых французская революция рассматривается с марксистской точки зрения. Сам Маркс оставил после себя несколько разных заявлений об этом событии, но важнейшее в данном случае его общее понятие об историческом процессе²⁾, отразившееся в немецкой историографии на трудах Каутского, Блоса и Кунова, к которым мы и перейдем,

¹⁾ E. Fueter, делая в своей „Geschichte der Historiographie“ (1911) общую характеристику Гейссера, особенно выдвигает вперед эту черту (стр. 540—541), отмечая еще отсутствие у него какой-бы то ни было исторической теории и глубины суждений, но большую непосредственность чувства.

²⁾ В приготовленной мною к печати книге „Французская революция в философии истории“ Марксу посвящается одна глава.

хотя из них только один Блюс написал общий обзор революции.

Не забудем еще, что влияние взглядов Маркса сказалось и во Франции на труде Жореса ¹⁾.

Карл Каутский.

Брошюра Карла Каутского „Противоречия классовых интересов 1789 г.“ ²⁾, вышедшая в год столетнего юбилея, начинается с протеста против „пользования историей революции для партийных целей, если смотреть на нее с точки зрения морали“ (стр. 6). Автор это, впрочем, считает естественным, но противопоставляет такому суб’ективному отношению другое — об’ективное. „Французская революция, говорит он, как-раз дала толчок такому пониманию истории, которое делает возможным об’ективное изучение как самой ее, так и всякого другого исторического явления“ (стр. 7), причем, конечно, он разумеет здесь теорию экономического материализма и классовой борьбы. Впрочем, Каутский сам указывает, что сколько ни желали историки изобразить революцию, как дело философов или ораторов национальных собраний, „они не могли обойти молчанием тот факт, что вызвавший революцию конфликт происходил из противоречия интересов третьего сословия с двумя первыми. Они видели, что это противоречие не было случайным и скоропреходящим, .. и что этот конфликт имел свои корни в экономических отношениях“. Ссылка автора на желание историков выводить революцию из деятельности философов и ораторов — простой полемический прием, конечно, как и указание на то, что „в большинстве описаний революционной эпохи классовая борьба изображалась и изображается, не как движущая сила всего переворота, а лишь как отдельный эпизод в борьбе философов, ораторов и государственных деятелей“ (стр. 8). Ведь это же не совсем так, начиная с Минье и кончая более новыми историками, а в Германии имея в виду особенно Л. Штейна и Зибеля. Ставши на данную точку зрения Каутский, впрочем,

¹⁾ Историк франц. рев., т. II, стр. 217, 222.

²⁾ К. Kautzky. Die Klassengegensätze im 1789. Цитирую по переводу под. ред. В. В. Водовозова (1902). Рус. изданий много.

взялся „не столько защищать ее, сколько предохранить ее, как он выражается, от опопления“, заключающегося в „склонности многих принимать, что в обществе существуют только два борющихся класса, т.-е. верхи и низы. Если бы это было справедливо, продолжает он, писать историю было бы очень легко. В действительности, однако, общественные отношения вовсе не так просты“, ибо в обществе бывают „самые разнообразные и с разнообразнейшими интересами классы, которые в зависимости от обстоятельств могут группироваться в весьма разнообразные партии“ (стр. 9). Каутский и поставил себе задачей анализировать классовый состав французского общества в 1789 году.

Его книжка является замечательною попыткой именно детального анализа того сложного классового расчленения, какое представляло собою французское общество в начале революции. Не одно произведение французской историографии по систематичности и детальности здесь не может идти в сравнение с этой небольшой работой Каутского. Он расчленяет на более мелкие категории и дворянство (стр. 23 и сл.), и чиновничество, которое он берет в качестве большой группы между обоими первыми сословиями (стр. 36 и сл.), и особенно буржуазию, которая „отнюдь не составляла сплоченной, однородной массы“ (стр. 50 и сл.), с выделением из нее особой группы — интеллигенции (стр. 60 и сл.), равно как и народ, везде видя более мелкие подразделения со своими отдельными интересами. Например, среди „санкюлотов“ он различает ремесленников-мастеров и их подмастерий, наемных рабочих и голытьбу (*Lumpenproletariat*) и прямо утверждает, что „пролетариата, как самостоятельного сознательного класса перед революцией еще не существовало“ (стр. 76). Только о расслоении сельской массы Каутский не был фактически осведомлен¹⁾, хотя мог бы и в главе о крестьянстве (стр. 84 сл.) найти ряд отдельных категорий в этом сословии.

Производя такой анализ, Каутский определяет также роль каждой категории в революции. Он изображает, как „из союзни-

¹⁾ Каутский в двух местах ссылается на мою книгу „Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции“, но говорит, что она была ему недоступна, кроме некоторых данных из нее, сообщенных ему одним из его друзей (стр. 48 — 49, 93 — 94). Переводчик работы Каутского поправляет одну его неточность в передаче моих слов. Между тем в моей книге о расслоении сельского населения говорится довольно много.

ков буржуазии санкюлоты превратились в ее повелителей". По его собственному выражению, „не Законодательное Собрание, не Конвент спасли революцию, а сделали это санкюлоты. Они захватили в свои руки клуб якобинцев и овладели, таким образом, организацией, которая, управляя из Парижа, имела по всей стране свои разветвления. Они завладели общинным самоуправлением Парижа и получили вследствие этого возможность неограниченного распоряжения колоссальными средствами этого города (стр. 79). Прибегая к восстаниям, они подчинили себе Конвент, подчинили правительство, подчинили, наконец, всю Францию“ (стр. 80). Пользуясь властью, они предприняли борьбу с капиталистической эксплуатацией путем торговли, спекуляций и ростовщичества, но „уничтожение основ ее, прибавляет Каутский было тогда невозможно, так как не было еще налицо необходимых условий для высшей организации производства“. В этом автор видит причину „безнадежного положения“, в какое попали санкюлоты: „обстоятельства дали им в руки власть, но лишили их возможности создать прочные, выгодные для них учреждения“, и террор сделался их единственным орудием, в употреблении которого они шли все дальше и дальше (стр. 81). Военные успехи Франции между тем сделали террор излишним для спасения дела революции, а „служба тормозом для экономического расцвета страны ¹⁾, он становился все более и более независимым... По мере того, как оружие Франции венчалось победными лаврами, значение санкюлотов все более падало, и на первое место выдвигались армия и буржуазия с примкнувшей к ним голытьбой. Санкюлоты непрерывно теряли одну позицию за другою и, наконец, совершенно ступевались и сошли с исторической сцены“ (стр. 82). Это — целое построение хода революции в эпоху якобинского владычества, опиравшегося на санкюлотов. „Якобинцы и жители парижских предместий, говорит Каутский, потерпели крушение потому, что ход исторического развития не создал условий, благоприятных для революции в интересах мелкой буржуазии и пролетариата, потому что он заранее осудил на погибель все то, что стояло на пути капиталистической революции“ (стр. 83). Автор, конечно, не считает эту проигранную борьбу бесследной.

¹⁾ Не по одной же этой причине.

Между прочим, он подробно говорит, и о влиянии революции на Европу (стр. 105 и сл.). В общем, работа Каутского весьма содержательна, интересна и в целом верна.

Вильгельм Блос.

Книга Блоса¹⁾ относится к числу популяризаций, каких много на французском и на других языках. Она была предназначена автором для самой широкой публики, нуждающейся в элементарных сведениях, в последовательном, понятном и живом рассказе, в неособенно подробных характеристиках и в самых несложных суждениях, и все это Блос дает своим читателям, проводя вместе с тем и определенную историко-философскую точку зрения. Научная критика таких книг может ограничиваться лишь рассмотрением, насколько каждая из них стоит на достигнутой наукою ступени, но необходимость все упрощать в книгах подобного рода обязывает критика не быть очень строгим, особенно в тех случаях, когда вопрос является все еще спорным, не окончательно решенным. В виду, однако, распространенности усвоенного Блосом взгляда на события, партии, учреждения и законы французской революции, я приведу здесь лишь отдельные, более личные мысли автора с критическими замечаниями в подстрочных примечаниях.

Одна из тем, по которым историки высказываются очень различно, это — сравнение между жирондистами и якобинцами, или монтаньярами. Блос по этому вопросу высказывается очень категорически. Говоря о том, прежде всего, что Конвент состоял из республиканцев, он уже, так сказать, заранее предупреждает, что „между республиканцами были и такие, которые внутренне питали отвращение к республике“, хотя „в эпоху революции и исповедовали республику“²⁾. Многих жирондистов он считает республиканцами и еще до 10 августа, других — сделавшихся республиканцами под давлением

¹⁾ W. Bloss. Geschichte der französischen Revolution. Первое изд. рус. пер. вышло в 1902 году без имени автора и с измененным заглавием („На рубеже XIX века“), но в новых изданиях и имя автора стало называться, и настоящее название книги было восстановлено.

²⁾ Цитирую по рус. пер., изд. 1891 г., где приводимые ниже места находятся на стр. 211 и сл. первого тома.

обстоятельств. „Эти люди, говорит он, составили себе о народе какое-то идеальное понятие, которым и украшали свои красивые речи. Но когда они увидели народ ближе, во всей его ярости, в его грязи и нищете, то в их груди проснулось высокомерие буржуазии. Они хотели любить этот народ, — полюбить его издали. Равенство у них было лишь пустой фразой. Они хотели устроить республику по своему буржуазно-аристократическому вкусу и подчинить ее умственной и имущественной аристократии. Конституция 1791 года без короля казалась им совершенно достаточной для удовлетворения всех потребностей этого времени ¹⁾. Народ, как борющаяся масса и как пушечное мясо монархии, служил хорошую службу этим буржуа-аристократам уже 10 августа ²⁾. Они забыли, что народное движение, раз ему дан толчок, нельзя остановить когда угодно. Они предприняли безрассудную попытку сделать невозможное и думали, что народ, завоевав свободу для всех, удовольствуется лишь той частью верховных прав, какую они сообразовали дать ему ³⁾. Этим они раз'единили Францию и парализовали ее силу сопротивления внешнему врагу... Низвержение их стало необходимостью, и оно было совершено тем же парижским народом, который вместе с жирондистами ⁴⁾ низверг престол. Что касается до якобинцев, то эта партия стремилась к демократической республике ⁵⁾ со свободой и равенством для всего народа. Она никогда не была разборчива в своих средствах, что неизбежно вытекало из положения Франции в данную минуту. Она обладала жаром воодушевления, преданностью делу и способностью самопожертвования ⁶⁾... Эта демократия, ставшая столь страшной государям ⁷⁾, прокладывала своим принципам дорогу мечом“. Перечисляя заслуги якобинцев, Блос указывает на то, что они еще нашли достаточно времени для того, чтобы заняться социально-экономическим строем Франции, выработать чисто демократическую

¹⁾ А жирондистский проект конституции в 1793 г., оставивший далеко позади якобинскую конституцию, своим более последовательным проведением народовластия (народная инициатива законов и референдум)?

²⁾ Разве жирондисты были инициаторами и вождями 10-го августа?

³⁾ См. предыдущее примечание.

⁴⁾ См. второе примечание.

⁵⁾ Еще раз ссылаюсь на первое примечание.

⁶⁾ А жирондисты?

⁷⁾ Не жирондисты ли были инициаторами войны с монархами?

конституцию и сделать такие распоряжения, которые давали народу понятие о преимуществах демократического общества. Партия и себя принесла в жертву революции: и ее, наконец, постигли революционные бури, которым она „дала простор“. Несколько далее (стр. 219 — 220) Блос говорит об обострении отношений между обеими партиями, делавшем уничтожение одной из них неизбежным. Между их программами была непримиримая принципиальная противоположность. Жирондисты хотели свободы индивида, без всякого ущерба для привилегий имущих; они были представителями того принципа, который называют индивидуализмом. Партия же Горы требовала преобразований для общества во имя свободы, равенства и братства.

Последнее замечание есть не что иное, как повторение взгляда Бюшеза и Луи-Блана с тем только различием, что оба историка противопоставляли свободу (индивидуализм) жирондистов братству (социализму) якобинцев, тогда как Блос не решился сделать из якобинцев социалистов¹⁾. Необходимо еще отметить, что, по изображению Блоса, „жирондисты сделали вступление в господство ужаса“, т.-е. террора, постаравшись устроить революционный суд так, чтобы впоследствии этим учреждением им можно было воспользоваться против своих противников в Конвенте (стр. 253), хотя тут же рассказывается, как якобинцы погубили жирондистов. Хотя автор и сказал прежде, что „низвержение их стало необходимостью“ (стр. 220), однако, потом нашел, что „для жирондистов не было никакой необходимости погибать от революции: им надо было лишь поменьше рассматривать народ, как отвлеченное понятие“, и не давать „народу прав человека лишь в виде красивых фраз“²⁾. Мало того, автор находит, рассказывая о движении 31-го мая — 2 июня 1793 года, что „не геройское это было дело — пушками и штыками изгонять из Конвента каких-нибудь две дюжины депутатов“, среди которых „были люди, оказавшие громадные услуги революции“ (стр. 273), хотя, в конце концов, он все-таки высказывает „полное оправдание“ якобинцам вследствие „безуслов-

¹⁾ Взгляды Бюшеза и Луи Блана разобраны в I томе, на стр. 208 и сл., 235 и сл., 252 и сл. и сл. и др.

²⁾ Если в том и другом жирондисты повинны, то и якобинцы не далеко от них уходили.

ной необходимости“ переворота, низвергнувшего жирондистов, что уже напоминает исторический фатализм Тьера. Равным образом, хотя, по Блосу, жирондисты сделали вступление в господство ужаса (стр. 253), однако, дальше он сам оканчивает вторым июня 1793 года „жирондистский период Конвента“ и начинает „период террористический или время ужаса“ с переходом власти в руки Горы (стр. 254). „Жирондисты, точно свинцовая тяжесть, затруднили до сих пор действия республики. Но теперь Гора могла развернуть свои силы, и за нею дело не стало“ (стр. 275). Блос, впрочем, относится несочувственно к системе ужаса и пытается снять обвинение с Марата, как главного ее деятеля, указывая на то, что „в действительности настоящая система ужаса“ относится ко времени между днем смерти Марата и низвержением Робеспьера (стр. 284). Автор только оговаривается, что, „если бы одержали верх враги этого правительства (Робеспьера), то Францию постигли бы еще большие ужасы“ (стр. 298). Система „стала пагубной лишь вследствие своего вырождения“ (стр. 300) при Робеспьере, который, однако, кажется немецкому историку менее виноватым в этом, нежели английский министр Питт (стр. 306).

Кстати отметим, что Робеспьер далеко не был героем Блоса, видящего в нем „одностороннего доктринера абстрактного понятия добродетели“ (стр. 320), „не понявшего связи между революцией и изменениями в области собственности“, прибегавшего „лишь к жалким, недостаточным мерам против господствовавших бедствий“ (стр. 321), павшего вследствие обманутых надежд народа (стр. 322). В частности, Блос ставит ему в вину казнь эбертистов, „много и сильно, по его выражению, оклеветанных историками“: здесь автор усматривает остановку Робеспьера, до того времени, „постоянно шедшего вперед с революцией“, а теперь „начавшего реакцию в своем вкусе“ (стр. 329). О его правлении историки произносят такой приговор: „около четырех месяцев держал он диктатуру в своих руках. Его государственная идея была столь же ограничена, как и его правление жестоко. Он пал жертвою своего идеала — государства добродетели, но он боролся со своими врагами коварством и жестокостью. Он забыл, что абстрактные понятия философии лишь тогда можно провести в жизнь, когда в са-

мой жизни есть для этого соответствующая материальная почва" (стр. 362). Если по французской историографии (Бюшез, Луи Блан), якобинизм отождествлялся с социализмом, то германские социал-демократы вернее поняли чисто политический (а не социалистический) характер якобинизма¹).

Генрих Кунов.

В первом издании (1908) книга Кунова называлась: „Революционная журналистика во Франции в 1789—1794 годах“, под каким названием появился и ее русский перевод (1918) с несколькими, впрочем, изменениями, а во втором издании, дополненном двумя новыми главами, автор уже назвал свой труд „Партии великой французской революции и ее пресса“, соответственно с чем и русский перевод, сделанный без сокращений по новому изданию, получил новое заглавие: „Борьба классов и партий в великой французской революции“ (1919).

Кунов взялся за изображение не литературной стороны периодической печати в 1789—1794 годах, а ее „политического характера, отношение более важных партийных газет к конституционным, юридическим и экономическим вопросам и тех различных интересов, которыми определялась позиция этих газет“²). Автора не удовлетворяет то, как это трактуется „цеховыми историками“, не выдающими, по его выражению, иных оснований для партийных разногласий, „кроме честолюбия и властолюбия отдельных вождей“. У этих историков он не находит ответа на вопрос о том, „какие слои населения были представлены разными партиями и какие противоречия политических мнений толкали их на борьбу между собою“. Так Кунов мотивировал появление своего труда, в котором он и стремится вскрыть противоречия классовых интересов, показать, как отсюда возникали их мощные столкновения, и все это выразить собственными словами газет данных партий (стр. XII). Газеты времен рево-

¹) Укажу кстати, что переводчик почему-то отстает от принятых у нас передач французских терминов. Так федератов он называет союзниками, комитет общественного спасения — комитетом благосостояния и т. п.

²) Русский перевод в 1919 году, стр. XII; ссылки далее на это издание.

люди, конечно, нельзя назвать партийными в современном смысле этого слова, да и сами партии тогдашние не были такими правильными организациями с определенными программами, платформами, комитетами, съездами и т. п., но этого автор как будто не принимает в расчет. Кроме того, сам Кунов заявляет, что критика источников не входила в его планы потому, что он имел в виду написать книгу „не для специалистов ученых, а для более широкого круга читателей“ (XIV). Если у него и есть критика, то только по отношению к прежним историкам, к старым легендам.

К существующей исторической литературе Кунов относится очень строго. „Крупные общие изложения революции, говорит он, оставляют желать очень многого, в особенности если посмотреть на них с точки зрения материалистического понимания истории“. Главный их недостаток он видит не в разногласиях историков, на которых сказались „различия политических индивидуальностей“, а в том, что они „просто игнорируют целые стороны революционного процесса развития, притом как-раз очень важные стороны“ (стр. 1), особенно сторону экономическую и социальную, напр., классовое расслоение самого третьего сословия. У историков борьба между различными партиями: жирондистами, даптонистами, робеспьеристами, маратистами, эбертистами и т. д. представляется не следствием определенных классовых группировок и созданных ими прогиворечий интересов, а порождением личного соперничества и честолюбия. (3). Они, по его словам, „видят по большей части лишь поверхностные волны революции“ (1), не заглядывая в глубину жизни народа, лишь временами выводимого ими на сцену в виде восставшей толпы (3). Он признаёт необычайно трудным получить материалы „для углубления собственной революционной работы, которую народ развешивал под поверхностью парламентской жизни“ (4); к числу таких материалов „для истории революционных народных и партийных течений“ он и относит в первую голову газеты и памфлеты, хотя, — как следует понимать дело, — менее всего они были выражением собственно „народных“ движений, будучи органами тогдашней интеллигенции, да и партийность в них часто была, как никак, не столько классовою, сколько личною. Признаёт же сам Кунов различие „политических индивидуальностей“ среди

историков, а были „публицистические индивидуальности“ и среди журналистов и памфлетистов. Верно в этом то, что „революционная жизнь бьет из этой литературы (т.-е. журналистики) несравненно сильнее и с большею непосредственностью, чем из парламентских прений“, и что поэтому революционная печаль важнее „для понимания процесса брожения в народе и различных направлений, по которым шел этот процесс“. Недурно Кунов сравнивает „соотношение парламентских прений и бурного газетного водоворота“ с „соотношением оставшегося экстракта и охваченной процессом брожения смеси“ (5), но все-таки и парламентские речи, и газетные статьи, в которых так много проявлений интеллигентской идеологии с ее индивидуальными отношениями и уклонами, не есть еще сама мысль народной массы, гораздо больше отражавшаяся на протоколах секционных собраний.

Несмотря на сделанные мною оговорки, постановка вопроса у Кунова заслуживает одобрения, особенно вследствие его отношения к самому понятию класса. „Если, читаем мы у него, воспользоваться опытом французской революции, многие из возникающих снова истолкований понятия класса придется тотчас отбросить, как явно ошибочные“. Таковым, например, он считает „взгляд, что к одному и тому же классу принадлежат все, находящиеся в одинаковом материальном положении, т.-е. все получающие доходы одинаковой величины“ (6). Кунов на основании нескольких примеров из этой эпохи находит, что „позиция, занимаемая тем или иным лицом в классовой борьбе, определяется не размерами дохода, а прежде всего особыми условиями труда и существования, теми жизненными отношениями, которые складываются у данного лица ко всей экономике“ (7). Но и тут приходится сказать, что на пути вытекающего отсюда расчленения одного большого класса на мелкие классовые группы можно зайти слишком далеко, если за каждым оттенком публицистической мысли, обусловливаемым индивидуальным мышлением, настроением, характером, темпераментом, журналист видит некоторый обособленный коллектив, т.-е. отдельную классовую группу и соответственно этому как бы особую партию (или фракцию партии).

Кунов слишком распространяет понятия и отношения начала двадцатого века на эпоху французской революции:

„если теперь класс ведет свою борьбу на политической арене, как партия“, что, по его же словам, затушевывает характер класса, и если тем не менее „условия развития и деятельности для партии и класса различны“ (523), то взаимные отношения классов и партий в конце XVIII века были еще менее определенными и тесными. Мало того: Кунов объясняет, что „класс и партия никогда не совпадают“ (524).— ценная оговорка, касающаяся основной его точки зрения, оговорка, которую можно было бы дополнить другою—о частом несовпадении личной мысли публициста со стремлениями какой-либо классовой группы, особенно там, где нет организованной партийности и партийной дисциплины, как это и было в эпоху французской революции.

Кунов в значительной мере сам ослабляет свое общее представление о прессе, как об отражении чисто классовых стремлений, говоря в параграфе о „парижской полупролетарской интеллигенции“, как о передаточном звене между высшими слоями народа и революционной литературой, что, с одной стороны, мелкие мастера и рабочие большею частью просто не понимали газетного языка да почти и не читали газет, а с другой, многие из интеллигентных агитаторов и ораторов, часто лишенные твердых убеждений, вдобавок, вносили еще в свои речи очень большую дозу своей академически-рационалистической идеологии (43—44). „Только очень малая часть этого интеллигентного пролетариата обнаруживала некоторое понимание экономического положения и жизненной потребности мелких ремесленников и рабочих. Они упорно оставались радикально-либеральными доктринерами“, и приходили не „к тем или иным социалистическим воззрениям“ даже тогда, когда выступали вождями масс, а только к „буржуазно-индивидуалистическому анархизму“ (44).

Гораздо более пригодный материал для познания настроений народной массы представляют собой другие документы того времени: указы 1789 года, петиции и протесты крестьян и рабочих в следующие годы, протоколы общих собраний граждан. Кунов этим материалом не пользовался. Мало того: он совершенно ошибочно думает, что в 1789 году „низшие классы почти сплошь были устранены от выборов“, что указы шли только от „буржуазных избирателей“, что в них за малыми исключениями нашли себе выражение тре-

бования только „верхнего слоя третьего сословия“, что наказания даже не „составлялись собственно избирателями“, а только выборщиками (48 — 49). Он совершенно, повидимому, не знает, что избирательное право в 1789 году было почти всеобщим, по крайней мере, в деревнях, что первичные наказания исходили от самих избирателей, тогда как выборщики составляли уже сводные наказания, что таких первичных наказов было от крестьян составлено до 40.000, не считая еще наказов от цеховых ремесленников в городах, и что ни один только верхний слой буржуазии высказался в наказах 1789 года. Да и с содержанием чисто буржуазных требований (49 — 50) автор ознакомился очень поверхностно. Вообще на страницах, не касающихся специальной темы, т.-е. революционной журналистики Кунов оказывается иногда недостаточно осведомленным и в фактах, и в литературе¹⁾. Это, между прочим, относится к главам III.—IV, не бывшим в первом издании.

Построение книги можно видеть из следующего перечня названий отдельных глав: I. Экономические и классовые противоречия к началу революции. II. Партия и партийная пресса в 1789 году. III. Либеральная буржуазия и крестьяне. IV. Буржуазия и рабочие. V. Роялистско-клерикальная и аристократическо-конституционные группы в 1789 — 1792 годах. VI. Либеральная пресса. VII. Жирондистская пресса. VIII. Дантоисты и их пресса. IX. Политико-теоретический ежегодник якобинцев. X. „Друг народа“ Марата. XI. Эбер и его „Отец Дюшен“. XII. Пять лет партийной борьбы.

По представлению Кунова, жирондистская пресса, появилась раньше жирондистской партии (260), ибо для него эта партия является представительницей средне-деловой буржуазии (271), „интересами которой, говорит он, только и определялась позиция партии“ (262). Автор, однако, вынужден все-таки оговориться, что его определение этой позиции следует понимать не в таком смысле, как-будто только перечисленные им слои населения (зажиточное торговое сословие, фабриканты, обслуживавшая их адвокатура, чиновничество) голосовали за кандидатов-жирондистов, ибо за ними „шли, особенно в 1791 и 1792 годах, и некоторые

¹⁾ Особенно удивляет то, что Кунов не ссылается на Жорса.

мелко-буржуазные элементы" (262). В общем, несмотря и на это, Жиронда у Кунова до мозга костей пронизана своекорыстной политикой буржуазии. Политического идеализма как-будто в ней и не бывало. Ее принципы автора не интересуют, ни защита ими индивидуальной свободы, ни демократизм, ни их проект конституции. Обычное объяснение желания жирондистами войны не удовлетворяет автора: „в действительности“ они просто хотели направить революционную лихорадку народа в другую сторону, удалить на войну более буйные элементы парижского населения (282), а для деловой буржуазии, в особенности для представителей крупной промышленности и торговли, удачная война с Австрией прямо сулила выгоды, хотя бы в смысле расширения рынка для сбыта изделий французской промышленности (283).

Известно, какую роль в Жиронде играли представители либеральных профессий, но их всех почти, за исключением университетских светил, Кунов записывает в дантонисты (316), даваемая же им общая их характеристика (316) как нельзя более подходит к вождям Жиронды, стоявшим за „возвышенные принципы общезнания, почерпнутые в глубинах человеческого познания“. И вдруг эти „односторонние идеологи“ (317) у Кунова делаются почему то сторонниками обеспечения „доходов и промысловой свободы“ (322), т.-е. опять-таки чисто экономических интересов части буржуазии. И в это же время в целом ряде страниц отмечается непонимание „дантонистами“ экономических вопросов и задач эпохи. Любопытно, что сам Дантон, по имени которого названа вся „партия,“ совершенно ступшевывается в изложении ее истории у Кунова: за всю партию выступает у него Камилл Демулен, ее, по мнению автора, журналист с самого начала.

Так расписывает Кунов газеты по партиям и партии по классам, вскрывая в частности действительно много интересных тем, мало до него обращавших на себя внимание, но характеризующих большую или меньшую симпатию к тем или другим группам населения, что, конечно, очень важно, но в общем нельзя переносить в конец XVIII века ни ясное классовое самосознание, ни более прочную связь партий с классами, ни определенную программность самих партий, т.-е. все то, что характеризует партийность нашего времени. Менее,

чем в других местах, Кунов повинен в чрезмерном схематизме в главе о якобинской прессе (364 — 420), тем более, что в якобинском лагере происходила некоторая эволюция и возникали расколы (508 — 512). Но уже Марат, к которому Кунов относится вообще благосклонно, очень тесно связывается у него с мелкими ремесленниками и рабочими (438 — 442), хотя в то же время автор и подчеркивает, что „у Марата никогда не было более или менее глубокого понимания экономической жизни своего времени“ (468). Да и у кого оно, можно спросить, тогда вообще было, если статья вместе с Куновым на строго марксистскую точку зрения?

В особую классовую группу населения Парижа в книге Купова выделяется интеллигентный пролетариат, ставивший, однако, революции не те задачи, какие предъявлял ей рабочий пролетариат (472 — сл.), и сам еще расчленявшийся по своим направлениям. Одни примыкали к Камиллу Демулену, другие к анархизму Клоотца, третьи — к якобинскому направлению Робеспьера, четвертые же, наименьшие по сравнению с остальными, обнаруживали „половинчато-социалистические стремления“, как выражается автор, полагая, что „это был не пролетарский социализм, а мелко-буржуазный алт-капитализм“ (474 — 475). Вообще и ту полукommунистическую агитацию“ как он называет, которую ввели Ру, Варле ¹⁾ и др., он отмечает, как мелко-буржуазное направление (468 — 476), в котором, по его словам, не было сколько-нибудь более глубокого понимания новых условий труда, складывающихся для собственно рабочих (479). В своем труде Кунов останавливается на Эбере с его газетой „Отец Дюшен“, как на представителе либерально-анархистского направления интеллигентного пролетариата. Самого Эбера он ставит очень низко, называет, например, „просто цыганом, которого случайно бросило в область политической журналистики“ (482), и который даже с течением времени „так и не превратился в последовательного и дальновидного политика“ (484). „Как либерально-анархистский индивидуалист, говорит Кунов, Эбер — решительный противник мелко-буржуазных половинчато-коммунистических идей“ своего времени (491).

¹⁾ Купов даже допускает, что известный разгром лавок в феврале 1793 года был подготовлен агитацией Ру и Варле (стр. 494).

В книге Кунова ценны многочисленные выдержки из газет о событиях эпохи, о стоявших на очереди вопросах, о людях и партиях, равно как притом и очень многие заключения самого автора, когда он не силится проводить во всех подробностях свою схему. Общий свой взгляд на ход революции он высказывает в заключительной главе „Пять лет партийной борьбы“, заключающей в себе только 28 страниц (498 — 525). „Общая картина, получающаяся на основании изучения французской газетной литературы 1789 — 1794 годов“, сводится у Кунова к совершенно верному и очень, конечно, старому представлению о том, что в ходе испанской борьбы классов и власти последовательно поднимались все более радикальные партийные группы, пока, наконец, в революционном движении не совершается поворот, и оно не возвращается к прежним этапам (498). Сначала политическое господство получили „славки третьего сословия: состоятельные чиновники, адвокаты, деловые люди и ученые“, но скоро в них поселился страх не только перед замыслами двора, но и перед действиями толпы (499), откуда стремление „не только использовать достигнутую власть в своих собственных выгодах, но и взять массы в свои руки“. „Мелкую буржуазию и виднейшую интеллигенцию ожидало разочарование“, и их „прозрение пашло многократное выражение в парижской прессе“ (500), которая „в борьбе против новой буржуазии ищет опоры в мелкой буржуазии, в неимущей интеллигенции и даже в рабочих“, тогда как Национальное Собрание стремится „наладить соглашение вправо“ (501). Вся законодательная деятельность Учредительного Собрания представляется Кунову направленною и исключительно к „обеспечению буржуазной собственности и в свободному, ничем не нарушаемому пользованию ею (503), что уже представляет собою преувеличение односторонности в сделанной автором характеристике.

В жирондистах Кунов видит продолжателей прежних буржуазных либералов, хотя и с „известным палетом демократизма“ (504), и говорит особенно о тяготении жирондистов в эту сторону, что вызвало подозрения в радикальных элементах якобинизма (507), причем в якобинизме эпохи Законодательного Собрания автор различает четыре течения: бриссотинское (жирондистское), дантонистское, робеспьеристское и радикальное Бильо-Варенна и Колло д'Эрбуа (504). С точки зрения

Кунова, та противоположность стремлений, которая обнаружилась между столицей и провинциями и сыграла такую роль в борьбе Жиронды и Горы, вытекала из мелко-буржуазного характера Парижа, тогда как крупная торговля и промышленность преобладала в других местах (505—507). Конечно, это — довольно упрощенное объяснение очень сложного явления.

Группу, объединившуюся вокруг Дантона, Кунов помещает „приблизительно в среднее положение между жирондистами и демократическими якобинцами“ (508). После падения Жиронды дантовисты думали, что „революция достигла своих целей, может быть, зашла уже дальше“, и желали создать для республики „по возможности самый широкий фундамент в слоях образованных граждан“, не питая никакой склонности к господству революционной мелкой буржуазии (509). Вся история борьбы между самими революционерами, можно сказать, разыгрывается у Кунова, как по нотам, хотя он и делает предположение, что если бы гильотинированием парижских ультра-революционеров Робеспьер не сломил силы сопротивления радикальных якобинцев, господство мелко-буржуазной демократии во Франции продержалось бы несколько дольше (511), но только несколько дольше, ибо, все равно, их дни были сочтены, так как в других городах Франции усилилась против них оппозиция зажиточных буржуазных элементов и нового крестьянства (512).

Свой анализ партийного состава и людей революции Кунов последовательно проводит до расчленения якобинского большинства парижской Коммуны „по классовым противоречиям“, на более мелкие группы: с одной стороны, „это были зажиточные низы среднего сословия и свободных профессий“, с другой, „беднейшая мелкая буржуазия“, далее „известная часть мелкой буржуазии и рабочих“, находившаяся под влиянием „интересов и воззрений пролетарской интеллигенции“ (512—513)“, при чем автор настаивает на необходимости строго различать обе последние группы. Его не смущает отсутствие здесь писанных программ (512) и малая разборчивость парижского народа, заложившего Шометта и Эбера, как он выражается, в одно дышло (515). Из того, что эти вожди не были единомышленниками, еще не следует, чтобы ими возглавлялись непременно отличные одна от другой группы,

особенно при „малой разборчивости парижского народа“. Да и нужды не было настаивать на существовании двух особых групп, когда, в конце концов, сам же автор говорит: конечно, эти различия проявлялись вовне очень слабо. Противоречия отодвигались назад тою борьбою за существование, которую вело большинство Коммуны. А вот, если бы, гадают автор, у этого большинства „было время и возможность упрочиться“, то противоречия в нем столкнулись бы очень резко (516). К сожалению, Кунов не принимает в расчет личных характеров, темпераментов, убеждений, интересов, тоже ведь влияющих на политическое поведение отдельных деятелей.

Нельзя вообще по идеям вождей судить об идеологии руководимых ими масс. Сам Кунов очень ясно показывает, что мелко-буржуазное демократическое большинство Коммуны не разделяло атеизма своих вождей (516), чем и он объясняет равнодушие мелкой буржуазии к казни Эбера (517). Так и по другим вопросам разные вожди масс часто были выразителями не классовых, а своих собственных взглядов. Последнее противоречит исторической теории Кунова, так как для него история французской революции есть лишь „простой отдел общего хода истории“, являющейся исключительно историей борьбы классов: „только, говорит он, непонимающим этого пестрая смена событий представляется безумной игрой человеческих страстей и грубых насильственных инстинктов“ (521).

Нельзя-же, однако, отрицать, что этого не было в пестрой смене событий, когда сам же Кунов хорошо понимает, как далеко не сразу и не вполне ясно складывается классовое самосознание (522 и сл.). Ему сдается даже, что полной ясности оно достигает только тогда, когда класс „добивается господства и начинает вопреки другим классам осуществлять свои требования на практике“, а главное, автор не считал важным ознакомиться с тем, что отличает партийность времен французской революции от современной, когда существуют выработанные программы, определенные платформы, общепринятые тактические приемы, иерархическая организация местных и центрального комитетов, внутренняя дисциплина, официальные органы прессы и т. п. Даже якобинский клуб не имел всего этого.

Все эти оговорки необходимо иметь в виду, чтобы вполне правильно оценить труд Кунова, являющийся наиболее крупным и серьезным в германской марксистской историографии революции по самостоятельному изучению действительно интересного предмета. Любопытно, что после происшедшего после выхода в свет его книги расслоения в германской социал-демократии сам он занял позицию на крайнем правом фланге последней, среди „социал-патриотов“, как называют их более левые противники. Русский переводчик вполне прав, когда говорит, что в книге Кунова есть материал для критики занятой им самим потом позиции (VII). Высказываемые Куновом в этой книге взгляды гораздо левее его позднейшего политического поведения ¹⁾.

Чтобы дать некоторое понятие о разработке в немецкой историографии отдельных вопросов о французской революции, я в заключение этой главы сделаю еще указания на наиболее важные монографии об этой эпохе. Для изучения старого порядка интерес представляет книга Guglia о консервативных элементах французского общества перед 1789 г. ²⁾, для попыток реформ при Людовике XVI — работа Глогау ³⁾, для кануна революции — исследования Валя ⁴⁾, отличающиеся, впрочем, довольно тенденционным характером в консервативном смысле. Аграрные отношения эпохи были предметом трудов Дармштедтера и особенно Вольтерса ⁵⁾, финансы изучались Иллигом и Де-Вага ⁶⁾, социальное движение — Пегером ⁷⁾. Небольшая книжка известного

¹⁾ В одном месте (стр. 486) переводчик даже указывает, что нечто, считавшееся Куновым в 1912 году „бесконечною наивностью“, потом сделалось правдою по отношению к самому же ему.

²⁾ Guglia. Die konservativen Elemente Frankreichs am Vorabend der Revolution.

³⁾ G. Glogau. Reformversuche und Sturz des Absolutismus in Frankreich (1905).

⁴⁾ Wahl, Adalbert. Die Notabelversammlung von 1787 (1899).— Vorgeschichte der französischen Revolution (1905—1907, два тома).

⁵⁾ P. Darmstädter. Ueber die Vertheilung des Grundeigentums in Frankreich vor 1789 (в сборнике „Festgabe für C. Th. von Heigel“). F. Wolters. Studien über Agrarzustände und Agrarprobleme in Frankreich (1700—1790). Появился этот труд в „Schmollers Forschungen“ за 1905 год (т. XXII) и был переведен по-русски (1923). Очень солидный труд.

⁶⁾ Illig. Das Geldwesen Frankreichs zur Zeit der ersten Revolution (1914).— De Waha. Die Finanzpolitik der Schreckenerrschaft der französischen Revolution (Vierteljahrsschrift für Sozialgeschichte, 1903).

⁷⁾ Eugen Jäger. Die französische Revolution und die soziale Bewegung.

государствоведа Пеллинека о происхождении „Декларации прав“¹⁾, где последняя ставится в зависимость от американских деклараций, вызвала даже некоторую полемику со стороны французов. По якобинизму отмечу старый труд Цинквейзена и более новый—Коха²⁾. Эпоха террора была предметом работ А. Шмидта и И. Эккарта³⁾, а в частности о судьбе Людовика XVI издал книгу Картельери⁴⁾. Есть на немецком языке и монографии об отдельных лицах. Кроме устарелых Пипица и Левица, о Мирабо имеется двухтомный труд Альфреда Штерна, одна из наиболее полных его биографий⁵⁾, а кроме того обращают на себя внимание работы Зельмы Штерн об Анахарсисе Клоотце и О. Бранда о Сьейесе⁶⁾. Есть еще этюд Ригера⁷⁾ об отношении Шиллера к французской революции. Немецким языком нередко пользовались и немцы для своих научных публикаций о французской революции, между прочим, и русские, как И. В. Лучицкий и Е. В. Тарле, о которых речь впереди, или Борис Миндес⁸⁾ и Н. С. Враская⁹⁾, из которых первый написал книжку о распродаже национальных имуществ в одном из департаментов, а вторая—об одном немце Ребмане, примкнувшем к французской революции и игравшем в ней некоторую, хотя и незначительную роль. Делая эти библиографические указания, я, впрочем, не гнался за их полнотой.

¹⁾ Jellinek. Erklärung der Bürgerrechte. Есть русск. пер.

²⁾ Zinkeisen. Der Jakobiner-Klub. Ein Beitrag zur Geschichte der Parteien und der politischen Sitten im Revolutionszeitalter (1852—1853).—G. Koch. Der Jakobinische Staat von 1794 (1904).

³⁾ A. Schmidt. Pariser Zustände während der Revolutionszeit. (Есть фр. пер. 1880—1894)—J. Eckart. Figuren und Ansichten der Pariser Schreckenzeit (1792 bis 1794).

⁴⁾ A. Cartellieri. Flucht, Verhör und Hinrichtung Ludwigs XVI nach der Schilderung eines deutschen Beobachters (1911).

⁵⁾ A. Stern. Mirabeau. Два тома. (Об этой солидной книге я написал статью в „Русск. Мысли“ за 1891 год).

⁶⁾ Selma Stern. A. Cloots, der Redner der Menschheit (1914).—O. Brand. Untersuchungen über Sieyès (Hist. Zeitschrift. 1922).

⁷⁾ C. Rieger. Schillers Verhältnisse zur französischen Revolution (1885).

⁸⁾ Boris Mindes. Die National-Güterveräußerung während der französischen Revolution 1892. Дело идет о департаменте Сены и Уазы, где находится Версаль.

⁹⁾ N. Wrasky. A. G. Rebmann. Leben und Werke eines Publizisten zur Zeit der franz. Revolution (1907).

ГЛАВА XIII.

Бельгийская и итальянская историография.

Известно, что Бельгия, страна французской культуры, была первою соседкою Франции, подвергшейся влиянию французской революции 1789 года. Собственно говоря, брожение здесь началось еще раньше, но, вызванное анти-клерикальной политикой Иосифа II Австрийского, оно имело характер католический и консервативный, и только взрыв революции во Франции поднял и в Бельгии на ноги прогрессивную демократию. В конце 1789 года австрийцы очистили страну; в начале 1790 года организовалась республика Соединенных Бельгийских Штатов, в которой произошла борьба между клерикально-аристократической и демократической партиями, из которых вторая разделяла идеи французской революции. Эта борьба сделала временно возможною австрийскую реставрацию, но осенью 1792 года французская революционная армия отвоевала Бельгию, вошедшую в 1793 году в территориальный состав французского государства, в каком и оставалась до падения Наполеона I в 1814 году. Затем, как известно, Бельгия была включена в образованное тогда же Нидерландское королевство, от которого оторвалась революционным путем вслед за июльским переворотом во Франции в 1830 году, чтоб образовать, не без французской и английской помощи, самостоятельное королевство с весьма либеральной конституцией. Таково было значение для Бельгии обеих французских революций 1789 и 1830 годов. Но, с другой стороны, католическая реакция, начавшаяся в Бельгии во второй половине XVI столетия, превратила ее в очень клерикальную страну, в которой через все время ее существования, как самостоятельного королевства, шла самая упорная и ожесточенная борьба между либерализмом, продолжавшим традиции французской революции, и самым фанатическим католицизмом.

Весьма естественно, что в Бельгии не мог не возникнуть, на чисто национальной почве, большой интерес к французской революции, которая была в то же время и бельгийской. Не даром же знаменитый деятель революции Камилл Демулен,

назвал „Революциями Франции и Брабанта“¹⁾ издававшуюся им газету, начавшую выходить в свет еще в конце ноября 1789 г. Немудрено поэтому, что и в национальной бельгийской историографии изучению эпохи революции отведено подобающее место, поскольку дело касается самой Бельгии. Говоря это, я имею в виду и общую историю Бельгии, и работы, касающиеся конца XVIII века, в роде Borgnet, „Histoire des Belges à la fin du XVIII siècle“ (1869); Delplace, „La Belgique et la révolution française“ (1896); Th. Juste, „La république Belge de 1790“; Delhaise, „La domination française en Belgique“ (1904—1912) и др. Но нас здесь должна интересовать не эта специальная литература: я даже не заговорил бы о бельгийской историографии, если бы в ней не было того, что единственно должно вообще быть предметом нашего рассмотрения, т.-е. некоторого общего труда, посвященного французской революции и написанного бельгийцем. Правда, это — не отдельное произведение, а часть более обширного, 18-ти-томного целого, принадлежащего крупному бельгийскому ученому Лорану,—труда сравнительно мало у нас известного, что должно служить только лишним мотивом для включения его в наш историографический обзор, труда, при том еще, наконец, в высшей степени своеобразного.

Франсуа Лоран.

Автор этого громадного труда, вышедшего в свет в 1860—1870 годах, Франсуа Лоран (Laurent) (1810—1887), был профессором права в Гентском университете, получившим большую известность своими многотомными изданиями: „Principes de droit civil“ в 33 томах и „Droit civil international“ в 8 томах, вышедшими в свет в семидесятых и восьмидесятых годах, после написания указанного исторического труда; но и последний был задуман им в тесной связи с историей международного права.—Лоран был двадцатилетним юношей, когда произошла бельгийская революция, приведшая к превращению страны в самостоятельное государство с либеральной при том конституцией и под особой гарантией известного международ-

¹⁾ Часть Бельгии.

ного трактата, обеспечивавшего его нейтралитет. Это сказалося на общей ориентации юридических штудий Лорана в сторону международного права. С другой стороны, он отличался большим либерализмом, спускавшим ему громадную популярность среди учащейся молодежи. Бельгийские клерикалы потребовали однажды у министерства увольнения Лорана из университета, но тогдашний министр народного просвещения (Деккер), сам верный сын католической церкви, не пошел на такую меру из уважения к принципу свободы преподавания и дорожа таким выдающимся профессором. Клерикалы не любили Лорана особенно за публицистические работы на церковно-политические темы, среди которых, между прочим, были „Письма о иезуитах“ (1865). Собственные религиозные воззрения Лорана можно определить, как запоздалый деизм в духе вольнодумцев XVIII века, несколько подновленный библейской критикой прошлого столетия. В таком направлении были написаны IV и XIII т. его большого исторического труда, первый о христианстве, второй о философии XVIII века, два тома — бывшие у нас запрещенными иностранной цензурой. Лоран был ревностным проповедником свободы совести и научного исследования, равно как отделения церкви от государства. Последний (XVIII) том его „Истории человечества“ носит подзаголовок „Философия истории“, что отводит ему место в литературе историко-философских построений XIX века. Запоздалый деист, как я нашел возможным только-что о нем выразиться, Лоран и тут оказался человеком, отставшим от своего времени. В эпоху, когда метафизическая философия истории Гегеля потеряла кредит и начинал торжествовать Контовский позитивизм, Лоран выступил типическим провиденциалистом, искавшим в истории следов действия божественного промысла¹⁾. Но это искупается у Лорана большою широтою взгляда, гуманностью, свободолюбием, верою в прогресс, в лучшее будущее человечества, в международную солидарность и в господство права в жизни отдельных народов.

¹⁾ Об историко-философских взглядах Лорана много сказано в моих „Основных вопросах философии истории“, а отношение Лорана к французской революции в XVIII томе его исторического труда составляет одну из глав приготовляемой к печати книги „Французская революция в философии истории“. Этим томом Лоран, между прочим, оказал влияние на Сорея.

Все эти биографические черты Лорана необходимо принимать в расчет для понимания и оценки его взгляда на французскую революцию, т.-е. и его интерес к вопросам национальной независимости и международного права, и его свободолобие и свободомыслие, и его борьбу с католическими догматами и с клерикализмом. Следует, конечно, иметь в виду и то, что о французской революции Лоран писал, когда только-что закончены были труды Мишле, Луп Блана, Токвиля и Кинэ, и еще не было ни „Происхождения современной Франции“ Тэна, ни „Европы и французской революции“ Сореля. Отличаясь поразительной начитанностью в источниках, Лоран, однако, довольно мало зависел от других историков, вполне самостоятельно разрабатывая эту эпоху.

Полный титул капитального труда Лорана „История международного права и международных отношений“ на левой стороне заглавного листа каждого из 18-ти томов и „Этюды по истории человечества“¹⁾ на правой стороне. Это второе заглавие более соответствует содержанию труда, вследствие чего весь он обыкновенно и значится под этим названием. Изложение в первом томе начинается с Востока, второй и третий томы посвящены Греции и Риму, четвертый — христианству и т. д... Если при таком масштабе десятилетнему периоду французской революции отведено целых два тома, почти по 600 страниц каждый, то это свидетельствует лишь о том значении, какое Лоран приписывал французской революции в истории человечества. На эти два тома позволительно смотреть, как на совершенно самостоятельное целое, представляющее собою не столько при этом прагматическую и культурную историю революции, сколько рассуждение о революции в одном духе с книгами Токвиля и Кинэ, относящимися тоже к эпохе выхода в свет обоих томов Лорана (1867 и 1868). Первый том заключает в себе ответы на два вопроса: „что такое революция“ и „откуда происходит (procède) революция?“ — ответы, занимающие: один — 222 страницы, другой — 365 страниц. В первом ответе после выяснения „существенных черт (caractères essentiels) революции“ автор останавливается отдельно на правах человека, на свободе и на равенстве, во втором — рассматривает отношение

¹⁾ Histoire du droit des gens et des relations internationales.— Etudes sur l'histoire de l'humanité.

между революцией, с одной стороны, и христианством и философией, с другой, при чем о том и о другом повторяется многое из того, что автором говорилось в предыдущих томах, — обычная манера Лорана. В таком составе содержание первого тома „Французской революции“ Лорана очень напоминает рассуждения Бюшеза и Мишле, столь, однако, противоположные, о взаимных отношениях христианства и революции¹⁾, а еще больше первый том Луи Блана, где дано было большое место и философия²⁾. Из этого видно, что на общем построении труда Лорана совсем не сказалось влияние Токвиля с его политико-административной и социально-классовой точками зрения. Бельгийский историк подошел к революции исключительно идеологически с противоположением, при том, революции христианству.

Второй том „Французской революции“ Лорана особенно соответствует такому подходу. В нем две части: одна — о „религии и церкви до революции“, другая — о том же во время революции, как будто весь старый порядок заключался в „откровенной религии“ или в „христианской нетерпимости“ (противопологаемой, кстати сказать, „философской терпимости“), и все значение революции состояло в определении отношений между церковью и государством и в том религиозном движении эпохи, которое выразилось в демократизации церковного устоя (l'église constitutionnelle) и в новых религиях, каковы естественная религия Вольнея, Бланшара и Бонвиля (Bonnevillle), культ „Être Suprême“, декадарная религия и религия теофилантропов. Таким образом, у Лорана очень своеобразная и, конечно, очень не только специальная, но и прямо односторонняя точка зрения, не соответствующая общему широкому захвату его „Études sur l'histoire de l'humanité“. На первом плане везде Лоран, как антиклерикал-деист, полемизирующий с историческим христианством вообще и особенно с католицизмом, враг суеверий и нетерпимости, друг свободы совести и мысли, оставляющий совершенно в стороне политическую и социальную историю эпохи. Бельгийская борьба либерализма с клерикализмом слишком ярко отразилась на общем отношении Лорана к французской революции. За более, нежели полвека, период, отделяющий нас

¹⁾ Историки французской революции, т. I, стр. 203 и сл., 149 и след.

²⁾ Там же, т. I, 236 и сл.

от появления в свет рассматриваемого труда, изучение религиозной стороны французской революции сильно подвинулось вперед¹⁾, а потому XIII и XIV томы теперь устарели, хотя каждому интересующемуся этим предметом нельзя не рекомендовать знакомство с этими двумя томами.

Что же такое французская революция в глазах Лорана? „Скоро, говорит он на первой же странице, — скоро исполнится целый век с тех пор, как напуганная Европа ставит себе этот вопрос, а ответы на него все еще остаются противоречивыми в соответствии со страстями и предрассудками людей. Но так всегда бывает, продолжает он, со всеми великими движениями, открывающими перед человечеством новую веру“. Лоран ссылается здесь на разное понимание христианства верующими и свободными мыслителями, а среди верующих католиками и протестантами и спрашивает: „следует ли удивляться после этого, если революция 1789 г. все еще составляет проблему?“ Перевернув все общество до самых его оснований, она не только напала на старые идеи, но и глубоко задела интересы, а „интересы же, прибавляет Лоран, не прощают. Отсюда нескончаемая вражда, какую сторонники прошлого преследуют революцию (I, 7). Самыми ожесточенными в своем в ней отвращении являются „церковники“ (*gens de l'église*), и вот автор сразу же вступает в полемику с клерикальными писателями в Бельгии и во Франции (I, 8 и сл.), называя их взгляды „невероятными глупостями“. Лоран не оставил без внимания и приводившийся нами в начале этого труда взгляд Жозефа де-Местра на сатанинский характер революции²⁾. С этим писателем Лоран, впрочем, согласен в том, что революция была providенциальным орудием в деле возрождения человечества. Ему только кажется забавным, что у Жозефа де-Местра „Сатана возрождает мир, по крайней мере, как божий слуга. Странного же помощника выбрало себе божество, пронизывает наш автор. Не является ли здесь Сатана случайно божественным духом?“ Бог в общей философии истории Лорана направляет судьбы человечества, и без всякого дьявола революция принимается им за один из моментов этого непосредственного водительства свыше (т. I, 13).

¹⁾ Там же, т. II, 616, 169, 291.

²⁾ Там же, т. I, 33.

Людам прошлого Лоран противопоставляет людей будущего, которые относились к французской революции с энтузиазмом. Сам Лоран, писавший во время второй империи, говорит: „кто осмелится бы отчаиваться в будущем нации, которая совершила революцию 1789 года? Народы, продолжает он, не блещут благодарностью. В массах еще более, чем в отдельных людях, есть нечто, заставляющее забывать очень скоро оказанное им благодеяние. Теперь вошло в Европе в моду принижать Францию и французскую революцию. Мы спросим людей, слишком склонных проклинать, как и тех, которые склонны отчаиваться, чем были бы Германия, Италия, Бельгия, если бы революции не привела в движение мир и если бы она была задушена гражданской войной, орудием священников, и внешней войной, делом аристократии в союзе с королевской властью... Чем были бы мы (бельгийцы) без героического восстания 1789 года? Чем были бы мы, если бы французская раса не имела этой ярости (*fièvre*), которая заставила ее броситься на Европу? Мы были бы только тем, чем были до 89 г., рабами священников, т.-е. самыми презренными из рабов“. Далее Лоран обрушивается с негодованием на современную ему реакцию, „принижающую и искажающую умы“. Он несогласен с теми, которые „хотели бы сделать из революции, перевернувшей всю Европу и далеко еще не кончившейся, простое историческое происшествие. Спросите историков, даже самых лучших, о причинах и характерных чертах восстания 89 г. (т. I, 17): они вам расскажут, что это было событие, произведшее немного добра и много зла; его происхождение они находят в мелких фактах и в финансовых затруднениях, в промахах власти, в интригах нескольких людей. Можно было бы сказать, что это — пигмеи, занятые рассечением гиганта. Другие, ослепленные религиозными предрассудками, отказываются видеть умственную и нравственную, равно как и политическую революцию в революции, которую считают делом философов“ и т. д. Но особенно огорчает Лорана другая реакция против революции 1789 г. — „реакция отчаяния“, несправедливая, но все-таки, пожалуй, понятная при тех обстоятельствах, которые пережились Францией с начала 50-х годов (I, 18). Не нужно, говорит он, отчаиваться: зло имеет только временное значение.

Таково было настроение, в каком находился Лоран, этот типичный либерал, чувствовавший связь либерализма с принципами 1789 года. Человек, воодушевлявшийся в своей философии истории идеей прогресса, он прославлял вообще веру в прогресс, присущую философии XVIII века и людям революции 1789 г. „Золотой век, было сказано в самый разгар революции,—золотой век не позади нас; он впереди нас“. Лоран приводит ряд свидетельств, указывающих на то, что современники революции видели в ней наступление новой эры (I, 20 и сл.). Особенно подчеркивает Лоран ту мысль, что революции было суждено „охватить всего человека“, не только социальную и политическую жизнь, но и жизнь души, религию (стр. 24). Автор посвящает целый параграф (24—31) доказательству религиозного характера революции, полемизируя, между прочим, с Токвилем, видевшим в борьбе революции с религией „хотя и выдающуюся черту революции, но временную и скоропроходящую“¹⁾, вызванную больше политической неприязнью к привилегиям духовенства, нежели враждой к самой религии. В этом месте Лоран, пожалуй, и прав в оценке этого взгляда Токвиля, хотя ведь и Токвиль доказывал, что революция действовала на умы совершенно так же, как действовали в свое время универсальные религии.

С той более общей точки зрения, с какой мы рассматриваем в настоящем труде суждения историков о французской революции, более заслуживает взгляд Лорана на ее политический характер. Касаясь этого вопроса, он, подобно Токвилю и Кляне, писавшим в эпоху второй империи, указывал на то, что Франция, несмотря на все свои революции, находится под властью „легального деспотизма, хотя бы и провозглашая себя суверенной“²⁾. „Какое гигантское разочарование! восклицает он. В виду этого огорчительного зрелища люди прошлого заявляют, что свобода — химера, равенство — химера, и что все спасение человечества только в полном возвращении к католицизму, к церкви, к королевскому абсолютизму, достойному ее союзнику. Откуда эта реакция, в которой мы еще живем?.. Даже те люди, которые остаются верными

¹⁾ Истории французской революции, т. II, стр. 21—23.

²⁾ Там же.

своим убеждениям и верованиям, одеваются в рубище и посыпают голову пеплом, посят траур по свободе, ускользавшей от них, как прекрасное сновидение, каждый раз, когда они мнили себя уже в ее обладании. Маловеры! Вы не знаете, что только страданиями и скорбью осуществляется прогресс“ (31). Сам Лоран верил, однако, в силу идей. Раз идеи 89 и 93 годов верны, им принадлежит будущее, и думать иначе значит отрицать божественное провидение (32). Нет, в идеях революции—истина, но она была „затемнена расой и цивилизацией“, т.-е. национальными свойствами и культурной традицией. Лоран призывает к деятельности, которая осуществила бы истину этих идей, ибо „наша судьба в наших руках, это мы ее создаем“ (33). Все написано в Декларации прав 1789 года, которую он подробно комментирует и оценивает, снимая с нее те обвинения, какие делали именно ее ответственной „за преступления террора, государственные перевороты директории и деспотизм империи“ (35). Здесь не место излагать более теоретические, нежели исторические суждения Лорана по вопросам о свободе и суверенитете, об общественном благе и правах человека, о государственных переворотах, о правовом и фактическом равенстве и т. д. Тут историк-публицист выступает ярким индивидуалистом и приходит к тому выводу, общему с выводами Токвиля и Кинэ¹⁾, что во Франции „равенство взяло вверх над свободой“, как у него озаглавлен целый большой параграф (189 и сл.). Но, спрашивает он, полемизируя с людьми, упрекавшими поколение 1789 г.,—но „где они могли бы приобрести опыт свободы? Разве в грязи режима Людовика XV? „То, что называют их иллюзиями, наоборот, составляет их бессмертную славу“. „Придет день, предсказывает Лоран, когда свобода и равенство не будут более иллюзиями: тогда люди, сделавшись свободными и оставаясь при этом равными, создадут культ удивления и почитания героям 1789 года, имевшим дерзновение стремиться к порядку, в котором свобода подавала бы руку равенству“ (192). Из этих слов Лорана можно видеть, с каким восторгом он относится к идеям и к людям 1789 года; в этом отношении он ближе стоит к Мишле, чем к Токвилю, хотя и принимает об'яснение последнего, что в 1789 году равенство

¹⁾ Истории французской революции, т. II, 20 и 38.

во Франции „было много старше свободы и имело более глубокие корни в духе нации, нежели свобода“.

Я не буду долго останавливаться на второй части первого тома „Французской революции“ Лорана, так как это не что иное, как история только идейной подготовки революции, при чем, как мы видели выше, здесь автор сопоставляет революцию, с одной стороны, с христианством, а с другой—с философией XVIII века. Между прочим, рассматривая отношение идей 1789 года к первому, он критикует (245 и сл.) основную мысль Бюшеза о происхождении этих принципов из Евангелия¹⁾ и даже не сходится вполне с Мишле, противопоставившим, как известно²⁾, революцию христианству. Лоран находит, что „сам Мишле не освободился вполне от ига парадокса, угрожающего сделаться аксиомой, благодаря французскому легкомыслию“. Парадокс этот заключается в признании того, что „христианство и революция сходятся в чувстве человеческого братства“. Лоран с этим не согласен, потому что традиционное христианство проповедовало не человеческое братство, а только братство верующих (251), братство же в философии XVIII века и в революции „ничего общего не имеет с верой, видя братьев везде, где есть люди“ (252), т.-е. Лоран еще более отмежевывает революцию от христианства, нежели Мишле, более их друг другу противопоставляет. В столкновениях между революцией и католической церковью он везде берет сторону первой.

Что касается до подготовки революции философией, то Лоран в последней различает две школы. Он не думает освободить философов XVIII века от всякой ответственности за ошибки революции. В революции была двоякая тенденция, чему в философии соответствовали две школы (482). Одна требовала свободы, разумев под нею права человека, требуя же вместе с этим верховенство народа, она видела в нем лишь политическую гарантию в интересах тем большей свободы личности. Другая школа тоже писала на своем знамени свободу, но для этой школы свобода заключалась в верховенстве, при чем свобода смешивалась с равенством, и для приобретения последнего философия не отступала от пожертвований индивидуальными правами в пользу нации или госу-

¹⁾ История французской революции, т. I, 203 и сл.

²⁾ Там же, 150.

дарства. Конечно, во главе первой школы он ставит Монтескье и Вольтера, вторую ведет от Руссо к Мабли. Для него не подлежит сомнению, что лишь первая была „благоотворной, тогда как другая почти фатально приводила к деспотизму“. Поэтому он и делает тот общий вывод, что в „философии был гибельный зародыш, без ведома самих свободных мыслителей увлекший революцию в пропасть, в которой она погибла“, хотя и в другой школе для Лорана были тоже ложные идеи, толкавшие революцию на ошибочные пути, вроде призыва Вольтером монархов к делу необходимых преобразований (483). Порицает Лоран и экономистов за их нелюбовь к политической свободе (485). Он различает между истинной свободой и свободой ложной, возводя последнюю, в эпоху революции, к подражанию древним (495 и сл.). То, что погубило республики Греции, Рима и средневековой Италии, погубило и французскую революцию, только подготовившую новых цезарей (507). Страницы, посвященные Руссо (558—579), относятся к числу наиболее интересных. Отдавая должное многому в его доктрине, Лоран находит в ней и такие стороны, которые, по его мнению, делают ее „столь же опасной, как ложной“ (565). Идею общественного договора он не отвергает, но решительно высказывается против того условия этого договора, в силу которого происходит полное отчуждение каждым всех его прав в пользу общественного целого (566). К числу таких же недостатков доктрины Руссо он относит и признание непогрешимости суверенного народа (571). Учение Руссо, не бывшего, однако, по словам Лорана ни социалистом, ни коммунистом, о собственности так же не могло удовлетворять такого индивидуалиста, каким был либеральный бельгийский юрист и историк (577 и сл.). Мабли является для Лорана дублетом Руссо, усугубляющим его недостатки, но без его достоинств (579).

Интересны в первом томе „Французской революции“ и страницы, посвященные нарастающему во Франции республиканским чувствам (578 и сл.). Последние строки этого первого тома дают нам понятие об общем взгляде Лорана на революцию. Говоря о свободе и равенстве, он вообще часто затрагивал и в фактических отношениях дореволюционной Франции то, что противоречило обоим, т.-е. королевский абсолютизм и аристократические привилегии. С ними, при

защите монархом своей власти, а дворянством своих прав, не было возможным никакое соглашение. „Прибавим, продолжает автор, что не от бури можно ожидать возрождения. Ее делом было прежде всего дело разрушения. Она разрушает, очищая воздух, это условие жизни. Развалины покрывают Европу. Вновь строить предоставлено народам. Дабы быть достойным этой высокой миссии, они должны просвещаться. Дело истории — отерывать им причины их блужданий. Книга, посвященная нами Революции, не имеет другого предмета. Нам остается рассмотреть другое лицо великого движения 1789 года, элемент религиозный, которым слишком пренебрегали историки. Революция отрубила голову королю, и она наложила тяжелую руку на церковь и на религию. Значит ли это, что христианство умерло? Нет, оно преобразуется, и эта его трансформация есть условие будущности для общества, ибо не может быть политического обновления без обновления морального, а новая моральная жизнь возможна лишь под влиянием религии“ (597). Я думаю, что сказанного о первом томе труда Лорана достаточно для его характеристики, как труда чисто идеологического по своему подходу к событию, в котором играли роль — и роль очень большую, часто определяющую, — причины специфически политические, социальные, экономические. Никто из историков французской революции не проводил в своем труде так настойчиво и так односторонне мысль о том, что идеи движут и направляют историю, что ими порождаются все без исключения события в жизни народов.

Во втором томе продолжается то же самое. Лоран, в первой части этого тома, даже очень далеко отходит от главной темы, когда говорит о религии и церкви до революции, поднимает вопрос о пророчествах и чудесах откровенной религии, о самой этой богооткровенности, о нетерпимости церкви, противопоставляя последней терпимость и свободомыслие философии. На 370 страницах этой первой части второго тома нет ни одного места, которое заслуживало бы хоть сколько-нибудь рассмотрения в нашем обзоре историков французской революции. Наоборот, нельзя оставить без рассмотрения вторую часть тома, где говорится о религии и церкви во время революции.

И в ней, как и в первой, Лоран не интересуется духовенство, как первое из привилегированных сословий с его

земельными и пными богатствами, поборами с населения и т. п., но зато здесь он все-таки рассматривает слагавшиеся в эпоху революции отношения между церковью и государством, но более всего обращает внимание на провозглашенную революцией религиозную свободу. „Новая эра, открытая революцией, говорит он, имеет настолько же религиозное, как и политическое значение. Если понятия, касающиеся прав человека и назначения и обязанностей государства, совершенно изменились, было ли возможным, чтобы религиозные идеи остались теми же самыми? Есть бросающийся в глаза факт, доказывающий противное, это — свобода совести, вписанная в нашу конституцию, при том более уже не в форме терпимости, но как одно из этих прирожденных человеку прав, которых государство не может его лишить, которые, наоборот, оно должно обеспечить“ (II, 37). Рассказывая о прениях в Учредительном Собрании по вопросу о свободе совести, Лоран особенно нападает на то, что даже либеральный католицизм 1789 г. не был способен подняться до идеи хотя бы самой даже ограниченной терпимости (II, 380). Везде на этих страницах он выступает полемистом против католицизма, резким критиком поведения французского духовенства с самого же начала революции, пользуясь этим, чтобы изложить свои задушевные мысли о свободе совести, о гражданском и политическом равноправии вероисповеданий, о нормальных отношениях между церковью и государством и со своей точки зрения оценить все, что говорилось в Национальном Собрании по этим вопросам. Лоран много подробнее, чем кто-либо из его предшественников по изучению французской революции, рассказывает здесь, как решались в законодательных собраниях революции отдельные церковно-политические вопросы. В параграфе, озаглавленном „Революция и религия“, он показывает, как ненависть к католицизму, проявившаяся еще в философии XVIII века, все более и более овладевала обществом. Пусть, соглашается Лоран, низшие его слои, особенно в деревнях, были католическими, но ведь революция вышла не из общественных низов, и пусть неверие проявилось даже в духовенство, но оно заразило лишь кое-какие его верхи. Что касается до светского образованного общества, до аристократии и буржуазии, то здесь все более и более накоплялось раздражение против духовенства и против самого

католицизма (II, 406 и сл.). Еще дворянство по политическим причинам вступало в союз с духовенством, но третье сословие все более озлоблялось по мере того, как духовенство все чаще и резче проявляло свое контр-революционное настроение. Дело идет не об одном только высшем духовенстве, бросившемся за дворянством в эмиграцию, но главным образом о низшем, „фанатическом по своему воспитанию и подстрекавшемся епископами“ (411). Лоран обстоятельно рассказывает, как деятели революции громили контр-революционное духовенство, ища причин такого его настроения в корыстолюбии (*cupidité*), в недовольстве секуляризацией церковных имуществ (412 и сл.). „Мы, прибавляет Лоран, нарочно восстановили истину относительно чувств духовенства к революции, чтобы была понятна ненависть к церкви и католицизму, вспыхнувшая во время Законодательного Собрания и только усилившаяся при Конвенте. Так как духовенство — смертельный враг революции, то пусть оно погибнет. Таков был крик всех свободных людей, какими только обладала тогдашняя Франция“ (417). Историк, как сам он выражается, „переписывает все инвективы революционеров против католицизма, потому что они заключают в себе самое важное из наставлений (*enseignements*), урок, обращенный к церкви и к нам, людям XIX века“ (418 и сл.). „Под тысячью форм“, говорит он, еще излагая революционные инвективы, пред‘является „одно и то же обвинение: христианство разрушает независимость нации и убивает свободу мысли“, к чему, однако, автор считает нужным прибавить, что речь идет о „римском христианстве“ (421). Переходя от Законодательного Собрания к Конвенту, он отмечает, что в этом последнем, как представительстве наиболее „пылкой части нации“, должны были „разразиться страсти XVIII века. Если, читаем мы далее, верить историкам, эксцессы 93 г. были делом нескольких человек. Совсем нет. Ненависть к католицизму была всеобщей“ (424). Дело не в Эбере, вызывающем, кстати сказать, в Лоране одно только отвращение, с каким, думает он, отнеслись бы к этому человеку Эпикур и его последователи XVIII века Дидро, Гельвеций, Гольбах, а дело в целом ряде средних людей эпохи. „Было бы, прибавляет еще он, неправильным говорить, что в оргиях 93 года господствовали неверие (*irréligion*) и атеизм. У этих людей, которые всходили на эшафот

с пением марсельезы, была вера, но не та, конечно, что у монахов. Если под неверием понимать отречение (*herediation*) от христианства, не было эпохи более неверующей. Ненужно также считаться с откровенною смелостью членов Конвента: они не маскировали свои мысли из-за страха перед католицизмом, они ничего не боялись, хотя суеверие имело достаточно влияния, чтобы зажечь вандейскую войну. Новые титаны, они бравировали небо и ад" (425). В книге отведено не малое количество страниц выпискам из тогдашних памфлетов: „можно было думать, резюмирует Лоран их смысл, что пробил последний час католицизма, а в ту минуту, когда мы пишем, мы находимся в периоде католической реакции“ (425).

Лоран останавливается и на „католических маскарадах, представляющихся Конвенту“, которые он квалифицирует, как *des scènes burlesques*. Вдохновителем их для него был Вольтер, и происходили эти „религиозные маскарады“ и в иных местах, кроме Конвента. „Есть, однако, прибавляет он, к чести Конвента та разница, что он разрушал суеверие, тогда как священники его эксплуатировали“. И за этими словами следует описание ряда антирелигиозных демонстраций 1793 г. (435 и сл.). Дело и здесь не обходится без полемических выходов. Лоран напоминает, например, католическому духовенству: а кто в свое время, в эпоху падения язычества, совершал такие же святотатства, как не христианское духовенство? Вообще автор является перед нами не спокойным историком, а публицистом, очень страстно становящимся на одну сторону против другой. Сказывается при этом и его собственное действительное направление. „Реакция, говорит он, хотела бы опорочить движение 93 года, смешивая его с атеизмом, но, возражает он на такую мысль, едва ли можно приписывать ему такую крайность неверия“ (*ces excès de l'incrédulité*, 441). Да и в действительности так было, причем Лоран приводит факты крайнего раздражения против священства и церкви, даже и у людей, сохранивших католические чувства. Это настроение перешло в самый террор. После переворота 9 термидора в Конвенте происходила яростная борьба, но на почве религии все партии были согласны. Так единодушно было, например, встречено предложение Камбона, чтоб республика не оплачивала

издержек никакого культа. Даже те, кого Лоран называет наиболее умеренными, говорили: „пусть у каждого будет свой фетиш, но больше не должно быть публичных церемоний, ни религиозных сборищ“ (443), и в этом же роде приводятся далее и другие заявления таких „умеренных“. Этот враждебный дух продолжал существовать и при Директории, когда шла борьба между революционными стремлениями правительства и реакцией, возникшей в недрах общества с целью восстановления трона и алтаря: „все, кому была дорога свобода, продолжали смертельную борьбу с христианством“ (446 и сл.). Лоран везде выражает сочувствие этой борьбе, притом и чаще и полнее, и резче, чем полувеком позже проявлял то-же настроение Жорес¹⁾. „Если бы, читаем мы в одном месте, мы должны были навлечь на себя проклятие всех священников в мире (de tout ce qui s'appelle prêtre), мы скажем с Сильвенем Марешалем, что придет день, когда люди с трудом будут понимать невежественное легкоеверие своих предков. Царству невежества наступит конец. Солнце истины рассеет потемки заблуждения“ (448).

Чтобы узнать, как Лоран относился к революционному законодательству, касавшемуся церкви, нужно искать этого не в главе „Церковь и государство“, во втором томе, занимающей без малого сотню страниц (371—463), а вернуться к первому тому, где, хотя и коротко, автор высказывается о гражданском устройстве духовенства, в котором Учредительное Собрание дало свою организацию католической церкви, отвергнутую потом большею частью духовенства. Конституционную церковь, учрежденную Учредительным Собранием и принятую значительною частью низшего духовенства, Лоран готов рассматривать, как возвращение к первобытному христианству (1, 242), отмечая, что основа нового церковного строя была не римской, а евангельской (1, 242). Он не согласен с тем довольно распространенным мнением, что гражданское устройство духовенства поставило перед его членами дилемму: либо апостасия, либо изгнание (1, 422). Эмигрировали епископы, по его мнению, совсем не из-за этого, — что конечно, верно, — но едва-ли автор прав, утверждая, что религиозные мотивы непринятия этого устройства

¹⁾ Истории французской революции, т. II, стр., 243, 273 и сл.

и большинством низшего духовенства были тут не причем, т.-е. что их совсем не было. По его толкованию, новый церковный строй не задевал догматов, а касался только дисциплины, возвращавшейся к первобытному христианству (1, 45), но духовенство думало иначе, воспитанное на принципах папского канонического права, входивших в состав католической догматики, что и давало основание неприсяжным священникам говорить о насилии над их совестью. Для Лорана это был только „счастливый предлог“, а остальное сделали подстрекательства епископата. Конечно, высшее духовенство, бывшее в массе сначала настроенным демократически и революционно, оказало сопротивление новому церковному строю не из-за обиды, нанесенной сословным привилегиям и земельным имуществам высшего клира. Вообще Лоран не останавливается на содержании этого закона и декрета о присяге конституции, и только вопрос об отделении церкви от государства останавливает на себе его внимание, но уже во втором томе. То, что Лоран называет отделением церкви от государства или их разлучением (*séparation*), декретированном Конвентом (II, 449), он характеризует следующими словами: „Конвент вовсе не собирался возрождать христианство, когда вел смертельную войну против христианской религии. Столь же мало он собирался дать религии и разным церквям свободу, которая должна принадлежать религиозным ассоциациям. Во все не желая освободить религию, он стремился лишить их покровительства, которыми они пользовались; он рассчитывал, даря им свободу, нанести им смертельный удар. Его целью было обеспечить за свободным разумом все способы нападения на христианство, лишая христианские церкви, в особенности католицизм, средства защиты. Одним словом, отделение было для Конвента орудием разрушения“ (451). Многочисленными ссылками на делавшиеся в ту эпоху заявления и признания, Лоран доказывает, что тогдашние деятели желали более всего „обезоружить опасного врага и содействовать истреблению источника фанатизма, распространяя религиозный индифферентизм“ (453). Лучшее средство для этого Конвент видел в образовании, в распространении здоровой философии (458 и сл.). Очень подробно, подробнее чем кто-либо раньше, останавливается Лоран на новом положении, в каком церковь очутилась после

отделения от государства. „Законодательство III года, говорит он, кажется нам теперь притеснительным и тираническим, потому что мы имеем ложное понятие о свободе. Личность свободна, но раз личности соединяются в религиозное общество, образуют церковь, у государства есть интерес и право вмешаться... Католицизм сделался везде ультрамонтанским и, значит, везде, является несовместимым с верховенством нации. Неужели тем не менее оставить ему полную свободу разрушать государство, чтобы занять его место?“ (460). Все меры Конвента относительно католической церкви нашли в Лоране защитника (463).

Последняя сотня страниц II тома „Французской революции“ Лорана посвящена собственно религиозному движению эпохи, в котором автор различает демократизацию христианства, проявившуюся в гражданском устройстве духовенства, и совершенно новые религии. Конституционная церковь, по его мнению, была бессильна возвратиться к христианской морали и дисциплине в их первоначальной чистоте (стр. 473). В сущности, однако, конституционная церковь была не чем иным, как новой формой прежнего галлицизма, тогда как неприсяжные священники бросились в объятия ультрамонтанства (475). Это—все-таки католицизм, хотя и менее ненавистный, чем последнее.

Под общим названием новых религий революционной эпохи Лоран рассматривает два главных направления: естественную религию некоторых тогдашних писателей (Вольней, Бланшара, Бювиля) и гражданскую религию в трех ее проявлениях. На первом месте ставится у него культ Верховного Существа, на втором—декадарская религия, на третьем—теофилантропы. Естественная религия есть философская вера, чисто индивидуальная, о которой здесь мы можем и не говорить, поскольку она не имеет общественного значения, но совсем другое дело—религия гражданская в духе Руссо, ревностным последователем которого был Робеспьер. Достигши власти, Робеспьер настоял на признании Конвентом бога и на устройстве в его честь торжественного праздника, что „было, как выражается Лоран, религиозным предприятием, далеко не соответствовавшим стремлениям людей 93 года“. Он думает, что это было не делом теории, не вопросом философской доктрины, а мерою, продиктованною обстоятельствами. „Реакция против сует-

верий прошлого привела к праздникам богини разума, настоящим оргиям неверия (*incrédulité*) и атеизма. Неверие (*irréligion*) в безнравственность и эта безнравственность не была умозрительной, как у некоторых эксцентричных искаателей XVIII века, а безнравственность плоти и крови, осквернявшая храмы, превращенные в места разгула, безнравственность с оказательством на улицах, где происходили торжественные процессии с куртизанками в роли богинь разума... Если бы это вошло в нравы, это было бы гибелью республики, гибелью Франции". Очень многих это скандализовало, и тогда-то выступил на сцену Робеспьер (499 — 500), говоривший, как государственный человек (501). Сочувствие Лорана к Робеспьеру по этому поводу высказывается на целом десятке страниц. По его словам, Робеспьер „сделал важный шаг вперед: он ввел прогресс в область морали и сделал из морали религию. Прогрессивная религия, вот последнее слово философии, как она была истолкована Конвентом“ (510), и это есть, прибавляет Лоран, верование XIX века. Он только против того, что такая религия была декретирована: „никогда не будет гражданских религий. Ошибка коренилась во взгляде Руссо на государство и его всемогущество“, причем „комитет общественного спасения был в некотором роде воплощением суверена в понимании Руссо“ (511).

Лоран при этом не думает, что гражданская религия была только личным предприятием Робеспьера. После его падения „гражданская религия оставалась идеалом настоящих республиканцев до того момента, когда Наполеон положил конец республике и попыткам ввести новую религию (511)". Табую попытку представляла собою еще декадарная религия, связанная с республиканским календарем, который заменил семидневные недели десятидневными, или декадами, с перенесением дня отдыха с воскресенья на „декаду“, т.-е. десятый день. История подробно останавливается на попытке отменить воскресенье, празднование которого казалось революционерам величайшим преступлением и оскорблением республики (514 — 516), в чем заключалось только одно из проявлений антихристианского движения революции. Стремление Директории фактически перенести день отдыха на декаду объясняется желанием постепенно вытеснить воскресенье из общественных обычаев Франции (517), заменить старый

культ новым, к чему Лоран опять относится сочувственно (518 и сл.), хотя и не без оговорок. Попытка окончилась неудачей. Почему? спрашивает Лоран и дает ответ на этот вопрос в параграфе о теофилантропах, новой религиозной философской секте, которая оказалась в некотором смысле фанатичной не менее католицизма. „Их фанатическая любовь к свободе говорит он, разделялась только слабым меньшинством: Франция не была республиканской. При директории нужны были государственные перевороты для поддержания республиканцев, находившихся у власти, в ожидании того, как новый государственный переворот восстановит власть государя, а вслед за тем и католицизм. Вопреки всем усилиям правительства гражданская религия уходила также, как и республика (526)“. Теофилантропия была попыткой спасти положение, но уже не путем декретов, да и сама по себе это была религия более интимная, нежели официальные попытки Конвента (528). Анализ и критика теофилантропии, которые мы находим далее в книге Лорана (526—542), впрочем, более нужны для выяснения собственных воззрений автора в религиозной области, нежели для понимания его отношения к революции.

В заключительной главе своего труда о французской революции Лоран говорит о католической реакции и о конкордате с папой. Это—ряд его размышлений об антихристианской политике революции, которая сама и вызвала эксцессами своими католическую реакцию (543 и сл.). Некоторые утверждали, что революция даже спасла католицизм, находившийся перед нею в упадке. Лоран не разделяет такого мнения (546). Но зато революция содействовала замене во Франции галликанизма ультрамонтанством (547). Это было прямым результатом насильственности в революционной политике, говорит автор. Наполеоновский конкордат, восстановивший ортодоксальный католицизм, подвергся у Лорана, конечно, острой критике (548 и сл.).

„Кто же победитель?“ спрашивает Лоран в последнем параграфе II тома. „Это—католицизм, говорят католики, и нужно быть слепым, чтобы это отрицать“, заявляет автор в первых же строках параграфа (565). Но пусть католики не торжествуют: „французская революция есть только начало новой эры, первая схватка в решительной борьбе прошедшего и

будущего; прежде чем провозглашать победу, нужно подождать конца битвы" (566). Истинным победителем для Лорана является, в конце концов, свободная мысль, которая проникает в само христианство, что доказывается существованием разных протестантских сект. „Нужно, заключает Лоран, чтобы и католицизм прошел по тому же пути реформации“ (570). Эта мысль характерна для всего труда Лорана о революции, которая рассматривается у него чуть не исключительно с точки зрения ее антикатолического духа. Либеральный ученый в клерикальной Бельгии,— вот что такое Лоран в своей „Французской революции“¹⁾.

В Италии не нашлось даже одного более или менее крупного историка французской революции. Хотя Италия конца XVIII века была очень затронута французской революцией, в итальянской исторической литературе нет ни одного общего о ней труда, который стоило бы здесь отметить. Итальянские историки интересовались в своих работах только значением революции для их отечества, в котором французы создали, как известно, ряд республик: Лигурийскую, Цизальпинскую, Римскую и Партенопейскую, правда, эфемерных, но сильно изменивших весь прежний политический строй, тем более, что при Наполеоне часть Италии была присоединена к самой Франции, другая образовала Итальянское королевство, где государем был сам Наполеон, а в третьей царствовали сначала его брат, потом зять. Вот об этом-то значении французской революции для Италии и есть своя литература на итальянском языке. Общий очерк этих отношений имеется в анонимной книге „Итальянская жизнь во время французской революции и империи“²⁾. Судьбы Сардинского королевства за данное время рассмотрены в работах Карутти и Лумброзо³⁾. Неаполитанская революция рассматривается в книгах Кроче, Лемми и Сарра⁴⁾. Одно-

¹⁾ В XVIII томе „Etudes sur l'histoire de l'humanité“, о котором речь будет в другой книге (см. выше, стр. 102), Лоран больше останавливается на той стороне революции, которая была предметом труда Сореля, писавшего отчасти под влиянием идей этого тома.

²⁾ La vita italiana durante la rivoluzione francese e l'impero (1900).

³⁾ D. Carutti. Storia della corte di Savoia durante la rivoluzione (1892). Lumbroso. La rivoluzione francese in Sardegna (1901).

⁴⁾ B. Croce. La rivoluzione napoletana del 1799 (1899).—Lemmi. Relazioni dei patrioti napoletani col Direttorio e col Consolato (1902). R. Sarra. La rivoluzione repubblicana del 1799 in Basilicata (1901). Basilicata—область в бывшем Неаполитанском королевстве.

временно с образованием четырех республик, из которых одна была старой (Генуэзская) и только из аристократической преобразована в демократическую с переменою имени (Лигурийская республика), произошло полное уничтожение другой, тоже старой и тоже аристократической республики — Венецианской, о чем есть специальный труд Дандоло ¹⁾. Привожу эти названия в виде примеров, не думая давать полного списка всей, хотя и небогатой литературы по истории франко-итальянских отношений в конце XVIII века.

ГЛАВА XIV.

Английские историки.

Английская историография далеко не так богата историческими трудами о французской революции, как немецкая, вследствие чего и приходится о ней говорить гораздо меньше. После той публицистической полемики, которую вызвала в Англии французская революция в последнем десятилетии XVIII века ²⁾, ничего сколько-нибудь замечательного в Англии по истории французской революции не появилось, да и позже общие труды об этой эпохе в ней были редки. Только после первой парламентской реформы, в 1833—1842 годах, был издан большой труд Арчибальда Алисона по истории Европы от начала французской революции до реставрации Бурбонов ³⁾, снискавший его автору большое сочувствие консерваторов не в одной Англии. Алисон, видный эдинбургский адвокат, был самым правоверным торием и относился весьма враждебно к французской революции, бывшей началом всех порицавшихся им в печати демократических реформ. На его труд можно смотреть, как на одно из наиболее ярких выражений духа реакции против французской революции в английском обществе еще со времени Бёрка.

¹⁾ Dandolo, La Caduta della repubblica di Venezia (1885).

²⁾ Историки фр. рев., т. I, стр. 45 и сл.

³⁾ A. Alison, History of Europe from the commencement of the french revolution to restoration of the Bourbons. Позднее он довел этот труд (под новым заглавием) до восстановления империи во Франции.

Томас Карлейль

Одновременно с забытым в настоящее время Алисоном о французской революции написал книгу Томас Карлейль (Carlyle), один из своеобразнейших английских авторов XIX века, „French Revolution“ которого и теперь еще переиздается и в подлиннике, и в переводах на иностранные языки и читается очень многими, что заставляет нас здесь на ней подробнее остановиться ¹⁾.

Книга Карлейля „Французская революция“ вышла в свет в 1837 году, через пять лет после первой парламентской реформы, как известно, не удовлетворившей передовые круги английского общества. Еще до этой реформы образовался в Англии „Национальный союз рабочих и других классов“, который агитировал не только в пользу более широкой реформы выборов, но и в смысле социальных требований, возбужденных родоначальником английского социализма Оуэном. Когда реформа стала фактом, эта политическая организация издала декларацию, где были сформулированы главные демократические принципы, составившие потом содержание знаменитой „Народной хартии“. Этот союз сменился другим, в котором участвовали, главным образом, одни рабочие, хотя в качестве почетных членов допускались в него и лица других общественных положений. В 1837 году на большом митинге, созванном союзом, была принята программа, получившая название „Народной хартии“ (People's Charter), откуда и все бурное движение, получившее потом революционный характер, стало называться хартизмом, или, в английском произношении, чартизмом. Таким образом, „Французская революция“ Карлейля и знаменитая „Народная хартия“ относятся к одному и тому же году. Автор книги не принимал непосредственного участия в движении в качестве практического деятеля, но явился истолкователем чартизма в книге под этим же самым названием (The Chartism), вышедшей через два года после „Французской

¹⁾ О Карлейле большая литература, в которой отметим следующих авторов Н. Тaine (Etude sur Carlyle (1865), Froude (1882 — 1884), Larkin (1883), А. Окольский (1893), Schulze-Gewärnitz (1897), P. Hensel (1901), А. С. Lorenz (Diogenes Teuffelsdröckh und Thomas Carlyle. (1913). См. также мою книжку „Томас Карлейль“ (1923), где есть небольшая глава о „French Revolution“ (стр. 99 — 117) и указаны некоторые русские статьи.

революции“ и начала самого движения под знаменем „Народной хартии“.

В год появления „Французской революции“ Карлейлю ¹⁾ исполнилось сорок два года. Он уже более десяти лет перед тем участвовал в литературе, в роли, первоначально, переводчика с немецкого языка или литературного критика. В английском обществе, где господствовали реализм и практицизм Адама Смита и Бентама, он явился проводником восторженного идеализма и ригористического морализма, чем обуславливалось его совершенно обособленное положение в тогдашней английской литературе. Такой своеобразный писатель не мог, конечно, принадлежать ни к одной партии, смотря на все вопросы своего времени исключительно с моральной точки зрения, имевшей у него прямо религиозный характер, а его публицистика скорее делала его чем-то вроде ветхозаветного пророка, обличающего современные ему поколения и будящего в нем совесть. Громадный талант Карлейля заставлял публику читать его произведения, хотя часто с враждебным к нему отношением, когда его идеи задевали лозунги тогдашних политических партий. Консерваторы готовы были признавать его за радикала, радикалы — за консерватора.

Повышенная нравственная чуткость Карлейля, его стремление поучать, назидать, исправлять не позволяли ему сторониться от злоб дня. В 20-х годах XIX века английские рабочие переживали очень для них бедственную эпоху. В 1829 г. он отозвался на это своими „Знамениями времени“, а в 1831 г. „Характеристикой“, двумя статьями, где он нападал на материализм эпохи, на погоню за одною внешностью, на заботу о накоплении богатств, когда рядом везде такая бедность, нищета. „На самой высокой ступени цивилизации девять десятых человеческого рода обречены на вечную борьбу с голодом средствами, которые в ходу не только у дикарей, но и у высших животных“. Позднее в своем историко-философском размышлении „Прошедшее и настоящее“ (1843), он даже подробно развивал ту мысль, что средние века для народа были лучшим временем, чем его эпоха. В 1832 году он в одной из своих статей делился с читателями возникшими

¹⁾ Карлейль родился в 1795 году, умер в 1881 г.

в нем опасениями за самую будущность Англии и пророчил близкий конец ненормальному положению дел.

Таково было настроение Карлейля, когда он писал свою книгу о французской революции. Это же его настроение вылилось и в форму сильного памфлета под заглавием „Чартизм“. Здесь он доказывал, что „с рабочими поступают несправедливо, их судьба не основывается на законе и потому не такова, какова должна быть“. И радикалы и консерваторы остались им одинаково недовольны, одни потому, что Карлейль признавал за высшими классами не только обязанность руководить народными массами, но и право ими управлять, вторые потому, что он считал современные ему высшие классы неспособными и недостойными стоять во главе нации, мечтая сам об аристократии нравственно лучших идей. В „Прошедшем и настоящем“ он даже прямо потом стоял за возвращение к аристократизму и к священническому господству средних веков, но в каком-то особом идеальном понимании, а вместе с тем совсем по-демократически провозгласил над свободой, которую называют божественною вещью, но которая далеко не божественная вещь, когда заставляет умирать с голоду. Иногда Карлейль высказывал совершенно социалистические мысли, не будучи, однако, совсем социалистом в своем „верующем радикализме“, как он сам назвал свое направление, задумывая основать свой собственный периодический орган.

Будучи более философом и моралистом, нежели практическим деятелем и политиком, он и в своей умственной работе был более интуитивистом, чем рационалистом, более импрессионистом, чем логическим мыслителем, проявлял больше способности к вдохновенному творческому синтезу, нежели к кропотливому научному анализу, а потому гораздо сильнее влиял на настроение, нежели на миросозерцание своих читателей. В своих знаменитых лекциях „О героях, о поклонении героям и о героическом в истории“, изданных через пять лет после „Французской революции“, он проводил ту мысль, что всемирная история есть только биография великих людей, что вся история движется героями, исполняющими в ней провиденциальные миссии¹⁾, но он более вещал это, чем доказывал. И как-раз эта его теория не вытекала из его

¹⁾ В этой книге есть кое-что о французской революции, что будет рассмотрено мною в книге „Французская революция в философии истории“.

изображения французской революции, где если и есть какой-либо герой, так это — народ, чем Карлейль напоминает нам писавшего уже после него Мишле. Идеализм Карлейля был довольно-таки расплывчатым, туманным, а метод мышления довольно-таки далеким от строгих требований научной методологии. Интуитивизм, импрессионизм, вот два понятия, под которые может быть подведена, равным образом, и писательская манера Карлейля. Как повествователь событий французской революции, он не столько их передает в их объективности, сколько пропущенными через призму его собственной впечатлительности. В известном смысле можно сказать, что его книга производит впечатление как-бы большой исполненной лиризма поэмы. Такой след оставила она, между прочим, в памяти и автора этих строк, когда он восемнадцатилетним юношей прочитал первый том этого труда, только что переведенный тогда по-русски. Я помню, мне захотелось чего-нибудь „более исторического, менее поэтического“, в чем меня и удовлетворил Мишье. Действительно, прибавлю, труд Карлейля предполагает в читателе уже некоторое знакомство с фактической стороной революции.

„Французская революция“ Карлейля состоит из трех томов. Первый, озаглавленный „Бастилия“ и доведенный до переселения Людовика XVI в Париж в октябре 1789 г., разделяется на семь „книг“, имеющих свои особые заголовки, какие имеются и у отдельных глав, иногда довольно замысловатые и даже претенциозные. Вообще язык Карлейля нельзя назвать простым. Второй том называется „Конституция“, делится на шесть „книг“ и охватывает период от водворения Людовика XVI в Тюльерийском дворце до переселения его в Тампль после переворота 10-го августа. Третьему тому автор дал название „Гильотина“, разделил его на семь „книг“ и довел его до подавления восстания 13 вандемьера. Для него это и был конец французской революции, ровно через шесть лет, день в день, после похода парижан на Версаль 5-го октября 1789 года ¹⁾. Выбор такого момента Карлейль оправдывал в заключительной главе (Finis) тем, что после этого события французской истории

¹⁾ В книге Карлейля в общей сложности более 700 страниц по двухтомному изданию 1857 года (342 + 371), при чем в первой части 225 стр., во второй — до 240 страниц, в третьей — 150 страниц.

направлялись не „священным правом восстания“, а интригами и командными словами. Этим моментом история революции для него не „замыкалась, а обрывалась“, как это было сказано о гомеровском эпосе, сравнивавшемся с барельефом, который не имеет видимого заключения, а просто прекращается. То же самое, говорит здесь Карлейль, случилось с „эпосом всемирной истории“, бывшим его предметом. На этом моменте и пришлось ему и его читателям „распрощаться“ друг с другом, после трудного совместного странствования“.

„Ты, обращается он, в самых последних строках третьего тома к читателю, — ты был для меня как бы возлюбленною тенью, как-бы бесплотною или невоплотившеюся еще душою любимого брата. Для тебя я был только голосом, и, однако, это было нечто, что нас на время соединяло, священное нечто. О! не сомневайся в этом. Ибо сколь многие когда-то священные вещи также могут исчезать и превращаться в ничто, но пока голос человека говорит другому человеку, мы обладаем живым источником, из которого возникло и всегда будет возникать все святое. Человек по природе своей может быть обозначен, как „воплощенное слово“. Горе было бы мне, если бы я говорил неверно тебе, тебе, доверчиво мне внимавшему. Прощай“. Это своеобразное прощание автора с читателем уже одно дает понятие о том субъективном, интимном тоне, в каком написана была вся книга. Иногда и в тексте мы встречаемся с обращениями к читателям, как к „друзьям“ или „любезным друзьям“. Мало того, ничто не мешает автору обращаться и к тем людям, о которых он говорит. Подобные обращения, изливания своих чувств, восклицания и т. п. придают всему труду лирический налет, местами с иронией, с английским юмором, чему помогают разбросанные там и сям „словечки“. Переводить Карлейля с его своеобразным стилем чрезвычайно трудно. С этой стороны о Карлейле можно сказать то же самое, что уже было сказано в другом месте о Мишле¹⁾.

При оценке внутренних достоинств и недостатков книги Карлейля, нужно иметь в виду дату его появления в печати. Когда Карлейль оканчивал свою книгу, в 1836 году, прошел

¹⁾ Историки франц. революции, т. I, стр. 148—149.

десяток с небольшим лет после первых изданий Тьера и Минье, а Бюшез и Ру только-что начали свою столь важную в свое время публикацию ¹⁾. Недавно в журнале „La Révolution Française“ Олар поместил статью о Карлейле, как историке французской революции, по поводу нового издания французского перевода его книги ²⁾. В ней автор опровергает суждение в свое время (1868), высказанное о труде Карлейля самим Мишле, находившим, что Карлейль был „легким фантазером“, что его книга „достойна жалости“ (pitoyable), что в ней „нет изучения“ (nulle étude), и что, кроме „ложного освещения“ (fausses lueurs), в ней ничего нет“. Олар называет такой приговор бутадой, вызванной раздражением по поводу мнения, будто он, Мишле, вдохновлялся Карлейлем ³⁾. Быть может, думает Олар, знаменитый историк только поверхностно ознакомился с книгой, которая при первом взгляде может внушить неблагоприятное впечатление. „Наоборот, говорит он, сплошное чтение, если только читатель не близорукий педант, страшно его заинтересует, полезно его научит, заставит его видеть в Карлейле не только поэта, но и историка“ (195). Указав на то, чем пользовался Карлейль ⁴⁾, Олар прямо заявляет, что он был лучше вооружен документами, нежели главный из его французских предшественников, Тьер (196). Далее, Карлейль и не был более фантастичен, чем сам Мишле, да и свет, проливаемый им на революцию, тот же, что и у Мишле (197).

Олар защищает Карлейля и от Тэна, упрекавшего его в том, что он видел только одно дурное во французской революции, когда еще Тэн не был автором своего знамени-

¹⁾ У Карлейля, однако, уже имеются ссылки на первые 25 т. этого издания.

²⁾ У меня был французский перевод E. Regnault et Odysse Barrot, отдельные томы которого выходили в 1865—1867 гг. В „Notice sur Carlyle“ они говорят, что даже сами англичане иногда понимают его с трудом (т. I, стр. XXII). Переиздана была книга в 1912 году со вступительной статьей Aulard из „Révolution Française“ за тот же год (mars). Из немецких изданий мне известно иллюстрированное Theodor'a Retwisch'a без даты и без предисловия, но с многочисленными пояснительными примечаниями для широкой публики (без всякого научного значения). Иллюстрации превосходны. Русский перевод был сделан в 1866 г., но, сколько мне известно, вышел лишь один первый том, да и тот цензурой был изъят из продажи. Новое издание было выпущено только в 1907 г.

³⁾ Истории фр. рев., т. I, 189.

⁴⁾ Мемуары, газеты, сборники, история Тулонжона (о которой у нас в I томе, на стр. 63—64) и пр.

того труда ¹⁾. „Не один историк, говорит Олар, так не заботился о беспристрастности, и ни одному, может быть, так это не удалось“ (198). Эту свою мысль он подтверждает рядом примеров, между прочим, приводя слова Карлейля о героической стороне революции. Да, утверждает Олар, Карлейль был беспристрастен, но не оставался спокойным и бесчувственным (202). Общее заключение этого лучшего знатока французской революции таково: „книга Карлейля — поэма о том, что он называет саянюлотизмом, но эта поэма вдохновляется не литературной фантазией, а изучением действительности, настолько полным и серьезным, насколько оно было возможно в то время, когда писал Карлейль. При том этот поэт-историк не имел целью ни славословить революцию, ни ее проклинать, но истолковать ее, исследуя ее в самой душе своей столько же посредством симпатии, сколько ума“ (205).

Но вот, как мы видим, и Олар вынужден назвать Карлейля поэтом, его книгу поэмой. Действительно, целые главы его „Французской революции“ читаешь, как роман, когда автор рассказывает события, то описывая даже явления природы, то как будто нарочно волнуя читателя. Иногда, наоборот, отдельные страницы читаются, как блестящий фельетон с постоянными обращениями к читателю, как, с другой стороны, весь текст пересыпан обращениями к действующим лицам или к народу. Пересыпан текст как на романических, если можно так выразиться, так и на фельетонных страницах литературными, историческими, библейскими и мифологическими реминисценциями и сравнениями, намеками на общеизвестные басни, поговорками и пословицами, собственными афоризмами и сентенциями автора, шутливыми замечаниями и саркастическими, пролическими насмешками, игрою слов, охотно расточаемыми кличками, самим автором сочиненными неологизмами и постоянными восклицаниями, иногда совершенно необычными. Перечитывая Карлейля для настоящей главы, я отмечал на особом листке все эти литературные украшения, вовсе не казущиеся у Карлейля надуманными, а как бы совершенно естественной его манерой, и кое чем воспользуюсь дальше, да здесь приведу несколько примеров. Пример

¹⁾ См. указание выше на книгу Тэна о Карлейле (стр. 122).

личного обращения: г-жа Дюбарри уезжает из Версаля перед кончиной Людовика XV, и историк напутствует ее такими словами: „Сгинь, фальшивая колдунья!.. Твой день прошел. Для тебя решетка королевского дворца заперта навеки... Нечистая, но не злокозненная тварь, достойная, впрочем жалости (Thou unclean, yet unmailgnant, but not impritable thing)! Что за судьба твоя! Рожденная на оскверненном ложе безыменного отца матерью в слезах, ты дошла по самым сначала низменным подземным ходам, по самым затем высоким и блестящим вершинам блуда и бесстыдства вот до этой гильотины, отрубившей твою голову, несмотря на все твои мольбы. Покойся же здесь, не проклятая, а только зарытая и исчезнувшая. Чего же ты еще стоила?“¹⁾ По части кличек и словечек, тоже кое-что здесь отмечу. Королевский двор почти везде у Карлейля называется „Oeil de boeuf“, по тому, как называлась в Версале большая передняя зала, освещенная одним только круглым окном на подобие бычьего глаза. Или еще короля он называет „наследственное представительство“. Отдельные главы носят замысловатые названия (Astrea Redux, Patronillotism, Mumbo-Jumbo и т. п.), а, так сказать, весь демократический уклон революции обозначается термином „санкюлотизм“, часто употребляемым у Карлейля. А вот примеры неологизмов. Для понятий ортодоксии и гетердоксии он сочиняет слова „моедоекия“ (my-doxie) и „твоедоекия“ (thy-doxie), поясняя это несколько насмешливо и говоря, что для исторической человеческой природы довольно какой-либо йоты (в подлиннике Номоіонсія іота) или хоть предлога для йоты, чтобы пролезть через игольное ушко (II, 6—7). Есть и звукоподражательные междометия: граф Ферзен увозит королеву, нужно дополнить рассказ стуком катящегося экипажа, и готовы такие фразы: „кряк! кряк! карета гремит“, а через пять строк опять: „кряк! кряк! мы едем непрерывно по сонному городу“, и еще через четыре строки слова: „кряк! кряк! пересекаем улицы Граммон, затем бульвар и дальше по улице Шоссе д'Антен“ (II, 2). На одиннадцати строках шесть раз это „кряк“. В отмеченном месте и то характерно, что Карлейль как бы и себя включает в число едущих беглецов и говорит

¹⁾ Т. I, стр. 19—20; перевод сделан только приблизительно, да и то при помощи французского и русского. Так иногда фраза Карлейля запугана.

„мы“ (we do incessant throug the slumbering city..; and we alive and quaking), — прием весьма частый у Карлейля, при чем этими „мы“ у него бывают очень различные люди. Вот уже настоящее перевоплощение историка.

Можно было бы исписать целые страницы примерами этой литературной манеры Карлейля, который как-будто больше обращается к чувству и воображению читателя, чем к его уму и мысли. Ему ничего не стоит пригласить читателя совершить „полет Асмодея“, чтобы посмотреть с высоты башень Нотр-Дам на Париж (II, 112), или попросить читателя вообразить то, что сама история оставляет без описания (is as a change such as History must beg her readers to imagine undiscribed, III, 177) и т. п. Описывая прощание Людовика XVI с семьей и опять переходя на „мы“, при слове „never“ (никогда) Карлейль прибавляет „О читатель! знаешь ли ты это жестокое слово?“ Поэтому, у нашего историка-поэта нередки и такие эмоциональные восклицания, как „слава богу“, „к счастью“ и т. п., когда не случилось что-нибудь дурное, что могло бы случиться. Местами у Карлейля просвечивает жалость к „сынам Адама“, как он вообще нередко выражается о людях и тогда, когда не имеет в виду вызвать в них сострадание. Очень частым эпитетом при собственных именах встречается у него „бедный“. Так, например, даже о Людовике XV, в главе о его, „Незабвенного“, смерти, он восклицает: „poor Louis“, „с тобой происходит что-то страшное, серьезное“ (I, 16), и еще через страницу опять: „да, бедный Людовик, смерть нашла тебя“ (17), а дальше еще не раз „poor Louis“ (18, 21). И к кому только не применяется этот эпитет: Людовика XVI он часто называет бедным, когда он не был еще несчастным. „Бедный Мирабо!“ „Бедный Верньо!“ „Бедный Ролан!“ Но и неизвестные и малоизвестные лица у Карлейля отмечаются теми же словами: Вебер (мемуарами которого Карлейль широко пользовался), ехавший рядом с королевской каретой (6 октября 1789 г.), „забрызганный грязью и со слезами на глазах“, тоже был для Карлейля „бедным“ (I, 225).

Карлейлю было вообще по человечеству жаль „сынов Адама“, сколь ни странными он их находил, но как-то он не старался проникнуть во внутренний мир действующих лиц революции, не занимался их психологическим анализом,

не пытался рисовать их портреты, а показывал их читателю в действии, нередко соединяя с тем или с другим именем какую-либо постоянную примету, большею частью внешнего свойства. Так, Марат представляется историком читателю в качестве „замечательного ветеринара“ (remarkable Doglesch, I, 159 и сл.) и в этом звании еще не раз показывается читателю, как не раз же носил еще кличку „столбника“ (stylites) по примеру известного аскета Симеона, уединившегося на своем столбе (pillar, I, 242 и III, 257). Выводя Робеспьера на сцену, Карлейль чуть ли не всегда или называет адвокатское его звание, или упоминает о бледном цвете его лица с зеленоватым оттенком морской воды (the pale sea-green, greenish-coloured, I, 111; sea-green Robespierre, the seagreen features, II, 220; о seagreen Incorruptible, 221, 324 и др.), а в одном месте даже собственное имя его заменено термином „the Seagreen“ (II, 221).

Иногда даже трудно сказать, с каким чувством относился Карлейль к тому или другому деятелю революции. Но можно назвать его отношение к Мирабо прямо симпатическим, для чего стоит только прочесть главу о его смерти (ч. II, кн. III, гл. VII), особенно ее конец. Моралисты не должны, по мнению Карлейля, осуждать Мирабо, ибо мораль, по которой его можно было бы осудить, еще не была выражена человеческою речью. „Он был Реальностью, а не Подобием (по Similacrum), живым сыном Природы, нашей общей Матери, не простым произведением искусства (artifice) и не механизмом условностей, сыном ничего, братом ничему (son of nothing, brother to nothing). Это был человек, призванный жить титанически, и несмотря на ярость, с какою революция все развивала, таких людей было не более трех“ (I, 340). Карлейль, вглядываясь в него „с симпатией“, нашел в нем, „как основу всего, искренность и великую свободную серьезность“, а также прямоту, с которою он видел ясно „то, что было, что существовало фактически, и следовал только этому, но не чему либо иному. Никогда он не был низким или ненавистным, но был достойным сострадания и любви с жалостью (loveable with pity). „Этот человек-брат если для нас не эпичен, то трагичен, если не велик, то широк, широк своими качествами и, как мир, широк (world-large) своею судьбою“ (I, 341).

К Дантону Карлейль относится с чувством крайнего удивления. В конце главы, где говорится о его казни, Карлейль называет его „гигантской массой храбрости, тщеславия, ярости, благорасположенности, революционной силы и мужественности“. Много он имел недостатков, но одного самого большого у него не было — лицемерия, того, что у англичан называется *sant*. „Это был настоящий человек, со всеми своими шлаками (*dross*), человек, горячая реальность из великих огненных недр самой природы... И он, заключает Карлейль, будет в течение нескольких поколений жить в памяти людей“ (II, 328). Дантону, этому титану революции, как он его называет в одном месте (II, 325), он противопоставлял Робеспьера, которого среди членов Учредительного Собрания обозначил, как самого малого, рядом с самым великим, Мирабо (I, 111). Если для Карлейля Дантон был „чудовищно колоссальною Реальностью,“ то Робеспьер был „только бедною зеленоватою (*seagreen*) формулой“. Это были „два главные продукта победоносной революции“, но не совместимые один с другим. Жалкая Формула не могла смотреть на сильную Реальность иначе, как с ужасом женской ненависти“, делаясь при этом „все зеленее“, тогда как для Реальности — Формула была только пузырьком, надутым ветром популярности, не человеком, „а бедным спазмодическим неподкупным педантом с логическою формулою на месте сердца, из породы иезуитов или методистских проповедников, исполненным искреннего лицемерия (*sincere sant*), неподкупности, ядовитости и трусости“ (II, 324). Карлейль чувствовал к Робеспьеру органическое отвращение, прямо его ненавидел. Когда голова Робеспьера была отрезана от туловища, раздались рукоплескания, по выражению Карлейля, „во всем Париже, в целой Франции, в Европе — даже до настоящего поколения“, — что было „правильно, но и неправильно (*deservedly and also undeservedly*), прибавляет он. О самый злосчастный из аррасских адвокатов! Стоил ли ты меньше других адвокатов?.. Да будет милосердие божие над ним и над нами!“

В том, что и как Карлейль написал о Мирабо, о Дантоне, о Робеспьере, гораздо более проявилось его субъективное, эмоциональное отношение к ним, нежели умственное их понимание и какая-либо объективная их оценка. То же относится и к другим деятелям революции, хотя бы к тому же

„ветеринару“ и „столбнику“ Марату, которого, однако, Карлейль считал проницательным (I, 249). Местами Карлейль говорит о нем не без проиия, перечисляя, например, по-смертные почести, ему оказанные, но сам о нем не высказывается, а иногда отзывается с гадливостью, но не очень ее подчеркивая. Указав на все эти почести, которые „не могли вернуть его на свет этого солнца“, Карлейль заявляет, что во всем этом „лишь об одном обстоятельстве он прочитал в старом „Монитёре“ с явной симпатией“: это — о приезде брата Марата, чтобы попросить отдать ему оставшийся после него мушкет. „Ибо, поясняет Карлейль, у Марата был брат и были существенные привязанности. Его, как и всех нас, завертывали в пеленки, и он подобно нам спал в своей колыбели. О вы, дети человеческие! Одна сестра его, говорят, и теперь еще живет в Париже“ (II, 257 — 258). Нельзя сказать, чтобы это было ясно, понятно, определенно.

Все у Карлейля, вне описания и повествования, повторяю, субъективно и эмоционально, как проявления крайнего интуитивизма и импрессионизма. Понятно, что менее всего можно искать у него подведения итогов, обобщений, точных формулировок, приличествующих строгой науке. Во всех трех частях „Французской революции“ Карлейля масса подробностей, книга прямо насыщена фактами и, рядом с ними, субъективными излияниями автора, но он почти никогда не делает ретроспективных взглядов на пройденный путь, не резюмирует. Только в начале шестой книги первой части Карлейль находит нужным объяснить, что значат эти два слова: „французская революция“, — два слова, которые, говорит он, могут иметь столько же смыслов, сколько людей, о ней говорящих (*as many meanings, as there are speakers of them*). „Все вещи, продолжает он, находятся в революции, в изменении от момента к моменту, что бывает заметным от эпохи к эпохе: в этом мире времени (*time-world*), собственно, нет ничего кроме революции и изменения (*mutation*) и даже ничто иное немислимо. Революция, вы отвечаете, значит более быстрая (*speedier*) перемена. Но об этом можно еще спросить: насколько быстрая, с какой степенью скорости?... Когда революция перестанет быть объективной переменной? Когда последняя опять становится собою? Это — вещь, которая будет зависеть от более или менее произвольного определения. Что

касается нас, мы отвечаем, что французская революция значит здесь открытый и насильственный бунт, победу вырвавшейся из тюрьмы (disimprisoned) анархии над испорченной и негодной властью, как анархия разбивает свою тюрьму, вырывается из бесконечной глубины и свирепствует, неисчислимая, неизмеримая, обволакивая мир и идя от припадков до припадков (in phasis after phasis) горячки бешенства, пока бешенство не уничтожит самого себя и элементы нового порядка (они имеются во всякой силе), развиваясь, не то чтобы заключат эту силу в тюрьму, а обуздают ее и не направят ее к здоровому и правильному исходу. Ибо, как и иерархии, и династии всех родов, всякие теократии, аристократии, автократии, струмпетократии ¹⁾ управляли миром, так было решено декретами провидения, чтобы сама эта победоносная анархия, якобинизм, санкюлотизм, французская революция, ужасы французской революции, или как бы смертные это ни называли, тоже имели свою очередь. Разрушительная ярость санкюлотизма, вот о чем мы будем рассказывать, не имея к несчастью голоса, чтобы ее воспеть". (I, 165 — 166). Карлейль тут же называет французскую революцию явлением великим, трансцендентальным, превышающим все правила и опыт, увенчивающим паше новое время, в котором совершенно неожиданно проявился „древний фанатизм в новом и даже новейшем наряде. Мир формул, сформированный (forged) мир, каков весь обитаемый свет, должен ненавидеть фанатизм, как смерть, и быть с ним в смертельной вражде. Мир формул должен победить фанатизм или пасть, проклиная его и анафематствуя, но предупредить его или сделать небывшим не может. И анафемы здесь и чудесная вещь ²⁾ также здесь" (I, 166), т.-е. остаются сами по себе.

Революция для Карлейля явилась, когда „износились и стали пустыми прежние формулы, когда, казалось, всякая реальность заменилась „фантазмами реальности“, когда сама вселенная божья стала творением портного ³⁾ и обобщика, а люди — картонными масками, жеманничавшими и гримасничающими“. И вот „разверзается земля, и окруженный тартарным дымом

¹⁾ Во французском переводе pornocracies. Strumpet — проститутка.

²⁾ Фанатизм.

³⁾ Чтобы понять этот намек, нужно быть знакомым со странным произведением Карлейля „Sartor resartus“.

и ослепительно страшным блеском поднимается многоголовый и огнедышащий санкюлотизм и спрашивает: что вы думаете обо мне? Понятно, что картонные маски, об'ятые ужасом, трепещут и жмутся одна к другой в выразительные и сплоченные группы". Карлейль соглашается, что здесь было нечто страшное, роковое и для тех, которые были только масками, и для бывших полуфантомами, полулюдьми. А политические образы теснятся у него, громоздятся один о другой. Вот Мировой Феникс (World-Phoenix), несущий с собою „Смерть-Рождение целого мира“ (the Death-Birth of a world), когда „человек и его жизнь успокоятся на действительном и истинном, а не на пустом и призрачном (I, 166). Санкюлотизм сожжет многое, но он не сожжет того, что негоряемо. Не страшитесь санкюлотизма, признайте его тем, что он есть, за ужасный и неизбежный конец многого и за чудесное начало многого. И другое ты можешь видеть днем. Это — то, что он от бога; ибо разве он не был?“ Карлейль видит в санкюлотизме нечто предопределенное искони, но советует „не пытаться понять умом и измерить эту неизмеримую Вещь, объяснить ее, дать о ней отчет, свести ее к какой-либо мертвой логической формуле“, советует не изрыгать на него пролетия, что уже всячески делалось. „Как ныне существующий сын времени, созерцай с несказанным интересом, чаще всего в молчании, что принесло время: назидайся этим, учись, пытай себя этим, или же просто-на-просто забавляйся и развлекайся“... (167).

Карлейль ставит, однако, вопрос: где же, собственно происходила французская революция? Одни, с которыми не стоит считаться, указывают на королевский дворец, на речи, глупости и несчастья его величества или ее величества, другие — на Национальное Собрание, на прокламации, акты, доклады, вороха газет, что легко, но мало прибыльно (easy, but unprofitable). Национальное Собрание идет своим чередом, революция своим. „Вообще, продолжает Карлейль, не можем ли мы сказать, что французская революция находится в сердце и в голове каждого сильно говорящего и сильно думающего француза (every violent-speaking, every violent-thinking French man). Но как эти двадцать пять миллионов французов в этой запутанной комбинации действуют и противодействуют, порождают события, какое событие делается по-

следовательно кардинальным и с какой точки зрения оно может быть лучше всего обозреваемо, — это проблема“, в решении которой здравый смысл, черпая свет из всех источников, где только что-либо видно, должен „довольствоваться сколько-нибудь терпимой приблизительностью“ (*be well content to solve in some tolerably approximate way*, 167 — 168).

Национальное Собрание, эта реальность из реальностей, как объединяющий центр, представляется Карлейлю в роли создателя конституции нелепостью и химерой. Какой смысл в этих героических зданиях и карточных домиках Монтескье-Мабли. Карлейль готов назвать собрание „синедрионом педантов“, занимающихся теорией неправильных глаголов (168). Не очень-то, в сущности, Карлейль расположен и к „Евангелию от Жана-Жака“, как он довольно часто называет „Общественный договор“ Руссо (I, 43, 257; II, 41, 286 и др.). Теории Карлейлю ненавистны, а государственные теории для него — порождение упадочного времени. Между прочим, он очень резко отзывается и о теории Бюшеза (которую приписывает его сотруднику Ру), что французская революция была реализацией христианства¹⁾, „Увы, нет г. Ру! восклицает Карлейль: это не — евангелие братства, оно не согласуется ни с одним из четырех старых евангелистов, не зовет людей к раскаянию, не приглашает людей ради спасения очищаться от грязи своего собственного существования. Это, как мы часто указывали, скорее евангелие нового пятого евангелиста Жана-Жака, зовущего каждого человека очищать от грязи весь мир и спастись посредством конституции. Это — разные вещи, отдаленные одна от другой, как говорится, *toto coelo*, как небо от земли (II, 284).

Настоящим героем в книге Карлейля выступает народ. Историк то восхищен героизмом народа, то скорбит по поводу его неразумия и жестокости. Всем достается от строгого судьи, но везде видно сочувствие к рабочему люду, к его нужде, его бедствиям. В том, что революция пошла по кровавому пути, он обвиняет двор, аристократию. Вообще Карлейль самыми мрачными красками рисует старый порядок, его представителей и защитников, очень отрицательно относится к придворным, к эмигрантам, а когда ему прихо-

¹⁾ Историки французской революции, т. I, стр. 203.

дится говорить о чем-либо ужасном в революции, он иногда спрашивает: а разве этого не было и прежде?

Партии революции также не пользовались благосклонностью Карлейля, за их стремление господствовать, за взаимные раздоры (II, 216). Философская жирондистская республика не в его вкусе: это — „респектабельная республика для средних классов“ (215), „республика для респектабельных средних классов“, но ведь первыми двигателями в этой революции были „не оскорбленные тщеславия и притесненные (contradicted) философии философских адвокатов, богатых лавочников, сельских дворян“, но голод, неприкрытость, кошмарное угнетение 25 миллионов народа. Сделавшееся нестерпимым, феодальное знамя было растоптано ногами, но „денежный мешок Маммона (а это по настоящему времени и есть респектабельная республика для средних классов) даже еще хуже“, потому что это наихудший вид господства над людьми, возможный только, по Карлейлю, в век общего атеизма и сенсуализма¹⁾. Не в денежном мешке санкюлотизм, а в другом месте искал свободы, равенства и братства (II, 216). Горячо приветствует здесь Карлейль идеализм французского народа, его веру, в „миллениум“, в грядущий рай (II, 218—219). Но и тут он отказывается что-либо объяснить, бросая только замечания, что борьба между Горой и Жирондой была борьбой между фанатизмом и чудесами (219). Оружиями Жиронды были политическая философия, респектабельность и красноречие, оружиями Горы более естественные дерзновение и натиск, которые могут сделаться зверством, а ареной для борьбы была популярность, при чем на обеих сторонах не было недостатка в эгоизме и невысоком полете мысли (meanness of mind), но Гора лучше понимала, что такое революция (221). Монтаньяры стояли ближе к народу, жирондистам было труднее перетянуть его на свою сторону. Говоря, что прозвище жирондистов „незюитами революции“ слишком жестоко, Карлейль тем не менее замечает, что плохо пришлось бы народу при жирондистах (222), не приводя, однако, доказательств. В данном случае, Карлейль следовал мнению врагов Жиронды.

¹⁾ Отмечу, что у Карлейля встречается иногда фактические погрешности. Например, он смешивает трехдневную заработную плату с маркой серебра (I, 248, 262), что приводит его к неверному пониманию различия между активными и пассивными гражданами по конституции 1791 года. Быть может, его ввел в заблуждение Тьер, о чем см. у нас на стр. 136 первого тома.

Но и жирондистов в одном месте он называет „бедными“ за их близорукость, за фатальную бесхарактерность, за педантизм и формализм, за их добродетели, под которыми разумелись приличия и респектабельность, за то, что они ставили вопрос о законе или беззаконии (law or no-law), когда дело шло о жизни или не-жизни (life or no-life), они только доказали, что „действительность не вкладывается в их формулу, что сами они и их формула несовместимы с действительностью, и что действительность в своей мрачной ярости должна была истребить и ее, и их“ (II, 233). „О жирондистские друзья! у нас не республика добродетелей, а только республика сил, добродетельная или другая“ (237). В смертельной борьбе обеих партий Карлейль видит схватку формализма с реализмом (243), но вот жирондисты гибнут „не без вздоха со стороны большинства историков“, и Карлейль смягчает свой приговор: люди с философской культурой и добропорядочного поведения, они не столько заслуживали осуждения, сколько были несчастны. „Они хотели республику добродетелей, в которой были бы вождями, а получили республику, которою стали управлять другие, не они“ (252). Казнь жирондистов вызывает у Карлейля несколько сочувственных слов: „остается одна жалость. Столько превосходных душ героев сошло в ад. Они отдали себя в добычу псам и разного рода птицам. Но здезь совершалась высшая воля!“ (281).

Царство братства, однако, не пришло. Шло истребление всего, что подлежало истреблению (285). „Пусть только читатель не воображает, что все было черно при царстве террора, оговаривается Карлейль, — было далеко не так. Сколько кузнецов, плотников, хлебопеков, пивоваров, прачек в этой Франции продолжало каждый день свою прежнюю работу, было ли правительство правительством террора или радости, и т. д.“ (286). Он решается даже сказать, что не было периода, когда 25 миллионов французов менее страдали, как в периоде, называемом царством террора, ибо это уже не были немые миллионы, а говорящие тысячи, сотни, единицы, которые кричали, объявляли свои жалобы (368). Революция не пропала даром, а кончилась она, когда 13 вандемьера картечью было расстреляно „священное право восстания“.

В заключение еще одно место с общим содержанием. „Что же это за вещь, называемая революцией, которая подобно

ангелу смерти, распростерлась над Францией, потопляя, расстреливая, сражаясь, дубя человеческую кожу? Революция — вещь, на которую нельзя наложить руку или держать под замком, запертою на ключ. Где она? Что она такое? Это — безумие, таящееся в сердце людей. Она и в этом человеке, и в том, как ярость или ужас, она во всех людях, невидимая, неосязаемая, и тем не менее никакой черной Азраил с крыльями, распростертыми над половиной континента, все сметающий своим мечом от моря до моря, не мог бы быть более настоящей действительностью". И еще раз Карлейль не берется объяснить ход этой революции за невозможностью это сделать (II, 319).

На этом мы и можем покончить с содержанием „Французской революции“ Карлейля, этого памятника скорее в истории литературы, нежели в истории науки. Автору не было дано ясного, но холодного логического мышления. Он даже находил, что и слова человеческие слишком бедны для передачи мысли, а сама мысль слишком бедная излагательница (а роог exponent) того, что происходит в тайниках человеческой души (II, 220). Отдавая рукопись своего труда жене, он сказал, однако, что в течение целого века не было книги, которая была бы столь же непосредственным и горячим произведением самого сердца живого человека, а одному другу писал, что это — дикая, разнужданная книга, похожая на самую французскую революцию. Публика была ошеломлена, но крупные люди Англии тогда же отнеслись к книге восторженно. Милль, по оплошности которого первая рукопись погибла ¹⁾, назвал „Французскую революцию“ Карлейля гениальным произведением; Теккерей написал о ней статью, в которой ее всячески превозносил; Диккенс был большим ее любителем, и мне кажется, что дух ее сказался на его знаменитой „Повести о двух городах“ ²⁾; Соути перечитал ее шесть раз; в Америке о ее крупных достоинствах

¹⁾ Карлейль давал Миллю ее для прочтения, но тот не позаботился о ее сохранности, и она была сожжена в каюте служанкой, принявшей ее за ненужный хлам. Карлейль написал свою книгу вторично, ибо то был единственный экземпляр рукописи. См. об этом в моей книжке о Карлейле, стр. 100—101.

²⁾ A tale of two Cities. Может быть, Анатолю Франсу заимствовал из одной главы у Карлейля заглавие своего романа „Боги жаждут“ (Les dieux ont soif). См. в моей книге „Французская революция в историческом романе“ (1923), стр. 48, 104 и сл. Вообще романисты, изображавшие эту эпоху, писали под влиянием взглядов отдельных историков.

свидетельствовал Эмерсон. Историки английской литературы, не говоря уже о биографах самого Карлейля, тоже отнеслись к его книге, как явлению, выходящему из ряда вон, и старались выяснить, в чем же заключается нравственное поучение книги, или даже поучение политическое, но с чисто моральной точки зрения.

Конечно, историки литературы и биографы не могли не отметить, что Карлейль был сыном простого каменщика, слышавшим от отца о бедствиях рабочего класса, что семья его была сектантская, что мать его отличалась крайнею религиозностью, в какой воспитала и сына. Отсюда его инстинктивное сочувствие рабочему люду и тон сурового религиозного проповедника. Признавая только либо физический, либо умственный труд, он до конца жизни оставался тем, чем создало его демократическо-религиозное воспитание, хотя он и потерял веру в положительную религию. На его истории французской революции отразилось это мистическое народничество Карлейля, которое так роднит с ним Мишле ¹⁾.

Если бы в эту книгу я включил обзор того, как трактовалась французская революция в историко-философской литературе, здесь было бы теперь место для соображений Бокля, автора „Истории цивилизации в Англии“, рассмотревшего со своей особенной точки зрения вопрос о причинах французской революции, но этому я отвожу место в упоминавшейся уже работе о „французской революции в философии истории“ ²⁾.

„Cambridge Modern History“.

За неимением еще особенно важных единоличных общих трудов по истории французской революции ³⁾, мы рассмотрим теперь лишь одно коллективное издание, знакомство с которым (особенно с его библиографическими указаниями) хорошо

¹⁾ Историки фр. рев., т. I, стр. 147.

²⁾ См. выше, стр. 80 и др.

³⁾ Книга J. H. Rose „The revolutionary and Napoleonic era 1789—1815“ составляет часть „Cambridge Hist. series“ и, благодаря своему популярному характеру выдержала с 1844 года, когда вышла, ряд изданий (последнее было в 1907 г.). К числу таких же произведений относится история революции автором которой был Баха; она существует и в русском переводе, но еще раньше послужила основой для комбинлятивной работы на итальянском языке (Козловского).

характеризует бедность в этом отношении английской историографии, хотя в ней, впрочем, есть очень почтенные труды монографического характера ¹⁾. Поэтому, отступая от правила, которого я держался по отношению к более богатой немецкой литературе (см. выше стр. 6), я остановился здесь на одном английском издании.

В коллективной „Кембриджской новой истории“, задуманной лордом Актоном ²⁾, французской революции посвящен восьмой том в 900 страниц, разделенный на 25 глав, авторами которых было тринадцать историков, среди них один француз, профессор Поль Виолле, статью которого перевел известный Мэтленд. Из этих 25 глав внутренней истории Франции посвящено 15 (первые девять, затем 12—13, 16, 22—24), остальные десять — внешней политике, причем рассмотрены и восточный вопрос в эту эпоху (гл. II) и падение Польши (17). В конце тома имеются библиографические указания к отдельным главам и алфавитный указатель ³⁾. Библиография в этом издании очень полна, о чем может свидетельствовать то, что она занимает шестьдесят страниц одних названий. Интересно, что из сорока шести названных составителем авторов указано английских только пять, а именно, кроме уже нам известных Алисона и Карлейля, Крокер и Смит, из которых один издал лишь ряд статей, другой лекции ⁴⁾, и Роз, книга которого, кроме революционной эпохи, охватывает и наполеоновскую ⁵⁾. Ценен указатель источников и пособий к главе XXV „Европа и французская революция“. Английская библио-

¹⁾ А. Т. Махан. Influence of sea Power upon the french revolution and empire“ (два тома в 1833 г.; есть русский перевод). Труд вышел в свет в сотую годовщину начала франко-английской войны, в которой такая роль принадлежит флоту. См. ниже. Стр. 146.

²⁾ The Cambridge Modern History planned by the late Lord Acton. Volume VIII. The French revolution.

³⁾ Фамилия авторов Willert (о влиянии философии), Montague о правительстве, о Людовике XVI, о выборах в Генеральные Штаты, о Национальном Собрании, о конституции 1791 г., Higgs (о финансах при старом порядке и революции), Moreton Macdonald (о Законодательном Собрании, о Конвенте, о терроре, о термидорианской реакции), Oscar Browning (о внешней политике Питта до начала войны), Rich. Lodge (о восточном и польском вопросах), Dunn Pattison (об общей войне), Wilson (о морской войне), Fortescue (о директории), Holland Rose (о завоевании Италии, египетской экспедиции и второй коалиции), Fisher (о 18 брюмера), Viollet (о французском революционном законодательстве), Gooch (о влиянии на Европу).

⁴⁾ J. W. Croker. Essays on the French Revolution. 1857.—W. Smyth. Lectures on the French Revolution. 1840.

⁵⁾ См. в прил. 3 на стр. 140.

графия, по предметам, касающимся эпохи, также очень полна.

Хронологический об'ем в этом томе „Кембриджской новой истории“ — десятилетие 1789 — 1799 годов, кроме вступительных глав о философии XVIII века, внутреннем состоянии Франции (две главы) и царствовании Людовика XVI. В центре внимания — Франция, ее внутренняя и внешняя политика. Что касается Англии в этом периоде, то в предисловии прямо указано на второстепенность интереса, представляемого английской внутренней историей за это время, кроме того, что в ней относится к внешним выступлениям. Английская внутренняя политика сама по себе рассматривается до 1793 года в т. VII, после 1793 г. в т. IX; впрочем, влияние французской революции внутри Англии составляет значительную часть главы „Европа и французская революция“. То же делается в этой главе и по отношению к другим странам, но много короче, причем не сделало исключения из этого общего обзора и для восточной Европы в лице России и даже Греции. Для характеристики общего духа этой главы и даже всей книги интересно отношение автора к знаменитым „*Reflexions on the Revolution in France*“ Бёрка, оказавшим такое громадное влияние на взгляды, которые установились в английском обществе на французскую революцию¹⁾. Автор (Goosch) ставит Бёрку в упрек, что он не коснулся причин революции, особенно не затронув экономического положения Франции, что обвинял Национальное Собрание в стремлении произвольно все делать по новому, не зная содержания наказов 1789 г., что не оценил, как следует, состав этого собрания, в котором были почтенные и бескорыстные люди. Автор, однако соглашается, что Бёрк кое-что предсказал и верно (756).

Чего-либо нового, каких-либо неизвестных фактов, на основании совсем нового материала, каких-либо неизведанных точек зрения, с которых на революцию проливался бы совершенно новый свет, конечно, не может быть в труде, составленном неспециалистами, если только не касаться внешней политики, поскольку в ней затронуты были интересы Англии на Атлантическом океане и Средиземном море, по

¹⁾ Историки французск. револ., т. I, стр. 45 и сл.

отношению к которым, главным образом, и развивалось английское вмешательство в общеевропейские дела. Здесь мы имеем дело с английским освещением вопроса. В главах, ему посвященных, их авторы могли пользоваться уже архивным материалом и английскими трудами, иногда бывшими мало известными на континенте. Архивный неизданный материал в особенном изобилии указан для главы XV, в которой речь идет о морской войне (автор — Вильсон), в библиографии которой названа, и много изданных документов и как общих ¹⁾, так и специальных трудов, например, об отдельных лицах, об отдельных экспедициях и об отдельных эпизодах. Из внутренних отношений Франции особенно выдвинуты вперед в рассматриваемой книге финансовое ее положение до и во время революции, чему посвящены целые две главы, автором которых является экономист Генри Гиггс, сам, однако, ничего раньше не писавший об этом предмете. Выделение финансов из всех других важных вопросов социальной жизни, каковы вопросы административного строя, материального права и судоустройства, остатков феодализма и аграрных отношений, форм промышленности и положения рабочих, торговли и т. п., представляется несколько странным. Глава о революционных финансах занимает 20 страниц, а все, касающееся аграрного строя и отмены феодализма (в главе, написанной Виолле о революционном законодательстве) — только десять, и то же можно сказать об отделе, где речь идет о гражданском и уголовном законодательстве и о судебных порядках. Впрочем, в краткости, с какою рассматривается все революционное законодательство сравнительно с финансами, виноват Виолле, который даже привел литературу в гораздо меньшем количестве, чем Гиггс в своих двух главах о финансах. Такая же несоразмерность замечается и по отношению к старому порядку. Вся глава о нем заключает в себе около 30 страниц, тогда как об одних финансах написано более 20. Что значат при этом три-четыре страницы, отведенные на изображение крестьянского быта перед революцией? Русская историческая наука в данном отношении ушла много вперед сравнительно с английской, что явствует и из отсутствия в английской литературе и соответственных специальных

¹⁾ Среди них, конечно, например, книга Махан'а, названная выше.

работ. Как-то и библиография по старому порядку составлена автором (Montegue) бедно. Не малого удивления заслуживает пропуск среди указываемых общих трудов — Токвиля, который назван только в отделе о старом порядке.

Вообще социальная сторона французской революции разработана в „Cambridge Modern History“ очень слабо. В самом конце текста книги (стр. 790), где говорится о распространении революционного принципа равенства на разные сферы жизни, сказано, что этот принцип дал сильный толчок (*immense impetus*) социализму, что национализация земли часто появляется в тогдашних памфлетах и что в заговоре Бабёфа дело из теории ставилось практикой, но эти заключительные строки не опираются на фактический материал книги. О заговоре Бабёфа, конечно, в ней говорится (504 — 505), но только с чисто внешней его стороны, причем сущность коммунизма Бабёфа изложена буквально в строках десяти, в которых при том не все относится к вопросу о собственности. Что касается частных памфлетов коммунистического содержания, то о них из книги ничего не узнаешь: в ней нет даже имен Доливье и Ланте (или Л'Анжа ¹⁾). Равным образом, такие социалистические выступления, как Варле и Жака Ру, отмечены только несколькими строками (342) с такою характеристикой их деятельности, будто они стояли в связи только с настоящими подонками общества и „движимы были исключительно желанием беспорядка и грабежа“. В указателе, занимающем 16 страниц в два столбца очень мелкого шрифта, слова „коммунизм“ совсем нет, а при слове „социализм“ указана только последняя страница текста, о которой сказано выше. Во всей книге нет упоминания о пролетариате. Предисловие к этому тому „Кембриджской новой истории“ помечено апрелем 1904 г., каковой год значится и на обложке, между тем как тогда уже существовала „Социалистическая История“ Жюреса, совсем не значащаяся, однако, в числе пособий, но из которой авторы могли бы почерпнуть богатый материал для освещения социальной стороны революции. Замечательное сочинение Лоренца Штейна по истории социальных движений во Франции ²⁾, равным образом, отсутствует в общем перечне литературы, хотя работа эта была издана еще

¹⁾ См. Историю франц. револ., т. II, стр. 27.

²⁾ См. выше, стр. 13 и сл.

в середине прошлого века. Да и остальная литература по вопросу представлена одною книгою Эспинаса ¹⁾. Странны пропуски в библиографических указателях к отдельным главам даже таких трудов, как Левассёра по истории рабочего класса и т. п. Вообще при организации совместной работы составители этого издания менее всего думали о социально-экономической стороне революции.

Если в общем изложение в „Кэмбриджской новой истории“ не может быть названо односторонним в виду того, что в ней революция рассмотрена с разных сторон — интеллектуальной, политической, финансовой, дипломатической, военной, и т. п., указанный пробел делает весь том довольно-таки близким к односторонности в точке зрения. Это — исключительно точка зрения лиц, принадлежащих к зажиточным и образованным классам общества и очень мало интересующихся народною массою самою по себе, более имеющих в виду только государство и социальные и культурные верхи его населения, а не эту народную массу. Конечно, это — существенный недостаток, который мог бы быть оправдан только в том случае, если бы данный предмет совершенно не был разработан в литературе, но характерно, что в течение более, нежели ста лет, английская литература не продолжала традиции Артура Юнга, который в 1787—1789 годах путешествовал по Франции, изучая ее экономический быт и положение в ней народа, а в 1792—1794 годах опубликовал об этом двух-томный труд, долго служивший французам чуть ли не главным источником для познания аграрной и агрикультурной истории Франции в эпоху революции ²⁾.

И в области частных исследований, касающихся французской революции, английская историческая литература гораздо беднее немецкой и русской, что прямо доказывается хотя бы крайнею немногочисленностью того, что названо на английском языке в библиографических указателях к отдельным главам VIII тома „Cambridge Modern History“. Здесь все сводится к очень немногому, что не трудно даже перечислить. Таковы существующие и в русских переводах книги Морлея: 1) Вольтер, 2) Руссо и 3) Дидро и Энциклопедисты и статья его о Тюрго (в II томе „Critical Miscelannies“, 1886), био-

¹⁾ Espinas. La philosophie du XVIII siècle et la révolution. 1891.

²⁾ A. Young. Travels in France during the years 1787, 1788 и 1789.

графья Вольтера Tallentyre'a (1903) и работа Higgs'a о физоократах (1897), а также Стефенса о речах государственных людей и ораторах французской революции и о влиянии революции на Европу ¹⁾. Далее идут две работы Alger'a о Париже в 1789 — 1794 годах (1902) и об англичанах во французской революции ²⁾, этюд Беллока о Дантоне (1899), О. Browning'a о бегстве Людовика XVI ³⁾, указанная выше книга Mahan'a, труд Dowhen'a о влиянии революции на английскую литературу ⁴⁾, работа E. Smith'a об английских якобинцах ⁵⁾. Это почти все, что названо в упомянутых указателях ⁶⁾. Конечно, за время, протекшее от выхода в свет VIII тома Кэмбриджского издания этот список несколько пополнился преимущественно биографиями деятелей революции, каковы книги miss Bradley о Барнаве (1915), Warwick'a о Дантоне (1909), Marison'a о Таллейране (1915), к которым можно присоединить американскую книгу miss Eloise Ellery о Бриссо (Нью-Йорк, 1915). Характерно для английской историографии по французской революции сравнительное обилие биографических штудий из этой эпохи и, наоборот, уже отмеченное отсутствие интереса к внутренней истории страны в эту эпоху.

ГЛАВА XV.

Русские историки.

В книге русского автора, написанной для русских-же читателей, весьма естественно дать большее развитие главе о русской исторической литературе, касающейся французской революции. Во всех предыдущих главах предметом нашего рассмотрения были преимущественно лишь общие истории революционной эпохи, но как-раз таких трудов у нас очень

¹⁾ H. Morse Stephens. The principal speeches of the statesmen and orators of the french revolution. 1892. Два тома. Автор оставил еще неоконченную историю революции, которую не нужно смешивать с его „*Revolutionary Europe*“ (1902).

²⁾ I. G. Alger. Englishmen in the french revolution (1889).

³⁾ O. Browning. The flight to Varennes und other essays. 1892.

⁴⁾ The french revolution and the english literature. 1897.

⁵⁾ The english jacobins. 1881.

⁶⁾ Впрочем, в списках я обнаружил кое-какие пропуски, каковы: Veslay о Дантоне (1899), Bayard-Tuckergmann о Лафайете (1899) и Tower о нем же (есть франц. перевод. 1902).

мало, так что если-бы и по отношению к русской исторической литературе мы держались того же самого принципа, то нам пришлось бы ограничиться очень небольшим обзором. Но, повторяю, в книге русского автора для русских читателей позволительно выйти из указанных рамок и говорить также не только об общих трудах по истории революции, но и о работах более частного характера, которых, нужно заметить, у нас довольно много, не так, конечно, много, как у французов, но не меньше, по крайней мере, чем у немцев, во всяком случае значительно больше, чем у англичан. Недаром французские историки, — знакомые, впрочем, только с частью этой литературы, — говорят о существовании „русской школы“ (*école russe*)¹⁾ в деле изучения их великой революции, придавая самой „школе“ при том большое научное значение²⁾.

Особенность этой „школы“, если уже употреблять такой термин, в том, что она занималась именно не столько общими построениями истории революции, сколько частными исследованиями и вместе с тем особенно в области экономических явлений.

Автор настоящего историографического обзора сам принадлежит к этой „школе“ и даже был одним из первых по времени ее работников, сделав французскую революцию предметом своих специальных изучений. Кроме того, он постоянно следил за работами других русских историков, писавших о французской революции, давая о них отчеты и в русской, и во французской печати, так что у него накопился большой материал, который он уже дважды подвергал некоторой систематизации. Около 20 лет тому назад мною была напечатана в „Известиях С.-Петербург. Политехнического Института“ (т. I, 1904) большая статья (в 80 страниц), появившаяся и отдельной книгой под заглавием „Работы русских ученых

¹⁾ Это выражение (*école russe*) мы находим давно у некоторых французских писателей. В одной своей речи на с'езде работников по экономической истории Олар особенно подчеркнул, что в России „столько благоприятных умов предаются занятиям экономической и социальной историей освобожденной и освобождающей Франции“ и что русские студенты и студентки изучают, „для практического изучения исторической науки, французские сборники текстов, издания приходских наказов“. *La Révolution Française*, 14 juin 1913, стр. 276.

²⁾ Вот почему настоящая глава равняется своими размерами всем трем предыдущим главам, вместе взятым.

по истории французской революции". Через 8 лет после того в XVII томе „Исторического Обозрения“ (1912) я напечатал другую подобную работу, в 115 страниц, которую издал тоже отдельной книгой с заглавием „Эпоха французской революции в трудах русских ученых за последние десять (1902 — 1911) лет“. Краткие изложения содержания обеих этих работ были сделаны мною в 1902 и 1912 годах в Париже, одной в „Обществе истории французской революции“, другой — в „Обществе новой истории“. Оба реферата были помещены во французских изданиях: первый в „La Révolution Française“, редактируемой Оларом, второй — в „Bulletin de la Société d'histoire moderne. Обе названные книжки и кладутся в основу настоящей главы с добавкою к ним ряда страниц о том, что у нас выходило по истории французской революции за время уже после 1912 г. Понятно, что обеими книжками я пользуюсь только, как материалом, сильно сокращая изложение того, что в них говорилось об отдельных трудах. Ведь если бы я вздумал просто перепечатать обе работы, то получилась бы книга страниц в 200. Но и в том сильно сокращенном размере, какой принимает настоящая глава, она много превосходит то, что представляют собою в нашем обзоре главы о немецких и английских историях.

Русская историография французской революции не восходит дальше семидесятых годов прошлого столетия, т.-е. насчитывает не более пятидесяти лет своего существования. В другом месте я рассказал, в каких неблагоприятных условиях находилось у нас ознакомление с историей французской революции с самого начала до шестидесятых годов, когда университетский устав 1863 года и закон о печати 1865 г. несколько облегчили наши академические и цензурные стеснения ¹⁾. Долгое время русская публика должна была пробавляться только переводной литературой, поскольку, конечно, те или другие истории революции подходили под цензурные условия ²⁾.

¹⁾ Статья „Французская революция и Россия“ (в „Ниве“ за 1918 г. № 15, 17 и 18). Не считаю нужным останавливаться и на том, как французская революция изображалась в нашей учебной литературе.

²⁾ В обширном предисловии М. А. Антоновича к VIII тому русского перевода „История XVIII века“ Шлоссера собраны кое-какие данные по вопросу о том, что в свое время писалось о французских событиях в русских газетах 1789—1793, 1830 и 1848 гг.: писалось обо всем коротко, а о многих крупных фактах совсем даже умалчивалось. Тем менее еще

Даже при некотором облегчении печати в шестидесятых годах те или другие иностранные книги о французской революции не могли появляться в русском переводе. Это видно хотя бы из того, что переводы трудов Карлейля и Луи Блана не пошли далее первых томов, да и те, попав в Index librorum prohibitorum, были изъяты из продажи и из публичных библиотек. Тем не менее при малейшей возможности, особенно после 1905 года, переводилось все. Ни одна историческая литература не богата так переводами иностранных трудов по истории революции, как русская. Большая часть общих трудов, называвшихся в предыдущих главах, в настоящее время переведена, хотя не все переводы, к сожалению, стоят на высоте задачи. Из французских историков переведены почти все: Минье, Тьер, Ламартин, Луи Блан, Токвиль, Кизэ, Тэн, Сорель, Олар и Жорес, не считая более мелких и т. п. Один только Мишле не дождался перевода ¹⁾. Переведены также книги Зибеля (первая половина), Гейссера, Клаутского, Блоса, Кунова, Карлейля, Бакса и др.

Приступая к обзору русских работ, постараюсь быть исчерпывающе полным, по крайней мере, по отношению к тем из них, которые имеют более крупные размеры и значение более или менее самостоятельных исследований, не гоняясь за перечислением компилятивных статей или рецензий, которые помещались в наших толстых журналах. О каждом авторе я хочу говорить совершенно беспристрастно, отмечая и сильные, и слабые его стороны, если таковые представляются в его работе. В изложении при том я буду придерживаться

могли выходить на русском языке книги, рассказывавшие о политических бурях во Франции сколько-нибудь обстоятельно. „Лет тридцать тому назад, читаем мы в рекационной книге проф. Любимова о французской революции, — в наши студенческие годы в начале пятидесятых годов под каким великим запретом и в печати, и на кафедрах было у нас слово революция. В университетских библиотеках книги, где говорится о революции, были отставлены в особые шкафы. На сочинениях, авторы которых более или менее сочувственно относятся к событию, красовался ярлык „запрещено безусловно“, их не давали даже и профессорам. На простых повествованиях о происшествиях запрещенной эпохи, мемуарах, сборниках документов значилось: „запрещено для публики“. Эти не выдавались студентам и посторонним читателям. „Крушение монархии во Франции“. 1893. Стр. VII. Характерно и то обстоятельство, что первый наш настоящий профессор всеобщей истории, Грановский, встретился с большими затруднениями, когда задумал было прочесть курс по истории религиозной реформации XVI века, — куда же было думать о курсе по истории французской революции.

¹⁾ В счет не может идти небольшая книжка, состоящая из отрывков: Мишле, Кордельеры и Дантон (вып. 44 „Всемирной Литературы“).

преимущественно хронологического порядка, — в последовательности или первых выступлений авторов, или отдельных их произведений, хотя иногда придется отступать от этого порядка, когда это окажется необходимым для объединения под одной рубрикой однородных по содержанию работ.

Так как я имею в виду преимущественно научную квалификацию подлежащих рассмотрению трудов, то мне не предстоит делать характеристик политической физиономии авторов, кроме самых редких случаев, когда последняя слишком бросается в глаза и отражается на исторических взглядах особенно сильно. Poleмика тоже не входит в план последующего изложения, в котором я намерен выдержать общий объективный тон всего труда ¹⁾.

В. И. Герье.

Первым по времени, кто у нас начал серьезно заниматься французской революцией, был профессор Московского университета В. И. Герье, который уже в семидесятых годах писал кое-что об этой эпохе, читал о ней особый курс и

¹⁾ За исчерпывающую библиографическую полноту я не гонюсь, но все-таки не хочу пропустить две совсем не-научные книги по истории революции. Одна была издана еще в годы моей первой молодости какими-то Бертолотти общая история французской революции, оказавшаяся, однако, плохой компиляцией с прямо бросающимися в глаза ошибками. В конце семидесятых годов в „Русском Вестнике“ Каткова печатался ряд статей Варфорлова Кочнева, бывших озаглавленными „Против течения“ и имевших форму диалогов на тему о французской революции. Под псевдонимом автора многие, помнится, усматривали тогда гр. Д. А. Толстого, реакционного министра народного просвещения, но потом обнаружилось, что это был проф. физики в Моск. университете, тоже слуга реакции, Н. А. Любимов. В переделанном виде (не в диалогической уже форме) эта работа вышла в 1893 году в свет, как отдельная книга „Крушение монархии во Франции“. Любимов нельзя отказать в большой начитанности, в мемуарах и исторических сочинениях, но это — работа дилетанта, а не специалиста, притом, как сам же автор предупреждает, написанная ради предостережения русского общества и особенно правительства относительно опасности подражания французам, как ни старается автор в то же время представить свой политический памфлет серьезным ученым трактатом, а не тенденциозным произведением. На этой переделке прежних диалогов сказалось уже и влияние Тэна. Более подробно об этой книге я говорил на стр. 29—33 „Работ русских ученых“. Некоторую ценность в ней имеет то, что она основана на приобретенной Публичной Библиотекой в 1886 году рукописи „Examen sur la Monarchie Française, sa décadence et sa subversion“ эмигранта d'Aguila. Относящаяся к этой части своей работы главу Любимов издал раньше брошюрой под заглавием „Первые дни французской революции по ненаданным запискам очевидца“.

делал ее предметом семинарских занятий со студентами ¹⁾. Я был тогда (1870—1873) его слушателем и начал под его руководством свои научные занятия по истории Франции в XVIII веке. Кандидатское мое сочинение было о французских крестьянах с древнейших времен до 1789 года ²⁾. С Герье я и начинаю свой обзор русской историографии по французской революции.

У В. И. Герье, прежде всего, есть ряд работ, интерес которых сосредоточен, главным образом, на политической стороне революции и именно по отношению не столько к созданным ею учреждениям, сколько к идеям, руководившим ее деятелями, а также им не мало было написано и по историографии французской революции. К первой категории этих работ относятся: 1) Статья в III томе „Сборника государственных знаний“ Безобразова, под заглавием „Республика или монархия установится во Франции?“ (1873); 2) „Понятие о народе у Руссо“ (Русская Мысль, 1882); 3—5) „Учение о нравственности и социальные утопии Мабли“ (Русск. Мысль, 1883); „Французский этик и социалист XVIII века“ (Р. М., 1883) и „Политические теории аббата Мабли“ (Вестн. Евр., 1887), три большие статьи, соединенные в переработанном виде во французской книге 6) *L'abbé de Mably moraliste et politique* (1886); 7) „Понятия о власти и народе в наказах 1789 г.“ (1884). К этой же категории следует отнести статьи Герье в „Энциклопедическом Словаре“ Брокгауза-Ефрона, каковы „Мабли“, „Наказы“, „Руссо“ (с особым параграфом о влиянии Руссо на французскую революцию), и отчасти „Террор“, где между прочим рассмотрена „эволюция принципа террора“. В другой, чисто историографической серии статей проф. Герье особое место принадлежит целому ряду этюдов о Тэне, первый из которых появился в печати в 1878 году, последний в 1902 ³⁾.

Уже в первой из названных статей намечена была автором основная тема всех следующих за нею работ первой категории. Заглавие статьи: „Республика или монархия уста-

¹⁾ О нем см. мою статью „Памяти двух историков“ (Анналы, т. I) и некролог В. И. Герье (Голос Мин. за 1923). То, что дается дальше, извлечено с большими сокращениями из двух названных выше книжек: „Работы русск. историков“, стр. 6—21* и „Эпоха фр. революции“, стр. 81—85.

²⁾ Издано было в переработанном виде в 1881 году.

³⁾ Историки фр. рев., т. II, стр. 69 и ниже стр. 156.

новится во Франции?" внушено было автору, вероятно, внутренним состоянием Франции в 1873 году, когда писалась эта статья, на самом же деле в ней речь идет не о будущем, а о прошлом Франции. В ней рассматривается ход политического развития Франции, приведший ее к революции в 1789 году и к установлению в ней республики в 1792 году, после чего Франция на долгое время была лишена сколько-нибудь прочного политического режима.

„Старая Франция“, говорит Герье, „достигла в конце XVIII века того момента, когда под феодальным покровом незаметно созрел совершенно новый организм. Ее можно сравнить с колоколом, который уже совершенно отлит, но которого еще не видно из-за глиняной формы“. Эта форма была разбита в ночь 4 августа 1789 г.: феодальный покров, отделявший новую Францию от старой, был сорван Национальным Собранием. Но это окончательное объединение французского государства и французской нации совершалось не во имя королевской власти, а во имя идеи верховной власти народа, во имя народовластия, т. е. республиканского принципа. С этой точки зрения Герье смотрит на революцию, как на разрыв между принципом королевской власти и дальнейшим политическим развитием государства. По его мнению, „самый характер и судьба французской монархии в XIX веке свидетельствуют о торжестве, которая удержала республиканская идея провозглашением принципа народовластия“, и приводят к тому выводу, что „ходом своей истории Франция предназначена быть республикой“. Дело в том, что только когда короли отказались руководить Францией на пути политического прогресса, принцип народовластия принял во Франции враждебный монархии оттенок и сделался боевым орудием литературы и публицистики в борьбе с монархией (63). Историей этого самого принципа народовластия во Франции и занялся автор в названных выше работах, значение которых заключается в следующем.

Во-первых, Герье принадлежит заслуга в деле изучения аббата Мабли, как политического писателя. Об этом деятеле французской литературы XVIII века довольно много писали в прошлом столетии, как об историке и социальном утописте, но как о политическом писателе, о нем до появления статей и книги Герье почти совсем не вспоминали. Между

тем, по верному замечанию последнего, политическое учение Мабли особенно должно было бы интересовать историков. Между Монтескье и Руссо, продолжает он, Мабли занимает особое место и более всего приближается к системе, осуществленной в 1789 году. Анализ политической теории Мабли приводит автора к тому заключению, что конституция 1791 года ближе всего соответствует как-раз идеалу этого писателя, в котором, кроме того, он видит одного из предшественников „пуританского якобинизма“ времен французской революции. Эта работа Герье возвратила аб. Мабли то место, которое по всему праву тот занимал в истории революции еще во мнении современников, мало в данном случае принимавшемся в расчет историками XIX века.

Другая интересная работа того же историка, это — о наказах 1789 года, в которой он подводит итоги под тем, какие понятия о власти и народе высказывались разными слоями французского общества в наказах депутатам в Генеральные Штаты 1789 г. До последних десятилетий XIX века историки революции пользовались наказами тенденциозно, ибо каждый вычитывал в них то, что хотел, как это делали Шассен (*Le génie de la Révolution*, 1863) и Понсен (*Les cahiers de 1789*, 1866), представители двух диаметрально противоположных воззрений на переворот 1789 года, из которых каждый принялся за изучение наказов, чтобы найти в них точку опоры для политической программы, им предлагавшейся ¹⁾. Оба автора писали почти одновременно, под конец царствования Наполеона III, когда снова стала пробуждаться во Франции политическая жизнь и в общей оппозиции против избранника плебисцита стали выдаваться две различные тенденции — либеральная (Понсен), и радикальная (Шассен). Они делают из одного и того же материала противоположные выводы. „Однако, замечает Герье, оба исследователя правы с известной точки зрения. Легко найти в несметных столбцах цитаты для доказательства того, что якобинцы 1793 года осуществляли волю наказов; не трудно, с другой стороны, всякому непредубежденному читателю убедиться в том, что составители наказов вообще не хотели и не предвидели той революции, которая на них обрушилась“ (54).

¹⁾ О них на стр. 150 второго тома „Историков франц. рев“.

Разгадку автор видит в том, что, за „исключением небольшого числа доктринеров, и сами составители наказов, а также огромная масса населения, от имени которой сочинялись указы, не знали, чего хотели, и не понимали ни свободы, ни революции“ (55). Сам Герье применил к изучению наказов, так сказать, статистический метод, в смысле подсчета разных ответов на одни и те же политические вопросы. Он здесь обратил большое внимание на составителей наказов, особенно от имени сельского населения, и пришел к тому выводу, что, в конце концов, в наказах выразились точки зрения лишь более интеллигентного класса. Наказы, говорит он, „были делом самого влиятельного класса тогдашней Франции, всех тех, которые считали своим призванием говорить, писать и действовать во имя своего народа; само правительство искало в них выражение воли Франции, и Генеральные Штаты должны были руководиться ими в своей преобразовательной деятельности; и потому нельзя их не считать важнейшим источником для истории и оценки французского общества при переходе к новой политической жизни“ (65—66). В частности, Герье преимущественно занимает вопрос, какие же понятия о власти и о народе или о „нации“, в новом понимании слова, имели в 1789 г. руководители общественного мнения во Франции, представлявшие при этом довольно несходные между собою направления политической мысли. Самая задача всего его исследования заключалась в анализе, как он сам выражается, „одной из самых могущественных и популярных идей нового времени, идеи нации или народа“ с целью указать на роль этой идеи в истории „одного из великих народов, на судьбу которого она имела решительное влияние“. В XVIII веке „правительство, говорит он, повторяя основную мысль своей статьи о республике и монархии во Франции, — было бессильно исполнить свою историческую задачу и преодолеть затруднения, обуславливавшие собою застой, тогда как спасительная сила, способная двинуть Францию на новый путь развития, зародилась в обществе — идея нации. Со временем она все более овладевала умами и, преобразив общество, подготовила возможность реформы в самых существенных для политической жизни отношениях“ (2). Герье рассматривает здесь все, что, по его мнению, эта идея сделала в истории Франции: „она дала возможность довершить территориаль-

ное объединение страны, заменила внешние связи, которыми соединялись различные области и провинции, духовным сознанием национального единства". Ее торжеством, далее, „обуславливалось, кроме того, социальное объединение французского общества, в котором предшествовавший феодальный строй как будто увековечил отчуждение и рознь классов". Наконец, говорит еще Герье, идея нации заключала в себе зачаток объединения политических элементов Франции; в ней устранялся тот антагонизм между правительством и обществом, который был одной из главных причин застоя, и представлялась возможность сочетания их в высшей политической форме". Более всего успеха достигла Франция в двух первых отношениях, наименее же удовлетворительным оказался результат, достигнутый в политическом отношении. Вместо гармонического объединения в высшей форме, произошла принципиальная борьба, вследствие которой самый национальный элемент прежнего политического развития Франции — монархия, был подломан, а новая форма надолго сделалась предметом исканий и опытов. Общий вывод Герье из детального анализа политических понятий наказов отличается пессимизмом. С очень „сбивчивыми представлениями о нации и о правах нации составлялись указы главных баляжей и городов Франции и выехали в Версаль депутаты для того, чтобы устроить Францию! Под влиянием таких представлений слагались у избирателей и депутатов мнения о цели представительного собрания, созданного правительством, и об учредительной власти Генеральных Штатов. Односторонность, говорит он далее, смутность и противоречивость идей о народе и народовласти, распространившихся в самых разнообразных слоях тогдашнего французского общества, и влиянием их на дальнейший ход событий обнаружались бы еще полнее, если бы мы проследили по наказам, какой идеал государственного порядка носился перед воображением их составителей, и, в частности, остановили наше внимание на мнениях о законодательной власти и способах издавания законов, о праве вотировать налоги и о финансовом управлении, о разделении властей и разграничении их функций и т. п. Во всех этих вопросах, говорит Герье, мы встретили бы „ту же туманность и сбивчивость понятий, тот же антагонизм не только политических воззрений или партий, но противо-

положных намерений и противоречивых принципов у одних и тех же лиц, в одной и той же программе“ (126—127). С особенною резкостью отзывается он о дворянских наказах (131). Такой характер наказов автор объясняет политическою неопытностью французского общества, причины которой „были многосложны и глубоко коренились в его истории“, в „давнем и полном отчуждении его от всякого практического дела, от всякой серьезной ответственности, от всякого служения общему интересу и благу“, в розни между привилегированными и массой населения, наконец, и в характере самой власти, в сохранении ею феодального характера. „Эта феодальная власть не была в состоянии оценить значение национальной идеи и воспользоваться ею для своего преобразования в национальную монархию“ (140—141). Таков анализ политических идей, которые мы находим в наказах 1789 г.: можно не соглашаться с критикою автора, но следует принять его метод и те фактические обобщения, которые вытекают из применения его метода. По крайней мере, в соответственном месте третьего тома своей „Истории Западной Европы в новое время“ я воспользовался главными выводами из рассмотренной работы, как совпадающими, по моему мнению, с историческою действительностью.

Интересны и статьи Герье о Тэне, как об историке французской революции¹⁾. Автор—большой знаток „Происхождения современной Франции“. То, что в статьях о нем имеет значение критики, отличается в общем благосклонностью, не мешающею, однако, серьезности тех упреков, которые здесь делаются Тэну. Признавая его сочинение крутым переворотом в разработке истории революции, приложением к революции на всем ее протяжении научного метода Тэна: анализа, т. е. разложения общих понятий на составные элементы или факты и размножения фактов, критикою классического духа ораторского рационализма, заменяемого научным духом, Герье сам должен был, однако, сознаться, что если большинство критиков усмотрело в сочинении Тэна только политический памфлет, то повод к этому дал сам же Тэн, но только не

¹⁾ Ипполит Тэн, как историк Франции (Вестник Европы, 1878, кн. 4, 5, 9 и 12); метод Тэна (там-же, 1889, кн. 9); Ипполит Тэн и его значение в исторической науке (там-же, 1890, кн. 1 и 2); Ипполит Тэн и истории леббинцев (там-же, 1894, кн. 9—12); Демократический цезаризм во Франции (там-же, 1895, кн. 6 и 7); статья о Тэне в Энциклоп. Словаре Брокгауза-Ефрона.

„своим стилем и своими художественными приемами“, как полагал Герье, а именно тем, что все внимание Тэна было поглощено, как находил сам Герье „оборотной стороной дела“. Она-то и позволила составить мнение о „Происхождении современной Франции“, как об историческом памфлете, несмотря на массу драгоценного материала, собранного Тэном, и на верность многих его приговоров и характеристик.

Впоследствии свои работы Герье издал в виде двух книг. Одну из них он озаглавил „Идея народовластия и революция 1789 г.“, соединив здесь воедино все то, что им раньше было помещено в журналах. Также и статьи, о Тэне он соединил, но уже в переработанном виде в большую книгу, под заглавием „Французская революция 1789—1795 г. в освещении И. Тэна“. В предисловии он говорит, что „освещение, данное Тэном французской революции, имеет в настоящее время для русских читателей новый интерес, являясь в то же время освещением и недавно пережитых ими событий“¹⁾. В частности, он указывает на то, что и у нас „уже намечалась сила, собиравшаяся опутать Россию своими сетями на подобие якобинской организации“. Эту силу он усмотрел не в чем ином, как в конституционно-демократической (к.-д.) партии: „что могло бы, прибавляет он, выйти из ее стремлений, об этом подробно свидетельствуют два тома Тэна о хозяйничании якобинцев во Франции“. Значение Тэна, в понимании автора, заключается в том, что он впервые выяснил роль революционного духа, „обуявшего руководящие классы французского общества“, тогда как прежние историки причину революции видели „только в разных недостатках старого режима, не принимая во внимание, что эти недостатки требовали реформ, а не революции. И на последних страницах своей книги Герье называет труд Тэна подвигом, в котором содержится исторический и политический урок. Тот, кто полагает, что *historia scribitur non ad probandum*, конечно, не может согласиться с такою точкою зрения, к какой бы политической партии сам он ни принадлежал. Одним из крупных дополнений к прежним статьям о Тэне является в новом труде Герье глава под характерным названием „Якобинский суд над Тэном“, где речь идет об извест-

¹⁾ Книга издана в 1907 г.

ной книге Олара против Тэна и о замечаниях Кошена на критику Олара ¹⁾). Критику эту нельзя не признать страстной, но в ней много и верного. Чтобы порицать Тэна за очень и очень многое, не нужно быть якобинцем; можно относиться к якобинству вполне отрицательно и находить в то же время крупные дефекты в изображении Тэном французской революции.

Эта книга Герье, очень солидная по своим размерам (без малого 500 страниц текста) и снабженная портретом Тэна и 32 рисунками как в тексте, так и на отдельных листах, распадается на 7 глав. Первая посвящена „историкам революции“ с подразделением на параграфы о предшественниках Тэна и о самом Тэне. Следующие главы — о „старом порядке“, об „анархии“, о „завоевании Франции якобинцами“ и о „владычестве якобинцев“ и представляют собою изложение взглядов Тэна на революцию. Затем следует упомянутая глава „Якобинский суд над Тэном“ и заключительная глава под названием „Якобинцы в исторической перспективе“.

Автор вообще много занимался Тэном, о чем между прочим свидетельствует и обстоятельная статья его об этом писателе в 67 полутоме „Энциклопедического Словаря“ Брокгауза-Ефрона, вышедшем в свет в 1902 году. В 82 полутоме того же издания 1904 года Герье поместил большую статью „Якобинцы“, разумея под последними и членов клуба этого имени, и особую политическую партию, или „толк“, как он ее здесь квалифицирует. В первой из этих статей он вкратце формулировал взгляд свой на „крутой переворот в разработке революции“, произведенный Тэном: „все прежние — из более известных — историй этого события можно было причислить к ораторской, патриотической историографии“, Тэн же, „приложил к революции, на всем ее протяжении, свой научный метод“. Если большинство критиков видело в произведении Тэна только исторический памфлет, то, по объяснению русского его поклонника, Тэн сам „мог подать к этому повод своим стилем и своими художественными приемами“. Герье подчеркивает и то, что Тэн, увидев в якобинце центральную фигуру французской революции, прежде всего нашел нужным объяснить психологически этот тип для

¹⁾ Историки фр. рев., т. II, 110—111.

понимания самой революции. С такой точки зрения написана и словарная статья о якобинцах, взятых именно, „как партия и политический тип“, пережившие якобинский клуб. Прежние историки больше занимались членами последнего, чем якобинцами в более широком смысле, и в особую заслугу Герье ставит Тэну именно то, что он высказал мысль о такой-же необходимости анализа якобинизма для понимания революции 1789 г., какая давно признана по отношению к пуританизму в истории английской революции середины XVII века¹⁾.

Как человек, обнаруживший большую начитанность в источниках и в литературе Герье, мог бы дать русским читателям совершенно самостоятельную историю французской революции, а не „в освещении“ только Тэна. С другой стороны, прежние свои статьи о Тэне, в которых очень силен был критический элемент, он мог бы только просто собрать в одну книгу о Тэне, как историке революции, но он, к сожалению, предпочел переделать их в книгу о революции по Тэну. Рецензент в июньской книге „Русск. Бог.“ 1911 г.²⁾ совершенно верно заметил, что в ней Герье сократил критическую часть своих прежних очерков. Автор, читаем мы в ней, „оказал несомненную услугу русскому обществу, познакомив его с сочинениями Тэна в роде очерков, появлявшихся в журнале по мере выхода в свет отдельных томов работ Тэна и давших обстоятельное изложение и разбор этого замечательного произведения. Теперь автор собрал свои очерки в одну книгу. Можно было бы приветствовать это издание, ... если бы автор перепечатал свои очерки без изменения. К сожалению, он сократил критическую часть своих очерков“ и т. д. На меня чтение „Французской революции в освещении И. Тэна“ произвело такое же впечатление: хорошо знакомый с прежними статьями Герье, я одно из них узнавал, как когда-то читавшееся и даже перечитывавшееся мною, но другого, что вспоминалось из прежних статей, наоборот, не находил. Излагать или разбирать здесь мнения, высказанные в рассматриваемой книге, значило бы излагать и раз-

¹⁾ Ссылаюсь на названную выше книгу самого Герье об аббате Мабля, уже в заголовке которой мы находим выражение „jacobinisme puritain“.

²⁾ За те годы в „Русск. Бог.“ было три мои статьи по историографии французской революции (о книгах Олара, Кропоткина и Тарле), но эта рецензия принадлежит не мне, вопреки некоторым предположениям. Свое мнение о книге я высказал в „Вестнике Европы“.

бирать взгляды, главным образом, Тэна, а не самого ее автора: до такой степени русский ученый здесь является лишь истолкователем Тэна. Более ярко выступают собственные воззрения автора только в полемических заявлениях его по адресу русских „левых“ партий, что относится уже к области партийной публицистики, а не исторической науки ¹⁾).

В книге, как было уже упомянуто, есть глава под названием „Якобинский суд над Тэном“, вызванная тою критикою истории французской революции, какую представляет собою работа Олара „Taine historien de la révolution française“. Признавая этого ученого „одним из первых знатоков истории французской революции“, Герье в то же время назвал его в указанной главе „официальным представителем господствующей якобинской легенды“ ²⁾ и противопоставил ему архивиста Кошена, автора небольшой книжки „Кризис революционной истории“ ³⁾. Сам же Герье прежде давал образцы научной критики Тэна.

Закрываю эти страницы о проф. Герье указанием на его роль, как учителя под руководством которого начали работать некоторые историки французской революции. Кроме меня, из лиц, занимавшихся эпохой революции, под руководством Герье начали свою научную деятельность еще несколько человек. Среди них назову прежде всего П. Н. Ардашева, о котором, как об историке предреволюционной Франции, речь впереди. Думаю, что Р. Ю. Виппер, тоже ученик Герье, во время своего профессорства в Одессе внушил одному из своих студентов, Хо-

¹⁾ Рецензент „Р. Б.“ следующим образом характеризовал книгу с этой стороны: „с момента появления статей проф. Герье в „В. Е.“ прошло много времени, и русское революционное движение в 1905—6 г.г. также сильно отразилось на мировоззрении автора, как в свое время парижская коммуна 1871 г.— на мировоззрении Тэна. Более или менее спокойный историк обратился в партийного публициста консервативного лагеря“. В своей заметке о книге в „В. Е.“ я сопоставил ее в этом отношении с „Крушением монархии во Франции“ Любимова. Прибавлю теперь, что в свое время Герье был очень суровым критиком произведения Любимова в своих о нем отзывах, когда при нем упоминали об статьях Варфоломея Кочнева (см. выше стр. 150).

²⁾ Олар, говорит автор еще в одном месте (стр. 447), поставил себе задачей утвердить в истории ту догму, во славу которой он написал свою „Политическую историю французской революции“, а именно, что „якобинцы были спасителями Франции и действовали в интересах французского народа“. „От защитника якобинцев, прибавляет он, трудно было ожидать справедливого суда над Тэном“ (452).

³⁾ А. Cochin. La crise de l'histoire révolutionnaire — Taine et M. Aulard. 1909. Об этой книжке см. в моей заметке в „Вестнике Европы“.

рошуну, написанную им книгу о дворянских наказах в 1789 г. К академической же инициативе Герье позволяю себе отнести, по крайней мере, частично, такие работы, как „Французский театр и философия XVIII века“ И. И. Иванова, „Новые работы русских исследователей о земледелии и земледельческом классе во Франции перед революцией“ М. М. Хвостова, „Жозеф де-Местр, как историк французской революции“ А. Н. Савина¹⁾.

Н. И. Кареев²⁾.

На второе по времени место в этом обзоре мне придется поставить самого себя, раньше И. В. Лучицкого и М. М. Ковалевского, которые начали свои работы по французской революции, как увидим, несколько позже, чем я. Свою первую работу, сохранившееся у меня изложение знаменитого „Путешествия по Франции“ Артура Юнга как раз в годы революции, я отношу к учебному 1872 — 1873 г., когда я работал в семинарии Герье, и тогда же написан был мною „Очерк истории французских крестьян“ (кандидатское сочинение), изданный только в 1881 г., через два-три года после моей магистерской диссертации, напечатанной в конце 1878 года. Над нею я работал, между прочим, на основании материала, хранящегося в парижском Национальном архиве, бывши первым русским, занимавшимся в нем документами революционной эпохи. По окончании университетского курса в 1873 году, в течение пятидесяти лет, я более или менее не прекращал своих занятий французской революцией среди всех своих других работ. Кроме того, по эпохе я читал курсы и вел со студентами Петербургского Университета и со слушательницами Высших Женских Курсов семинарские занятия, дававшие в некоторых случаях печатные результаты. Наконец, своей задачей я считал также осведомлять русскую публику относительно новых исторических работ по

¹⁾ Две последние работы появились в „Изд. Московского Истор. О-ва“, состоявшего под председательством Герье.

²⁾ Подробнее о своих работах и говорил в уже называвшихся „Раб. русск. уч.“ (22 — 29) и в „Эпохе фр. рев.“ В первой из этих книжек я перепечатал более подробно содержание своей магистерской диссертации, почти дословно изложив ее тезисы (26 — 28).

французской революции ¹⁾ и сообщать французским читателям о том, что делали для ее изучения русские историки ²⁾. Правда, эта более или менее постоянная работа не была всегда одинаково интенсивной и часто отходила на второй план, когда на очереди стояли другие темы. Моя магистерская диссертация „Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века“, том в XXII + 491 + XXXIX стр., вышла в свет в конце 1878 года, будучи помечена следующим годом, но дождалась французского перевода только через двадцать лет ³⁾, хотя и сделалась известною во Франции тотчас же по выходе в свет ⁴⁾. Над нею я работал в Париже, пользуясь Национальной библиотекой и Национальным архивом, из документов которого сделал много извлечений, напечатанных в подстрочных примечаниях и в приложениях. Книгу свою я разделил на семь глав: I. Сеньеры и крестьяне. II. Буржуазия и крестьянство. III. Государственная власть и крестьянство. IV. Состояние крестьян перед революцией. V. Постановка крестьянского вопроса. VI. Проекты и попытки реформ. VII. Выборы в Генеральные Штаты и наказания 1789 года. VIII. Ре-

¹⁾ Книга Сореля „Европа и французская революция“ была переведена по моей инициативе и издава с моим предисловием. Перевод книги Шерэ „Падение старого порядка во Франции“ появился в издании под моей редакцией.

²⁾ Кроме двух обзоров, названных выше, стр. 147—148, статьи в „La Rev. Française“: „Un nouveau livre russe sur l'histoire des ouvriers français pendant la révolution“ (1912), „Deux opinions contraires sur l'histoire agraire de la France à l'époque de la révolution“ (1913) и мелкие заметки.

³⁾ N. Karéiev. Les paysans et la question paysanne en France au dernier quart du XVIII siècle 1899.

⁴⁾ По предложению Фюстель де-Куланжа я составил краткое изложение своей книги по французски, которое он доложил в Академии нравственных и политических наук и которое было напечатано в „Sciences et travaux de l'Academie des sciences morales et politiques“ (1879, août—septembre). Еще более для ознакомления французоз с книгой сделал бывший тогда директором Нац. Архива Альфред Мори (Maury), знавший по-русски и давший изложение моей книги, очень подробное (на двух печатных листах) в трех выпусках „Journal des Savants“ (1880, juillet, août, septembre). Бстати упомяну, что свою диссертацию я послал, через М. М. Ковалевского, Карлу Марксу, который о ней написал письмо, опубликованное в „Былом“ за 1923 год. Особенно французский перевод, хотя и запоздалый, содействовал знакомству заграничных ученых с моей книгой. У меня даже было намерение написать статью о возражениях, делавшихся мне по некоторым пунктам французскими авторами, в том числе Жюресом в первом томе „Histoire Socialiste, о чем я упоминаю на стр. 222 II тома настоящего труда. Бывали и курьезные суждения. Один критик, M. Zablet, в „Journal des économistes“ (15-avr. 1900) называет меня „аграрием“, будто бы проповедующим la prédominance de la classe la plus inerte, la plus inactive, la plus routinière: „если крестьяне, говорит он, несчастны, то, может быть, главную причину этого нужно видеть в их собственных недостатках“.

шение крестьянского вопроса. Кроме того, на последних 14 стр. изложены были общие выводы, которые в более еще сокращенном виде были повторены в „тезисах“, приготовленных для публичного диспута. Некоторые из этих выводов я имел право считать новыми, как и значительную часть лежавшего в их основе материала, извлеченного из архивных документов или из революционных публикаций, которыми не пользовались прежние историки этой эпохи, вообще мало входившие в детали того, что я назвал „крестьянским вопросом“. Здесь не место повторять мои взгляды, тем более, что кое-что в них пришлось бы теперь, через сорок лет, протекших с появления в свет моей книги, изменить и дополнить, но так или иначе до выхода этой книги многие стороны предмета были освещены чрезвычайно мало, и только впоследствии он стал более усиленно разрабатываться в особенности такими русскими учеными, как И. В. Лучицкий и М. М. Ковалевский, более всего и повлиявшие на развитие позднейших моих взглядов на некоторые вопросы экономической истории Франции в эпоху революции. Самое положение предмета в науке было таково, что мне в предисловии пришлось, так сказать, оправдывать возможность все-таки взяться за его разработку ¹⁾, которую критика признала удачною ²⁾. Главные выводы из своей диссертации я повторил в III томе своей „Истории Западной

¹⁾ Пересматривая теперь библиографический список того, чем я пользовался, я могу назвать очень немногое, что имелось в тогдашней литературе более специально относившегося к моей теме: Babeau. Le village sous l'ancien régime, книга, вышедшая в один год (1878) с моей. — Doniol. La révolution française et la féodalité (1874). — Lavergne. Economie rurale de la France depuis 1789 (1869). — Mauguin. Etudes historiques sur l'administration de l'agriculture en France (1877 — 1878). — Poncius. Les cahiers de 1789 (1866). — Semichon. Les réformes sous Louis XVI (1876). Названные книги упоминаются в т. I „Историков франц. рев.“. Большая часть этих немногих книг, не всегда имевших прямое отношение к моей теме, вышла в свет в семидесятих годах. Ни общие истории революции, ни истории крестьян (Voulemère, Du Cellier, Dareste de la Chavanne, Doniol, Leymarie), большую частью пятидесятых годов, не дали мне почти ничего; в последних наименее обращено было внимание на XVIII век. Привожу эту справку для характеристики тогдашнего состояния вопроса о крестьянах в эпоху революции в самой французской историографии.

²⁾ В числе писавших о книге были П. Л. Лавров, под псевдонимом П-ский, в „Деле“ за 1879 год; статья перепечатана в „Собрании сочинений“ (вып. IX) и Л. Тихомиров, под псевдонимом П. Кольцова, в том же „Деле“ за 1880 год. Особенно для меня был важен отзыв А. Морис: „автор не побоялся предиривлять то, чего не сделали французы; в его книге предмет был подвергнут рассмотрению с наибольшею обстоятельностью, вниманием, .. и французы могут узнать из нее очень много“.

Европы в новое время" и в популярной книге „Французские крестьяне и рабочие в эпоху революции“¹⁾).

К более интенсивным занятиям историей французской революции я вернулся в начале текущего столетия, причем главными их темами были экономическое состояние Франции в эту эпоху и парижские секции революционного времени. По первой теме мною были написаны: „Что сделано в исторической науке по вопросу о положении французских рабочих перед революцией 1789 г.“ (1911) и две серии „Беглых заметок по экономической истории Франции в эпоху революции“ (1913 и 1915), вместе составляющих 20 печатных листов. Все три книжки были первоначально напечатаны в „Известиях Спб. Политехнического Института“, в котором я тогда преподавал. От занятий экономической историей, шедших параллельно с ведением семинария в университете, где главным предметом были, с 1906—7 года, экономические требования наказов 1789 г., меня отвлекала другая тема: история парижских секций. Им до того времени было посвящено только одно специальное исследование E. Mellié „Les sections de Paris pendant la révolution“, вышедшее в 1898 году, но в свое время мало обратившее на себя внимания, несмотря на важность вопроса о роли парижских секций в революции.

Для работы над сохранившимися архивными документами парижских секций я ездил несколько раз в Париж на зимнее вакационное время и один раз весной, что дало мне возможность собрать и издать ряд таких документов в „Записках Академии Наук“ под заглавиями: „Неизданные документы парижских секций“ (1912) и „Неизданные протоколы парижских секций 9 термидора II года“ (1914). Я намеревался и впредь работать в Национальном архиве, куда заглядывал еще в июле 1914 года, недели за полторы до взрыва мировой войны. На основании как архивного, так и печатного материала, я опубликовал ряд исследований, в которых тоже напечатал кое-что из неизданных документов, не вошедших в указанные сборники. Вот названия этих работ: 1) „Парижские секции времен французской революции“ (1911; с шестью расширенными планами Парижа и с выдержками из секционных бумаг). 2) „La densité de la population des différentes sections“.

¹⁾ Должна скоро появиться в издательстве „Сеятель“.

de Paris pendant la révolution" (1912). 3) „Революционные комитеты парижских секций“ (1913; с приложением неизданных документов). 4) „Роль парижских секций в перевороте 9 термидора“ (1914). 5) „Было ли восстание 13 вандемьера III года роялистическим?“ (1914; в сборнике в честь проф. Бузескула). 6) Клише парижских секций (1914; в „Русском Библиофиле“). 7) Борьба парижских секций против декретов 5 и 13 фрюктидора III года (1915; в „Журн. Мин. Нар. Пр.“ и отдельно). 8) Политические выступления парижских секций во время великой революции (1912) и 9) „Коммунистическая петиция Жака Ру и секции Гравилье“ (1916; обе статьи в „Русск. Зап.“, заменявших „Р. Бог.“). 10) Реакция в парижских секциях после первого прериаля III года (1916; в Моск. „Истор. Изв.“). Все эти работы должны были служить предварительными этюдами для большего общего труда о секциях, бывшего мною задуманным и требовавшего еще дальнейших исследований при помощи новых архивных источников, которые уже были мною намечены. Пока я только успел воспользоваться результатами своих изысканий в популярной „Великой французской революции“, вышедшей в свет в 1918 г. в приложении к журналу „Нива“¹⁾.

Здесь не место излагать все эти результаты, но укажу только на некоторые особенно важные пункты. Во-первых, мне удалось, я думаю, представить подробную и ясную картину того, что делалось в парижских секциях во время низвержения Робеспьера, и того, как отнеслись секции к конфликту между Конвентом и Коммуной. Вторым, еще более важным пунктом, я считаю тот вывод, что вандемьерское восстание, вызванное фрюктидорскими постановлениями Конвента, вовсе не было роялистическим, как обыкновенно думают. В третьих, интерес представляют и этюд в прерияльской реакции III года и, наконец, разбор петиции Жака Ру и секции Гравилье, неправильно считавшейся коммунистической²⁾.

¹⁾ Эта книжка в 418 стр. текста + VII приложений, занятых большею частью иллюстрациями, дополнялась в самой „Ниве“ рядом популярных статей о разных предметах, касающихся революции. Теюй одной из таких статей, из которых предполагалось сделать целый сборник, была „Французская революция в историческом романе“. За прекращением журнала статья осталась ненапечатанной и была потом переработана в целую книжку, вышедшую под тем же заглавием в 1923 году.

²⁾ Более специальный характер имеет работа о количестве жителей в Париже в эпоху революции, помещенная по-русски в первом сборнике сек-

Позволю себе заключить этот обзор своей деятельности в изучении французской революции указаниями, касающимися руководивших мною практических занятий студентов Университета и слушательниц Высших Женских Курсов. Чаще всего я делал предметом своих семинариев указы 1789 г. ¹⁾, а время от времени предлагал темы для медальных сочинений по указам. Иногда отсюда получались и желательные результаты. С особым удовольствием указываю на то, что еще в первую же пору моего преподавания в Петербургском Университете начал работать над указами А. М. Ону, автор большого о них труда, о котором речь идет дальше особо. Одну из студенческих работ о дворянских наказаниях (В. Б. Каттерфельда) в сокращенном виде я поместил в т. IV „Исторического Обозрения“, мною редактировавшегося. Были и оставшиеся ненапечатанными, но премированные работы. Особенно успешно пошли эти занятия в последнее время, когда образовался более тесный кружок, члены коего производили прямо исследовательскую работу. Из них назову Е. Н. Петрова, о котором дальше речь идет особо. Другой из моих учеников, А. Я. Шульгин, в связи с семинарскими занятиями по указам, написал очень содержательный этюд на тему о степени экономического развития Франции в конце XVIII века. Он появился в „Русском Богатстве“ за 1917 год (№ 8—10), а позднее был напечатан и по-французски. Некоторые из сделанных по экономической истории Франции работ остались в портфелях их авторов ²⁾.

С 1920 г. члены этого кружка пожелали переменить тему занятий, и новую тему я формулировал, как „ра-

ционных документов и появившаяся отдельной брошюрой по-французски. В обоих изданиях приложен к тексту план Парижа в 1790—1795 годах. Не перечисляю здесь всего написанного мною о французской революции, список чего см. в приложении к этому тому.

¹⁾ Об этом я уже писал в „Беглых заметках по экономической истории Франции“, II, 129—135.

²⁾ К этим занятиям примыкали еще в разное время 6 слушательницы В. Ж. Курсов, напечатавшие свои работы. Первою из них была А. А. Матвеева — Леман, работавшая первоначально в Париже у Олара и напечатавшая: 1) Праздник Верховного Существа („Ист. Обзор.“ XVI) и 2) Участие гор. Бордо в продаже национальных имуществ („Н. И. Карсеву ученики и товарищи по научной работе). Сборник 1914 г. (Беглые заметки II, 94—95). Второю была К. П. Матафтиана, которой принадлежит статьи „Из истории общественного мнения во Франции в эпоху революции“ („Ист. Об.“ XVII). Позже других примкнула к кружку С. М. Глаголева-Данини, ученица И. В. Луничного, о которой см. ниже, стр. 181.

ционалистическую и революционную идеологию во Франции XVIII в.", причем состав кружка расширился, благодаря присоединению к нему нескольких сотрудников возникшего при Университете Исторического исследовательского института. Некоторые из читавшихся в наших собраниях работ появились в печатном виде в сборнике „Из далекого и близкого прошлого“, которым друзья и ученики почтили пятидесятилетие со дня окончания мною университетского курса ¹⁾.

Темой более элементарных (просеминарских) занятий студентов я неоднократно делал аналитическое и историографическое изучение „Старого порядка и революции“ Токвиля, а в последние годы предлагал и такие темы, как разбор взглядов главных историков на Мирабо, Даятова, Робеспьера или мнение этих историков о роли и значении парижских секций. Эта последняя тема предлагалась и на медальное сочинение, причем представлены были две работы: одна в переделанном, впрочем, виде (Я. М. Захер) была напечатана (1921), другая (П. Л. Попова) пока хранится в рукописи. В последней есть целое самостоятельное рассмотрение движения 31 мая 1793 г.

Вопросы из истории французской революции, кстати сказать, делались темами семинарских занятий профессоров и других университетов, но об этом имеются у меня лишь отрывочные сведения. Начало таким занятиям, как было упомянуто, положил В. И. Герье, среди учеников которого был П. Н. Ардашев (о нем ниже), ведший в Киеве семинарий по изучению наказов 1789 г. Еще раньше его в том же Киеве занимал студентов разработкой аграрной истории революции И. В. Лучицкий, впоследствии делавший то же самое на петербургских Высших Женских Курсах.

Из его киевской школы вышел и Е. В. Тарле, тоже ставящий для семинарских занятий темы по истории французской революции. Один большой труд о наказах (Хорошува, о котором см. ниже) представляет собою тоже студенческую медальную работу, сделанную в Одесском университете в бытность там профессором Р. Ю. Виппера, одного из учеников Герье. Едва

¹⁾ Вот их названия: И. Л. Попов. „И. Л. Руссо космополит“, В. В. Бирюков и ч. „Историко-философское мировоззрение Мельхиора Гримма“. П. П. Щеголев. „К вопросу о социологических воззрениях Гельвеция“. Е. Н. Петров. „Молодые годы Шатобриана“. А. А. Гизетти. „Философско-политические воззрения Шелли“.

ли где еще, кроме России (за исключением, конечно, Франции), так пристально за последнее время занимались начинающие ученые французской революцией¹⁾.

Рассматривая русских ученых, работавших над историей французской революции, и располагая их в порядке появления их главных работ, в дальнейшем я буду упоминать и таких историков, которые писали вообще и о XVIII веке, поскольку дело касается старого порядка или политической философии эпохи, имеющих близкое отношение к истории революции. Еще в 1873 году московский профессор Т. Л. Карасевич издал книгу „Гражданское обычное право во Франции“, разумея под этим названием, впрочем, не обычное, т.-е. неписанное право, а право кутюмное, которое с XV века было уже писанным. Этот предмет здесь рассмотрен на протяжении всей истории. В восьмидесятых годах начал свои работы по французскому XVIII веку Г. Е. Афанасьев. В 1884 году он издал диссертацию на степень магистра „Главные моменты министерской деятельности Тюрго“, о которой в свое время я дал отзыв в „Юридическом Вестнике“ (1885). В своих выводах автор сошелся с Фонсеном (Foncin), автором большого труда о том же предмете, что объясняется почти одновременною работою их над одним и тем же материалом. Преимущество французского историка заключалось в том, что он работал у себя дома и издал свой труд раньше, тогда как русский лишь временно был в Париже и запоздал с изданием своей работы. Большой успех имела докторская диссертация Афанасьева „Условия хлебной торговли во Франции в XVIII веке“ (1892), которая была переведена на французский язык (*Le commerce des céréales en France au XVIII siècle*) и встречена была сочувственно французскими специалистами, среди которых был Клодио Жанэ (в „*Monde économique*“) и Левассёр (в *Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques*). Об этом очень основательном труде мне тоже пришлось высказаться на диспуте, имевшем место в Петербургском Университете (см. „Ист. Об.“, т. VI, 219—221). Автор издал еще интересный этюд „Общество голодовки“, появившийся и по французски (*Le pacte de famine*), где разъяснил происхождение этой извест-

¹⁾ Ср. об этом замечание Олара, приведенное выше (стр. 147, прим. 1).

ной легенды из времен Людовика XV. Ему же принадлежит еще талантливая публичная лекция о Мирабо.¹⁾

К тем же восьмидесятым годам относятся еще „Этюды о Руссо“ (1887), автором которых был московский профессор-юрист А. С. Алексеев. Получив степень магистра за диссертацию о Макиавелли, он воспользовался своей заграничной командировкой, чтобы заняться Руссо, и с этою целью жил некоторое время в Женеве и в Невшателе, где и собрал свой значительный материал. Если не считать Б. Н. Чичерина, который писал о Руссо в „Истории политических учений“ и В. И. Герье (1882), Алексеев был у нас первым по времени „руссоистом“, опередившим известного издателя „Общественного договора“ Дрейфюс-Бризака (1896). После него „Contrat Social“ изучался и другими и даже с ориентацией в сторону французской революции, для которой Руссо был таким авторитетом (как у нас поставил эту тему Герье).

И. В. Лучицкий²⁾.

Перехожу теперь к двум историкам, которые особенно много работали над историей аграрного строя и крестьянства Франции в эпоху революции: к И. В. Лучицкому и М. М. Ковалевскому, из которых второй работал немало и по другим вопросам великого политического переворота, происшедшего во Франции в конце XVIII века. Весьма знаменательно, что в первой части IX тома коллективной „Histoire de France“, вышедшей под редакцией Эрнеста Лависса, автор главы о положении крестьян перед французской революцией (Carré) по вопросу о крестьянской собственности приводит только мнения этих русских историков и ни одного французского ученого. „Лучицкий, говорит здесь он, который много изучал крестьянскую собственность во Франции накануне революции, утверждает существование многочисленного класса свободных

¹⁾ Две последние работы можно найти в двухтомном сборнике его статей.

²⁾ О нем мои статьи: „Пятьдесят лет научной работы И. В. Лучицкого“ („Научно-Ист. Журн.“ 1914).—Работы русских ученых, стр. 59—63.—Эпоха французской революции, стр. 31—36 и 112.—„Беглые заметки по экономической истории Франции“ (т. I, 51—75, 121—136, т. II, 13, 34, 65—68, 96—101).—Некрологи в „Известиях Академии Наук“ (1919) и „Голосе Минувшего“ (1920).—„Памяти двух историков“ (Анналы, 1922).

мелких собственников. Но другой историк крестьян, Ковалевский, подвергнувший его цифры и документы суровой критике, поддерживает то мнение, что большая часть земель была привилегированных сословий и городской буржуазии". Автор этих слов находит оба заключения одинаково, по всей вероятности, крайними ¹⁾. Я привел эту цитату, во первых, для того, чтобы обратить внимание читателя на эту передачу французским ученым мнений только русских историков и чтобы, во вторых, с самого начала указать на полную противоположность этих мнений по одному и тому же вопросу. Между обоими нашими исследователями даже происходила (в 90-х годах прошлого века) полемика, принявшая довольно острый характер, но не переубедившая ни того, ни другого из противников, которые и остались при своих мнениях до самого конца ²⁾. Преимущество Лучицкого в данном споре заключалось в том, что он опирался на более обильный и вместе с тем более надежный материал. И во Франции мнение Лучицкого получило большую веру, нежели противоположный взгляд Ковалевского. Зато Ковалевский изучал французскую революцию шире, не ограничившись одним аграрным строем и крестьянскими отношениями, но занявшись и состоянием промышленности и рабочего класса, и политическими и социальными идеями эпохи, и политическими ее учреждениями.

„История поземельной собственности во Франции до революции, говорит один из новейших французских историков, Саньяк ³⁾, сам немало поработавший по занимающей нас эпохе, — эта история еще несколько лет тому назад была совсем плохо известна. Если теперь мы ее знаем, по крайней мере, в некоторых наиболее существенных ее чертах, этим мы всецело обязаны Лучицкому“. „Его книга, говорит еще французский ученый, может быть названа самой важною из всех, в которых идет речь об этом предмете; она имеет капитальное значение для социальной истории Франции“... „Труд Лучицкого, читаем мы еще далее, изобилует документальными доказательствами, изобилует также общими взглядами и выводами, которые делают его необходи-

¹⁾ Ernest Lavisse. Histoire de France, IXa, стр. 247.

²⁾ Причины их разногласия были мною рассмотрены на стр. 88 — 120 первой серии „Белых заметок“ и в статье „Deux opinions contraires sur l'histoire agraire de la France à l'époque de la révolution“ (La Rév. Franç., 19'3).

³⁾ Историки фр. рев., т. II, 173.

мым для всех историков и всех серьезных социологов. Он возобновляет или, точнее, он создает историю поземельной собственности во Франции в XVIII веке" ¹⁾. В русской литературе первые работы Лучицкого в этой области вызвали возражение со стороны Ковалевского, который сразу высказал полное с ним несогласие, а затем посвятил работам Лучицкого большую статью под заглавием „Вопрос о крестьянской собственности до революции и о том, в чьи руки перешла масса конфискованных у церкви земель" ²⁾. В свою очередь Лучицкий отвечал этому оппоненту статью „К вопросу о состоянии мелкой собственности во Франции до и во время революции" ³⁾. Вообще нужно считать сильно поколебленными прежние мнения о том, что размеры крестьянской собственности во Франции были крайне незначительны, и что главными и чуть ли не единственными покупателями национальных имуществ были лишь богатые буржуа.

Лучицкий давно уже занимался историей Франции, давно также был знаком с французскими архивами, равно как и давно заинтересовался эпохой революции и крестьянским вопросом. Первые его работы были посвящены социально-политической стороне французского протестантизма, причем одна его работа опиралась на большой архивный материал. Но еще в конце семидесятых годов он перешел к изучению истории крестьянства и в 1878 г. начал печатать в киевских „Университетских Известиях" большой труд „История крестьянской реформы на Западе", оставшийся, к сожалению, неоконченным, хотя после этого его автор и продолжал работать в той же области, напечатав ряд статей о крестьянах в разных странах. В 1879 году в тех же „Университетских Известиях" он поместил еще свою публичную лекцию „Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль". Это — краткая история прелюдии к французской революции: вопрос о значении созданных тогда провинциальных собраний, — не делали ли

¹⁾ См. статью Sagnac'a о работе Лучицкого в *Revue d'histoire moderne et contemporaine* за июль-август 1901 г. Henri Sée написал целую статью „Чем экономическая и социальная история Франции в XVIII веке обязана Лучицкому", поместив ее в № 4 „Научно-Исторического Журнала" (1914 г.). Aulard тоже писал о Лучицком.

²⁾ Русская Мысль, 1896, август.

³⁾ Новое Слово, 1896, октябрь.

они революцию излишнею, если бы во время они были введены, или, наоборот, не ускорили ли они катастрофу, — один из весьма важных в историографии французской революции вопросов ¹).

Систематические изыскания Лучицкого в области истории крестьянского землевладения и распродажи национальных имуществ в эпоху революции относятся, главным образом, к последнему десятилетию истекшего века и к началу теперешнего. Пользуясь летними ваканциями и специальными отпусками, он несколько раз надолго уезжал во Францию и в общей сложности проработал в ее провинциальных архивах более двадцати месяцев, иногда побывав в одном и том же архиве по два раза ²).

Когда он только что опубликовал свои первые работы, М. М. Ковалевский ставил ему в упрек, что он решает важный исторический вопрос на основании нескольких примеров, найденных им в трех-четырёх архивах, смешав при этом статистический метод с анекдотическим. Лучшим возражением критику со стороны Лучицкого была работа в двух с половиною десятках архивов, причем результаты своих изысканий он обработал именно, как статистик, что признано и французскими учеными, имевшими возможность ознакомиться с самым значительным трудом Лучицкого в этой области, выпедшем в свет уже долго спустя после полемики обовх ученых.

Вопрос, поднятый Лучицким, вовсе не так узок, как это может показаться с первого взгляда: это не частность, а одна из важнейших сторон революции, ибо это — вопрос о влиянии ее на перемещение поземельной собственности из одних общественных классов в другие. Об этом предмете высказывались противоположные взгляды, но опорой для тех и других служили, кроме общих соображений, показания современников, часто противоречивые или слишком неопределенные, да разные отрывочные данные. Заслуга Лучицкого заключается в том, что он не побоялся взять на себя труд статистического решения вопроса.

¹) Ср. т. II, стр. 33—34, 156, 157.

²) Вопрос о крестьянской поземельной собственности во Франции до революции и продажа национальных имуществ. Киев. 1894 г., тоже о франц. — Крестьянская поземельная собственность во Франции и продажа национальных имуществ.

Общее количество отдельных работ И. В. Лучицкого в области интересовавшего его вопроса очень значительно ¹⁾. Но главным трудом является тот отзыв, о котором Савьяка приведен выше: это — „Крестьянское землевладение во Франции накануне революции, преимущественно в Лимузене“ (Киев, 1900, книга в 225 стр. с разными приложениями), чисто статистическая работа, основанная на изучении, главным образом, одного рода документов, — так называемых *rôles de vingtièmes*, относящихся к налогу, который назывался „двадцатиной“. На этот материал французские историки и сами обратили внимание, но Лучицкий остался очень недовольным тем, как они пользовались документам этой категории. Именно, он находит, что эти историки не поняли всей важности *vingtièmes*, отрицая или, по крайней мере, слишком уменьшая их значение. Основываясь на этих документах, Лучицкий решает, в сущности, два главных вопроса: 1) о распределении поземельной собственности между отдельными классами общества и 2) о положении земледельческого класса. Другие историки говорили о происходившем во Франции в XVIII веке процессе концентрации почвы, но, по мнению автора, перед революцией совершался как-раз обратный процесс раздробления поземельной собственности. Он утверждает, что в XVIII веке крестьяне разных категорий, но преимущественно самостоятельные хозяева (*laboueurs*), покупали много земли, и что в эпоху революции этот последний класс дал очень большое количество покупателей национальных имуществ. Вместе с этим в книге показано, как распределена была в Лимузене (сравнительно с другими провинциями) поземельная собственность между разными классами сельского населения. В последнем Лучицкий различает, с одной стороны, земледельцев, с другой — ремесленников и торговцев, которые вообще имели очень мало земли. Что касается собственно земледельческого класса, то в нем тоже были разные категории: кроме *laboueurs*, поденщики, виноградари, половники. По мере развития промышленности, дробление поземельной собственности, как показывает автор, все более и более усиливалось.

¹⁾ Перечислены в I серии „Беглых Заметок“.

Важную сторону работ Лучицкого представляет собою рассмотрение того архивного материала, который он изучал, всех этих „rôles des vingtièmes“, „pieds de taille“, протоколов о продаже национальных имуществ и т. п. Пользуясь ими сам для главной цели своего исследования, он решает также и вопрос, как следует ими пользоваться, критикуя попутно способ обращения с ними других историков. Зато Лучицкий, — по моему убеждению, неправильно, — совершенно отвергает какое бы то ни было значение за крестьянскими наказами, как документами, на основании которых можно было бы строить заключения о действительном положении вещей. Нет спора, что материал, на котором он основывается, вообще надежнее и обильнее, чем то, что можно извлечь из приходских наказов, но вполне пренебрегать им отнюдь не следует. Нет надобности долго останавливаться на том, что в работах нашего исследователя читатель найдет и массу историографических указаний относительно того, что сделали и как думали по интересующему его вопросу другие ученые¹⁾.

Общие свои выводы из прежних изысканий Лучицкий изложил в статье „Крестьянство во Франции XVIII века“, напечатанной во втором томе „Книги для чтения по истории нового времени“ (1910) и появившейся вскоре во французском переводе под заглавием „L'état des classes agricoles en France à la veille de la révolution“. Он предпринял также переработку одного из прежних своих трудов для издания его на французском языке (*La propriété paysanne en France à la veille de la révolution*). Наконец, самым последним подведением итогов под исследованиями Лучицкого является его книга „Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции и аграрная реформа 1789 — 1793 г.г.“ (1912).

Главными источниками, из которых в архивах Франции Лучицкий черпал свой материал, были кроме разных податных списков (*rôles des vingtièmes, de tailles, de centièmes et dixièmes*), еще кадастры и межевые списки, заключающие в себе богатый цифровой материал. На основании этих данных Лучицкий составлял таблицы распределения поземельной собственности во Франции, частью же обнародованные им в прежних

¹⁾ Токвиль, Леонс де-Лавернь, Авенель, Тэн, Бабо, Минцес, Шарль Гюйо, Жимель и многие другие.

работах. В новом своем общем очерке он не дал таких таблиц, хотя местами и привел цифровые данные в виде иллюстраций к выставленным им положениям.

Основной тезис всех работ Лучицкого заключается в том, что французское крестьянство удержало вообще довольно много земли в своих руках, а в последней части XVIII века даже увеличило свою поземельную собственность. Попытки обезземеления, конечно, были, но сравнительно незначительных размеров, в отдельных частных случаях, в некоторых областях. Следы этих попыток, по автору, видны и в крайней неравномерности распределения крестьянского землевладения по отдельным приходам, и в малом количестве крестьянских земель в некоторых провинциях. В одних, в которых, однако, крестьянская собственность все же была не совсем уничтожена, по его подсчету, крестьяне владели приблизительно третью земли, а в других — почти половиною, кое-где более чем половиною, а иногда даже тремя пятими. Что касается неравномерности распределения, то, например, в центральной Франции, рядом с приходами, где насчитывалось не более 1 — 2% совершенно безземельного населения, встречались и приходы с 20, 30, 40 и 50% даже 80% безземельных. Мало того: проф. Лучицкий утверждает даже, что во второй половине XVIII века земельные владения французских крестьян прогрессивно увеличивались; он ссылается при этом на показания интендантов и субделегатов в разных провинциях, говоривших о настоящей жадности, с какою набрасывались крестьяне на землю в целях ее приобретения мелкими участками. Это положение автор и иллюстрирует целым рядом цифровых данных. Раз во Франции крестьяне не были обезземелены, в ней не было, по его мнению, и класса сельских рабочих, какой мы встречаем в Англии, и прямо не было почвы для существования такого класса. Как ни был разнообразен состав тогдашнего сельского населения Франции, как ни были разнообразны группы, на которые оно распадалось, не было ни одной такой, утверждает Лучицкий, которая всецело была бы оторвана во всем своем составе от земли, которая не владела бы землей. Сеньориальные права продолжали господствовать на всей территории, но было бы, по его мнению, крупною ошибкою из этого факта делать выводы и относительно такого же господства и права собственности сеньоров на всю под-

сенъерьяльную территорию. Он привел ряд любопытных примеров, каковы были иногда размеры поземельной собственности дворян и духовных. В Артуа, например, у дворянства было всего 29%, у духовенства 22%, т.-е. 51% против 33% земли крестьянской.

Сенъерья и земельное владение это — два различных института, не покрывающих друг друга, т.-е. можно было быть сенъером, владеть сенъерией и в то же время не иметь почти ни клочка земли. Во Франции в XVIII веке не были редкостью дворяне, обладавшие тысячами арпанов земли, но крупное землевладение в этой стране далеко не имело такого характера, как в Англии и в других местах. Например, в Пикардии самыми крупными владельцами были в 1789 — 1790 годах граф Gomez и маркиз Валантгар. У каждого насчитывалось более одной тысячи гектаров, но земли одного были разбросаны в 14 приходах, земли другого — в 10 и в среднем на приход падало от 75 до 100 гектаров. Такую же картину рисует автор и относительно крупных имений буржуазии. Конечно, подобный характер крупного землевладения должен был отразиться и на организации сельского хозяйства: раздробленность и крупных и средних имений на сравнительно мелкие участки делала если не невозможным развитие крупного хозяйства, то ставило ему трудно преодолимые препятствия, а потому лишь самый ничтожный процент дворян, еще меньший среди буржуазии, предавался делу ведения самостоятельного сельского хозяйства. Даже духовенство и особенно монастыри, раньше бывшие предпринимателями в области сельского хозяйства, собирали свои поля и отдавали их в аренду или исполу.

Францию накануне революции Луциций изображает странною, еще не вышедшей „из-под господства натурального хозяйства и притом хозяйства земледельческого, рассчитанного на удовлетворение одних местных потребностей, не затронутого в своей чисто-земледельческой деятельности международным обменом“. Земледельческая деятельность Франции XVIII века характеризуется отсутствием прилива капитала к земледелию. Жалобы на этот факт постоянно повторяются в течение особенно второй половины XVIII века. Это явление автор ставит в связь с тем, что прилива капитала не было и в сфере обрабатывающей промышленности. Вообще капиталов во

Франции было мало, и как-раз в этом факте, по мнению Лучицкого, заключается объяснение причин, „действие которых отражалось на всех почти сторонах земледельческой деятельности в стране накануне революции“: им-то и объясняется отсталость культуры, характеризующая экономическую жизнь Франции.

Лучицкий из всего сказанного сделал тот вывод, что, благодаря таким условиям, почти исключительными держателями трех четвертей всей годной под культуру земли являлись крестьяне, „экономическими качествами“ которых „должны были, по его словам, определяться и способы культуры земли, и формы ее держания в случае с'емки ее у привилегированных классов“. Само крестьянство в эту эпоху расслоилось и географически, и по группам, и внутри отдельных групп. Вот именно „это расслоение крестьянской массы, эта крайняя неравномерность в распределении земли и между отдельными домохозяевами, и между отдельными приходами, и между членами одной и той же крестьянской группы создавали для значительной части крестьян, владевших землею, не говоря о безземельных, полную невозможность обеспечить свое существование иным путем, кроме найма чужой земли“. Преобладающей, почти всеобщей формой с'емки земли было половничество с оплатою исключительно натурой, хотя в некоторых областях были и другие виды аренды.

Еще одна важная особенность аграрной истории эпохи указана в работе Лучицкого, а именно: стремление землевладельцев второй половины XVIII века увеличить платежи с'емщиков. Земли сдавались по мелочам, но была тенденция превращать их в участки для краткосрочной денежной аренды, и им нно на арендаторов таких участков падала тяжесть стремления владельческих классов к умножению доходов. Это было новое явление в истории Франции, но при общих экономических условиях жизни в то время оно получило сравнительно мало значения, развивалось слабо и в состоянии было давать для удовлетворения потребностей привилегированных классов сравнительно очень мало. Существование нового фермерства лишь разжигало аппетиты, особенно, когда стали расти цены и несколько были облегчены пути, связывающие торговлю хлебом, а это не могло не отзываться на экономически слабом крестьянстве, преимущественно той его

части, которая мало была обеспечена собственной землей. На этой почве и выростала та вражда крестьянства к дворянам, которая характеризует конец XVIII века, тем более, что, как показывает еще наш историк, дворяне усиленно увеличивали также и сеньориальные свои доходы с крестьян, являвшиеся крупной составной частью дворянских бюджетов. Одним из самых важных результатов архивных изысканий Лучицкого следует признать его вывод, что социальный феодализм во второй половине XVIII века не ослабевал, а наоборот, усиливался. „Груды архивных документов первой половины XVIII века, говорит он, вскрывают тот любопытный факт, что во многих случаях происходило забвение, неприменение на деле тех сеньориальных прав и платежей, которыми, по договорам, записанным в *livres terriers*, обязаны были крестьяне-собственники“. Рядом с этим автор отметил общий факт накопления недоимок. „Сеньориальный строй видимо находился в процессе прогрессивного разложения, и вместе с тем, конечно, чувствительным образом уменьшались и доходы сеньоров, но зато росли арендные цены“. Чем ближе, говорит Лучицкий, мы подходим ко времени революции, тем заметнее вообще рост арендных цен. Параллельно с этим сеньеры пытались увеличивать и свои феодальные доходы. Парализовать последствия забвения и исчезновения прав, довести до нормы всё уменьшавшиеся и уменьшавшиеся доходы было возможно уже по одному тому, что действовавшее феодальное право давало соответственное орудие для этого. Сеньер имел право требовать от зависимых лиц представления перечня всех полагавшихся с них повинностей, и сеньерам в этом деле помогали услужливые февдисты, т.-е. специалисты феодального права, особенно в восьмидесятых годах XVIII в. В числе таких умпожателей своих доходов были, например, известный Монтион и знаменитый Гельвеций; таким образом, говорит Лучицкий, „к 1789 г. французское крестьянство очутилось под гнетом двойного пресса. Как с'емщику помещичьей земли, ему пришлось выносить на своих плечах всю тяжесть прогрессивного, можно сказать, галопирующего роста арендных цен; как собственнику — подвергаться разорительному взысканию недоимок, расходам, вызываемым реставрацией старого порядка, тяжелому обременению теми уже правильно приводимыми в исполнение

взысканиями, которые производились теперь после восстановления и укрепления старых прав". Ненависть сельской массы к помещикам, с такую силою проявившаяся в 1789 г., вполне, конечно, объясняется из этого двойного гнета ¹⁾.

В третьем томе „Книги для чтения по новой истории“ Лучицкий поместил еще большую (четыре печатных листа) статью „Крестьянство и крестьянская реформа во Франции в период революции“. Большая часть этой статьи посвящена ликвидации сеньориального режима. Освобождение земли от феодальных пут, по его словам, все-таки оставляло крестьян в том же положении к земле, в каком они находились до революции: „та земля, которую крестьяне владели до революции, в том же количестве и сохранилась за ними“. Но в стране существовало еще малоземелие и безземелие, а между тем в эпоху революции государство располагало двойного рода земельным фондом: „то были, с одной стороны, общинные земли, с другой—вся та сумма земель, которая последовательно очутилась в распоряжении государства и которая образовалась, во первых, от провозглашения церковных земель национальною собственностью, и во вторых, вследствие конфискации имуществ, принадлежавших эмигрантам, лицам сосланным, казненным и т. п.“ В рассмотрении вопроса об общинных землях Лучицкий особенно подчеркивает то, что разделу подверглась лишь часть этих земель. Что касается до законодательства о распродаже национальных имуществ, то оно, по словам автора, „еще в меньшей мере, чем законодательством об общинных землях, могло содействовать, хотя бы в малой степени, разрешению того тяжелого положения, какое создано было неравномерностью в распределении земельной собственности среди крестьян и расслоением их, усиливавшимся все более и более“. Он даже находит, что „в этом отношении вся работа революции оказалась бесплодною: и в XIX веке, как и в XVIII в., положение дел осталось неизменным во всем том, что касается внутренних земельных отношений среди крестьянского класса“. Тем не менее Лучицкий считает „несомненным факт увеличения земельной собственности крестьян, умножения числа собственников“, оставляя в то же время открытым вопрос об отношении крестьянских покупок

¹⁾ Лучицкий здесь пришел к тому же, что высказал Шерэ. Исторический фр. рев., т. II, 160.

к покушкам буржуазии. Общій вывод автора относительно революции, поскольку она коснулась аграрного строя Франции, тот, что земельный вопрос, как он был поставлен жизнью в XVIII в., революцией решен не был: „она, говорит он, не помешала естественному переходу части собственности в руки крестьян, хотя в малой степени содействовала ему, но она решительно нечего не сделала и не могла сделать, чтобы, хоть в малейшей степени, изменить социальный характер аграрных отношений во французской деревне.

Посвятив в 1911 г. статью вопросу об „отчуждении национальных имуществ во Франции в конце XVIII в.“ (Русск. Бог.), Лучицкий в следующем году издал книгу в 10 печатных листов под заглавием „Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции и аграрная реформа 1789—1793 годов“, где подвел общие итоги под своими работами о крестьянском землевладении при старом порядке и рассказал историю ликвидации феодальных прав, распродажи национальных имуществ и раздела общинных земель. Важным дополнением к прежним работам Лучицкого явились статьи его: в „Русск. Бог.“ за 1913 г. под заглавием „Аграрные отношения во Франции накануне революции“ и в „Научном Историческом Журнале“ за 1914 г. под заглавием „Из истории сеньориальных и поземельных отношений во Франции в эпоху революции“, где затронута совершенно новая тема—о характере землевладения феодальных сеньеров, — тема, которой во Франции даже, можно сказать, не подозревали. Феодальные отношения существовали и между самим и сеньерами, а кроме того важно, что многие феодалы (fiefs) состояли только из одних сеньориальных прав без клочка земельной собственности. Этим Лучицкий только открыл новую серию своих исследований, продолжая которую ему помешала болезнь, сведшая его скоро в могилу ¹⁾.

За последние перед мировой войной годы во Франции был очень силен интерес к работам Лучицкого, из-за которых возникли даже напряженные споры, между прочим, в ученых обществах ²⁾. Нужно еще упомянуть, что из школы Лучиц-

¹⁾ Отмечу еще, что в 1914 г. в „Гол. Мин.“ Лучицкий поместил статью с разбором мнений Олара о феодализме в эпоху революции.

²⁾ Об этих спорах я рассказал во второй серии „Белых заметок“, стр. 34—58.

кого вышло несколько научных работников, из которых, впрочем, лишь немногие посвятили свои силы изучению французской революции. Из них прежде всего следует назвать Е. В. Тарле, о котором будет еще сказано дальше. В последние годы жизни Лучицкого под его руководством начала свою научную работу С. М. Глаголева-Данини, занимавшаяся аграрными крестьянскими отношениями Дофинэ до и во время революции и успевшая опубликовать часть ею задуманного труда в отдельных статьях ¹⁾.

М. М. Ковалевский ²⁾.

М. М. Ковалевский изучал французскую революцию с более широкой точки зрения. В круг его научных занятий этим историческим событиям входили и политика, и экономика, и социальная идеология, по которым он собрал большой материал в своем крупном по размерам труде „Происхождение современной демократии“, составляющем главный его вклад в историографию французской революции. Кроме того, он оставил еще несколько и других работ меньшего размера и значения. Долговременная жизнь во Франции и в особенности частое пребывание в Париже были для него, как ни для кого, обстоятельствами, в высшей степени благоприятными в смысле возможности пользования библиотеками и архивами. Во время своих поездок в Париж я постоянно с ним встречался или в Национальной библиотеке, или в Национальном архиве. У него был и очень обширный круг знакомств среди французских ученых и в издательском мире, что облегчало для него печатание своих трудов и по-французски.

¹⁾ Крестьянские волнения в Дофинэ в конце XVIII века (Историческое обозрение, т. XVIII, 1912). К истории сеньерии в Дофинэ в XVIII в. (в сборнике „Н. И. Карееву ученики и товарищи по научной работе“. 1914 г.) и „Промышленность и торговля в Дофинэ в эпоху французской революции.“ (Сборн. „Из далекого и близкого прошлого“. 1923). См. „Беглые Заметки“ т. II, 76—28. Эта страница была уже набрана, когда в IV выпуске „Анналов“ (1924) появилась еще ее статья по экономической политике фр. правительства XVIII в.

²⁾ О нем мои статьи: М. М. Ковалевский, как историк („Право“, (1916). — М. М. Ковалевский, как историк французской революции (Вестн. Евр., 1917 г.). — Работы русск. ученых, стр. 33—59. — Эпоха франц. рев. в трудах русских ученых, стр. 37—41, 42—46, 57—58 и 111. — Беглые заметки об эк. ист. фр., сер. I, стр. 75—88.

Главный труд Ковалевского „Происхождение современной демократии“ вышел в 1895 и следующих годах в 4-х томах, из которых, впрочем, 4-й касается не прямо Франции, а Венеции в эпоху падения ее свободы ¹⁾. Это большое сочинение заключает в себе изображение старого порядка, изложение новых для того времени политических и социальных идей и, наконец, историю революционного законодательства первых двух лет революции (1789 — 1791). Основная точка зрения всех трудов Ковалевского может быть охарактеризована стремлением выяснить взаимодействие социально-экономического и политического строя. В названном труде он поставил себе задачу проследить развитие демократических теорий в связи с общественным и политическим строем Западной Европы.

Первый том этого исследования, заключающий в первом издании 658 страниц, посвящен изображению, с одной стороны, общественного и политического строя Франции, с другой — общественным и политическим доктринам, повлиявшим на революцию. В первой части автор рассматривает классовый строй общества и, в частности, особенно подробно останавливается на положении крестьян и цеховых рабочих, а также дает общую картину старинной французской конституции. Во второй части на передний план выдвинуты экономические теории XVIII века, в связи с которыми рассматриваются крестьянский и рабочий вопросы в литературе и в указах 1789 г. Конец тома посвящен политическим доктринам, и здесь в особую главу выделяется изображение французских увлечений английскими и американскими порядками. Ковалевский в 1899 году переиздал III и IV части этого тома, значительно их дополнив ²⁾. Между прочим, сюда вошло сравнительное изучение политических идей Монтескье и Руссо, между которыми Ковалевский старается по возможности сгладить разницу, указываемую другими историками ³⁾.

Во втором томе „Происхождения современной демократии“ (тоже очень большом в 570 страниц) рассматривается социаль-

¹⁾ Этот том прежде всего был переведен на французский язык: М. Kovalevsky. *La fin d'une aristocratie*.

²⁾ В первом издании на них приходилось около 320 страниц, во втором — более 570.

³⁾ В связи с этим отметим еще две другие работы Ковалевского, а именно: статью о Монтескье в приложении к новому переводу „Духа Законов“ (изд. Л. Ф. Пантелеева) и „Новые давния о Ж. Ж. Руссо“ в сборнике „Помощь евреям“ (1901 г).

ное и политическое законодательство Учредительного Собрания. Автор останавливается на том, как совершился переход от сословного представительства к народному, и дает подробный анализ декларации права человека и гражданина ¹⁾. Изобразив затем ликвидацию средневекового общественного строя и социальное законодательство Учредительного Собрания, всю вторую половину тома он посвящает отдельным вопросам нового государственного устройства, данного Франции этим Собранием. Далее мы имеем подробную историю выработки конституции 1791 г. Наконец, третий том (в 334 страницы) распадается на следующие главы: 1) конституционные декреты Собрания перед судом общественного мнения, 2) проект контр-конституции, 3) зарождение республиканской партии во Франции, 4) бегство в Варенн и его политические последствия, 5) монархия или республика и 6) завершение конституции и прием ее королем. Если на второй том мы можем смотреть, как на детальную историю выработки конституции 1791 г., то в третьем должны видеть историю ее принятия нацией и королем.

В предисловии к первому тому Ковалевский так указал на главную задачу своего труда. „Не новую историю французской революции, говорит он, и не оценку ее общих результатов содержит в себе предлагаемое здесь исследование“: автора занимает лишь „совершенное революцией дело“, да „и то не во всем его объеме“. Революция затронула собою все стороны жизни общества, но из разнородных ее сфер „выбраны для исследования только две: социальная и политическая“. Автор, читаем мы далее, задается мыслью изучить не столько ход развития самого законодательства, направленного к решению экономических и общественно-государственных вопросов, выдвинутых революцией, сколько процесс развития той доктрины, которая была положена в основу этого законодательства. Доктрина эта может быть охарактеризована одним словом: „народной или демократической монархией“ (стр. VI). В виду этого Ковалевский и посвятил весь первый том своего труда „всецело вопросу, из каких элементов сложилось то учение о гражданском равенстве и народном суверенитете, проведение которого в жизнь выпало в удел Учредительному Собранию“, а для того ему пришлось „иметь дело как с установившимся до революции

¹⁾ Раньше Ковалевский писал о ней в „Юрид. Вестн.“ по случаю сотой годовщины революции (1889).

общественным и государственным укладом, критика которого и привела к зарождению демократической доктрины, так и с теми теориями, в которых выразилась эта доктрина". Он ограничился лишь общей картиной социально-политического строя Франции в период редактирования наказов 1789 г., в которых, по его определению, „выразилось отношение народа и руководящих классов общества к старому порядку“. На наказах отразились идеи тогдашней публицистики, но, справедливо замечает Ковалевский „не все мысли, выраженные экономистами и политиками XVIII в., восприняты были в равной мере общественной средой. Их действительные и мнимые разноречия, говорит он, были сглажены ближайшими последователями и популяризаторами, более или менее их обезличившими, что в свою очередь сделало возможным установление своего рода социального и политического катехизиса, в котором давались согласованные ответы на все важнейшие вопросы времени. Из противоречивых частей, поясняет он свою мысль, из фритредерства и протекционизма, теории вмешательства и невмешательства государства, преклонения перед народным суверенитетом и желания разделить последний между королем, аристократией и земельными собственниками, сложилась та революционная доктрина, отражение которой можно найти в наказах (стр. VII—VIII)“. В общем Ковалевский следит за влиянием этой доктрины на программу экономических и социально-политических реформ и, указывая на ее пробелы и промахи, старается объяснить их из самого характера руководящей доктрины. Затем, во втором томе он подвергает критике те принципы, на которых было построено вновь возведенное здание, бывшее, по его определению, попыткой примирить требование народо-властия с сохранением веками сложившейся монархии. Этому второму тому автор дал заглавие „Народная монархия“, обозначив таким термином политическое здание, возведенное в 1789—1791 г.г.

„Когда, повествует Ковалевский, в одном из заседаний Конституанты депутат Вимпфен впервые употребил этот термин, почти на всех скамьях послышался протест. Чудовищным казалось сочетание таких будто бы исключających друг друга понятий, как самодержавие короля и самодержавие народа. Сам оратор счел нужным прибавить в свое оправдание, что он с намерением окрестил зарождающуюся кон-

ституцию прозвищем „*démocratie royale*“, чтобы показать всю ее беспочвенность и несообразность. Но, продолжает автор, прошло сто лет, и переживаемый нами конец века видит почти повсеместно торжество на Западе той самой формы государственного устройства, которая, как неизвестная Аристотелю и Монтескьё, признана была противоречащей самой природе вещей. „Народная монархия“ из „чудовища“, каким казалась в конце XVIII века, сделалась господствующим типом политического устройства. Принципы 1789 г., удачные и неудачные решения, какие даны были Конституантой большинству социальных и политических задач, приобрели снова характер современности“ (II, стр. VIII—IX). Не нужно теперь забывать, что эти строки были написаны больше четверти века тому назад, когда собственные политические чаяния автора, сделавшегося одним из учредителей партии демократических реформ, состояли именно в „*démocratie royale*“¹⁾. Ковалевский и следит за тем, в какой мере ошибки „учредителей“, их сознательное или бессознательное служение частному интересу „буржуазии“ в ущерб „общему“ и „депутатскому самодержавию“ в ущерб королю и народу отсрочили мирное торжество народной монархии, следит за влияниями, под которыми революция постепенно отошла от первоначальной программы, заключавшейся в наказах и, по его мнению, как нельзя лучше отразившей на себе народные запросы и ходячие социально-политические теории. События, последовавшие за принятием конституции 1791 г. и закрытием Учредительного Собрания, представляются Ковалевскому поэтому не естественным ходом вновь созданной парламентской машины, а систематическим ее разрушением зародившеюся еще во время Учредительного Собрания республиканскою партией. По той же причине Ковалевский доводит историю „народной монархии“ лишь до сентября 1791 г., считая период Законодательного Собрания не эпилогом народной монархии, а прологом республики и демократического цезаризма²⁾.

¹⁾ Это очень характерная черта политического мировоззрения Ковалевского, его несколько доктринерского понимания политической эволюции Европы в смысле примирения исторического начала (монархии) с прогрессивным (народным представительством).

²⁾ Это полная противоположность точке зрения Олара. Историки фр. рев., т. II, 164 и 180.

По отношению к политической стороне революции особого внимания заслуживают соображения Ковалевского относительно прежней французской конституции и возникновения идеи народной монархии, которую деятели 1789—1791 года хотели воплотить в созданном ими государственном устройстве, равно как те места, где говорится о влиянии на это создание — политических теорий XVIII в. в связи с англоманией и американофильством. „Членам Учредительного Собрания, говорит он, не раз делался упрек в том, что их политическое создание, конституция 1791 г., не имеет корней в прошлом ¹⁾“. Он находит такой упрек вполне объяснимым „со стороны англичанина, для которого давно сделалось истиной, что учреждения не выдумываются, а растут“. Столь же понятным кажется автору отрицательное отношение и защитников старого порядка к конституции, задача которой была в том, чтобы не оставить камня на камне. Все изложение старого политического строя в книге Ковалевского показывает, что Франция имела конституцию „в такой же мере, в какой имели ее Швеция, Савойя, Польша“ (т. I, 260). С другой стороны, однако, эта конституция существовала в сильно искаженном виде. „Если, спрашивает автор, политический строй Франции XVIII в. сохранял лишь немногие следы той конституции, какую Боден изобразил нам в своем трактате „De Republica“, то какая возможность обвинять деятелей 89 г. в том, что, создавая новые политические порядки, они отрешили себя от всякой связи с прошлым?“ Деятели 1789—1791 г.г. „не оставалось другого исхода, как руководствоваться требованиями теории и следовать иностранным образцам. Они не могли, подобно американцам, ограничиться одной надстройкой, увенчать здание, фундамент которого положен был веками раньше — первыми английскими колонистами, пересадившими в Новый Свет учреждения своей родины“ (I, 263).

Как было уже упомянуто, в „Происхождении современной демократии“ отведено довольно много места английским и американским влияниям на французскую революцию. „Англомания и американофильство, читаем мы здесь, преклонение перед политическими теориями, в котором современники и по-

¹⁾ Т. I. стр. 259, как здесь, так и дальше по второму изданию.

томство обвиняют творцов конституции 1791 г., на самом деле, были не более, как естественным последствием того хаоса политических учреждений, в который повергли Францию старого порядка постепенно захваты абсолютизма. Деятели 1789 г. были беспочвенны не потому, что им непонятна была тесная связь учреждений и нравов, новых политических созданий и исторического права, а потому, что у них, действительно, не было и не могло быть почвы под ногами, — другими словами, потому что здание политической свободы не могло быть построено на хаосе абсолютизма“. Автор останавливается на вопросе, в какой мере справедливо само обвинение членов Учредительного Собрания в раболепстве перед иностранными образцами. „Одно то обстоятельство, говорит он, что их одинаково упрекают и в копировании английских порядков, и в том, что они не дали Франции „образцовой“ британской конституции, уже способно породить сомнение в основательности самих нареканий (264). Для правильного суждения об этом Ковалевский рассматривает, из каких источников французы в конце XVIII в. черпали свои сведения об „английской свободе“, и сопоставляет „их показания на этот счет с тою картиною, какая сама собою возникает в уме при изучении политического строя Англии при первых трех правителях Ганноверской династии“ (265). Это рассмотрение приводит его к тому заключению, что точка зрения, с какой французы конца XVIII в. смотрели на английскую конституцию, „не зависела ни от их принадлежности к той или другой партии, ни от большей или меньшей возможности узнать эти порядки путем непосредственного наблюдения“. Сходство или даже тождество их взглядов объясняется тем, что „все придерживались одних и тех же авторитетов и видели в английских учреждениях только те стороны, на которые указано было этими авторитетами“ (275). С другой стороны, нужно принимать в расчет и то, что „американская конституция в гораздо большей мере, нежели английская, испытала на себе влияние политических теорий. Учение о разделении властей не только было принято в текст виргинской декларации прав, но и положено в основу распределения государственных функций между палатами американского конгресса и президентом“ (301), а „пример Америки мог только укрепить уверенность в необходимости не только строгого раз-

деления, но и обособления властей, в интересах упрочения политической свободы“ (302). Историки французской революции должны быть особенно благодарны Ковалевскому за то, что он подверг рассмотрению вопрос об американском влиянии. Оно, говорит он, в другом месте, „сказалось во Франции в равной мере и в области социальных, и в области политических вопросов. Оставлять его без внимания, как делает большинство историков, значит, добровольно отказаться от знакомства с одним из источников, из которых вытекло революционное движение в 1789 г.“ (329).

Рассматривая французские политические теории, оказавшие влияние на выработку конституции в 1789 г., Ковалевский особенно настаивает на сходстве воззрений Монтескье и Руссо (330), что, впрочем, нельзя назвать совершенною новостью в историографии французской революции, хотя, конечно, это — взгляд, которого не разделяет большинство историков. Ковалевский не согласен с тем, чтобы между обеими „школами“ действительно существовала глубокая черта различия, и чтобы обе они одинаково не послужили „образованию единой политической доктрины, учения об уравновешенной демократической монархии“. Он утверждает, что „до сих пор не было обращено достаточного внимания на тот факт, что ни Руссо, ни Мабли нисколько не являются противниками той теории разделения и равновесия властей, которую Монтескье считает необходимым условием политической свободы“. Однако, сам же он находит нужным оговориться, что это не значит, будто взгляды этих трех писателей на данный вопрос были вполне тождественны. Отправляясь от теории Монтескье, — Руссо и Мабли придали ей большую логическую строгость и сделали из нее те крайние выводы, на которые едва ли бы решился сам Монтескье (335). В сущности, ему хочется доказать, что в сознании „учредителей“ 1789 — 1791 г.г. вообще не было резкого противопоставления двух теорий (337). Мне кажется, у Ковалевского дело идет, главным образом, не о тех отношениях, какие между Монтескье, Руссо и Мабли может установить современный историк, а о той своеобразной комбинации, которую создала из взглядов этих политических писателей мысль деятелей 1789 — 1791 г.г. Он особенно настаивает на „цельности и единстве революционной доктрины. О том, говорит он, в какой мере эта доктрина разделялась

также практическими деятелями, а не одними теоретиками, свидетельствует содержание данных депутатам наказов и текст того королевского декрета (от 23 июня 1789 г.), которым Людовик XVI тщетно пытался отворотить готовившиеся во Франции потрясения" (564). Читая и сопоставляя между собою документы, вышедшие одинаково из рядов как защитников, так и противников революции, историк пришел к заключению, что „по основным вопросам государственного устройства политической философии XVIII века удалось установить между всеми партиями своего рода соглашение. Все без различия, говорит он, понимали необходимость конституционных гарантий для личной свободы и собственности, пользу предоставления народному представительству права участия в составлении законов и бюджета, неотложность строгого отделения суда от администрации и упрочения независимости юстиции. Все, наконец одинаково признавали желательным установление начала ответственности министров и его необходимого дополнения — безответственности короля. Одним словом, все в большей или меньшей степени считали нужным дать законодательное признание тому принципу народного участия и народного контроля в государственных делах, на осуществление которого в Англии с полным основанием указывали политические мыслители" (там-же). Если же с самого начала революции возникли серьезные несогласия, то источник их, по мнению Ковалевского, „лежал не столько в различном понимании королем и собранием обязанностей правительства и прав народа, сколько в различном отношении их к сословному и церковному вопросу" (573). Трудности, лежавшие на пути к составлению либеральной конституции, думает Ковалевский, „имели своим источником не пристрастие Людовика XVI к абсолютизму и не республиканские стремления народного представительства". Все дело было в тех препятствиях, какие в создании демократии члены Учредительного Собрания, называвшие себя убежденными монархистами, встретили в сложившейся в течение веков сословной организации. Только оппозиции привилегированных и поддержке, какую она встретила у членов королевской семьи, Ковалевский и приписывает неуспех системы „королевской демократии", или „народной монархии". Лишь симпатией к интересам духовенства и дворянства объясняет он вообще

и то решительное противодействие, какое начинания Национального Собрании встретили со стороны защитников старого порядка не в одной Франции. Сказанным автор не исключает возможности открыть разные несовершенства в конституции 1791 г., но большая их часть вызвана была внутренним противоречием самой доктрины, руководившей учредительною деятельностью Национального Собрании. Его члены „не поняли или не хотели понять, что, ограничивая до последних пределов власть короля, устанавливая систематическую рознь между народным представительством и органами исполнения, они делают неизбежным столкновение, конечным исходом которого может быть или возвращение к старому порядку, или установление республики“ (577).

Таковы существенные взгляды Ковалевского на политическую сторону французской революции до принятия Людовиком XVI конституции 1791 г. Но в его книге столь-же детально разработана и сторона социальная и, в частности, экономическая. Он рассматривает сословный строй французского общества 1789 года, особенно подробно останавливается на экономическом положении крестьян и рабочего класса в городах, анализирует социальные и экономические теории XVIII в. и следит за законодательством Учредительного Собрании по относящимся к этой стороне жизни вопросам. Большого внимания заслуживают отделы книги, в которых идет речь о реальных отношениях и о теоретических идеях в области обрабатывающей промышленности и рабочего вопроса XVIII в. Это — сторона дела, бывшая наименее исследованною в исторической литературе, посвященной французской революции, и тут Ковалевскому принадлежала важная инициатива. Он сам, однако, признаётся, что он не мог исчерпать всех сторон вопроса об отношении рабочих к предпринимателям в предшествующий революции период. „Материалы к его решению, замечает он, далеко еще не собраны вполне. Экономическая история Франции вообще не написана. Департаментские и муниципальные архивы почти не исследованы в этом отношении“. Труд Ковалевского устанавливает тот факт, что революция не вызвала к жизни новые экономические порядки, а только „узаконила их своим признанием. Те, говорит он, кто высказывает соболезнование об отмене ея цеховых порядков,

упускают из виду, что корпоративная организация перестала в XVIII веке защищать рабочего против эксплуатации его капиталистом. Толкуя о ее преимуществах, они постоянно имеют в виду порядки XII и XIII столетий и не хотят понять, что под кровом унаследованных форм и веками установившихся обычаев пробиваются зародыши новых экономических сил и новых общественных порядков, представляющих нередко антипод прежних. Только проникнувшись этой мыслью, можно понять причину, по которой гильдия и цех подчас так же мало препятствуют наступлению экономической розни предпринимателей и рабочих, как сельская община — помещициному неравенству бедных и богатых¹⁾. В этой части своего труда Ковалевский изображает довольно подробно, как под покровом цехового устройства, повидимому, отрицавшего конкуренцию, и развились постепенно благоприятные ей порядки. „К началу революции совершенно исчезло одно из главных преимуществ средневекового цехового хозяйства, заключающееся в обеспеченности трудящегося люда от безработицы и голода... Веками существовавшая система имущественной солидарности рабочих и предпринимателей только разлагалась и падала“ (231 — 232).

Без внимательного отношения к указанным явлениям автор не считает возможным понять, почему проповедь „laissez faire, laissez passer“ сразу встретила дружный прием в обществе. „Современники нашли в учении Кенэ ответ на самые жгучие для них вопросы: замена обычая соглашения знаменовала одновременно торжество и фермерской системы над вечно-наследственной арендой и ремесленной свободы над монополией“. К этим вполне справедливым замечаниям прибавляется еще и соображение такого рода: „эта победа была встречена тем сочувственнее, что поместье и цех перестали быть оплотом трудящегося люда от безземелья и безработицы. Народные массы не были заинтересованы далее в их сохранении. Есть основание думать, что и владетельные классы, как целое, могли найти бóльшую выгоду в шедших им на смену порядках“. Конечно, и аграрно-крестьянские отношения сильно занимают автора „Происхождение современной демократии“. Если, говорит

¹⁾ Т. I, стр. 241 (По первому изданию, как дальше).

он, мы обратимся к современникам и участникам революции с вопросом, в чем состоял произведенный ею общественный переворот, мы не получим от них другого ответа, кроме следующего: „деятели 89 года ниспровергли феодальную систему“. „Такое заявление, продолжает наш историк, заслуживает, повидимому, тем большего доверия, что вполне совпадает с тем всеобщим запросом на отмену феодализма и связанных с ним прав, изъятий и преимуществ, какой мы встречаем при чтении наказов отдельных сельских и городских приходов, нередко целых бальяжей и сенешосей. Сопоставьте с этими требованиями текст декретов, которыми Учредительное Собрание объявляло о разрушении им феодального порядка, и необходимо получится представление, что то зло, от которого страдало французское общество XVIII в. и от которого избавили его деятели 1789 года, был феодализм“ (I, 58).

Подобное представление Ковалевский, вопреки общему убеждению (и моему в том числе), менее всего считает соответствующим действительности. „Ничто, говорит он, не дает более ложного представления об экономических и социальных порядках Франции, как окрещение их именем феодальных. Этот термин применим к ним так же мало, как, например, к русской поместной системе накануне 19 февраля 1861 г. О феодализме во Франции в 1789 г. можно говорить разве только в том широком смысле, который позволяет некоторым современным публицистам и социальным реформаторам окрещивать именем феодализма систему капиталистического производства, вообще всякого рода общественные порядки, основу которых составляет монополия, сосредоточение орудий производства, будет ли то земля или капитал, в руках немногих и обездоление массы трудящегося люда“ (I, 59—60). Если верно утверждение Ковалевского, что „народное хозяйство Франции во всех его видах и формах было построено на привилегии и монополии“, то едва-ли верно другое утверждение, будто, лишь „злоупотребляя терминологией и окрещивая неподходящим прозвищем феодализма порядки, сущность которых лежала в экспроприации массы населения в пользу немногих, можно говорить о том, что отмененный революцией общественный строй был строем феодальным (60). Вся его аргументация представляется недостаточно убедительной и вы-

воды поэтому не вполне верными. „Со времен Токвиля, говорит он, принято считать крестьянство, задолго до революции, владельцем доброй части земель королевства“. Вопреки и этому мнению, Ковалевский утверждает, что „мелкая крестьянская собственность представляла во Франции XVIII столетия величину слишком незначительную, чтобы поколебать справедливость того положения, что монополизация земли в руках дворянства и высшей буржуазии была господствующею чертою отмененного революцией социального порядка“ (I, 29).

Как и следует, в своей книге Ковалевский широко пользуется наказами 1789 года и при том по всем вопросам, в ней затронутым. Если, как он совершенно верно говорит, характер тех требований, какие французские избиратели поставили Генеральным Штатам 1789 г., во многом определили общественные теории XVIII века, то это еще не значит, чтобы в наказах не отразились и запросы, предъявленные государству различными сословиями и классами, на какие в конце XVIII в. делилось французское общество. Только, выяснивши то противоречие, в каком стояли между собою эти запросы, замечает он еще, мы получим возможность судить о тех трудностях, какие представляла задача общественного обновления Франции. Только сопоставивши те решения, какие Учредительное Собрание дало вопросам землевладения и земельного пользования, организации труда и налога с частью явными, частью подразумеваемыми желаниями отдельных классов, мы будем в состоянии судить о том, в какой мере пережитая Францией социальная революция отвечала действительным стремлениям большинства нации, и в какой мере отразилось на ней одностороннее влияние главной виновницы переворота — буржуазии“ (II, 61). Между прочим, Ковалевский рассматривает, хотя и коротко, те желания, которые высказывались среди рабочего класса городов, отметив, что уже тогда существовала рознь между рабочими и предпринимателями, и что рабочие были устранены от выборов в Генеральные Штаты 1789 г.

„Если, говорит он, для крестьян главным делом была отмена сеньёрнального права¹⁾ и наделения их землею²⁾, все равно — в собственность или аренду, для рабочих удешевле-

¹⁾ Куда же тогда отнести мысль о несуществовании феодализма?

²⁾ А вот таких требований было мало.

ние средств к жизни и обеспечение достаточного заработка стояло на первом плане. И те, и другие сходились в желании приурочить конфискованные государством имущества вполне или отчасти к целям общественного призрения. И в другом отношении, продолжает он, требования простого народа в селах и городах были тождественны. Не только равенство налога, но и свобода от него для всех, кто жил исключительно заработком, была равно желательна и сельским батракам, и городским пролетариям. Отсюда их общая ненависть к косвенным податям, налогам на потребление, к частным и правительственным монополиям (II, 199—200). Автор вооружается против мнения, по которому интересы рабочих и интересы крестьян по многим вопросам расходились.

Социальная сторона революции вообще получает яркое освещение в „Происхождении современной демократии“. Деятели Учредительного Собрания изменили основам общепризнанной среди них доктрины не только по вопросу о взаимных отношениях нации и монархии, но и по вопросу о взаимных отношениях между буржуазией и народом. „Ни в одном вопросе, читаем мы, например, — Собрание не проявило такого внутреннего противоречия, не обнаружило так наглядно своей готовности отказаться от принципов, раз эти принципы задевают интересы представляемой им буржуазии, как в законодательстве о выборах. Ни разу также не подчинилось оно в большей степени влиянию английских политических идей и не доказало нагляднее своей неспособности помириться с требованиями народного правления, теоретические основы которого формулированы были им самим в декларации прав“ (II, 334). В дебатах, в которых выработывалась конституция 1791 года, „сочетание представительства и собственности выставлялось всего чаще, как не допускающий разноречия тиранизм, и возражения слышатся только со стороны немногих вроде Робеспьера“ (II, 339). Ковалевский весьма подробно останавливается также на том, какое решение дано было Учредительным Собранием вопросу о собственности, и в какой мере отразились на нем его симпатии к землевладельческим интересам среднего сословия, но особенно большой интерес представляет рассмотрение им того, „как сказались торжество буржуазии в другом поставленном на очередь вопросе, — вопросе, который публицистика XVIII века и, в частности,

физиократы, с Тюрго во главе, обнимали понятием прав труда" (II, 232 и сл.). Отвечая на этот вопрос, Ковалевский говорит, что „деятельность Конституанты на этот раз проявилась больше в разрушении, нежели в созидании. Торжественно заявленная ею свобода труда означала только благополучное завершение начатой еще Тюрго ликвидации цеховых порядков. Нельзя, разумеется, оговаривается он, не признать, за одно с экономистами XVIII века, что цеховое устройство фактически выродилось в монополию, в поддерживаемую правительством и нередко покупаемую у него привилегию ремесленного производства“, но им указывается и на то, что в основе цехов когда-то лежала известная „солидарность между предпринимателями и простыми исполнителями работ“. Цеховая организация все-таки открывала подмастерью перспективу перехода в ряды предпринимателей и устраняла тем самым ту экономическую рознь, какую вызывает приурочение одних к едва обеспечивающей существование плате и содержание в руках других всех выгод производства. „Революционное законодательство оказалось прямо враждебным к началу ассоциации“. Своим резким контрастом, говорит Ковалевский, с проведенной деятелями 1789 г. системой индивидуализма и своим сходством с теми запросами, какие еще в 1790 и 1791 г.г. сделаны были городским простонародьем, меры Конвента как нельзя лучше оттеняют тот характер покровительства интересам буржуазии, каким проникнуты были постановления и декреты против стачек и рабочих союзов в 1791 г. Но, читаем мы далее, это противоречие политики Конвента с законами Учредительного Собрания не мешает признанию тем и другим одинаковой враждебности к началу ассоциации и той же уверенности, что помощь в нужде может придти только со стороны государства. В этом отношении деятели 1789 г. и в такой же мере, как деятели 1793 г., вполне являются людьми своего века, вполне разделяют свойственное ему предубеждение против так называемого *esprit particulier* или *esprit de corps*, другими словами, против той солидарности, какую общность судьбы и единство занятий порождают между лицами одного промысла и одного ремесла.

Во втором издании (1899—1901) первый том „Происхождения современной демократии“ вышел уже в виде двух

отдельных книг, благодаря значительным дополнениям, сделанным автором, и в виде же двух отдельных книг появилась во французском переводе та часть первого тома, которая заключает в себе описание общественного строя дореволюционной Франции¹⁾. Сравнительно с первым изданием во втором особенно был расширен отдел о промышленности, о цехах и о рабочих: в первом издании он занимал менее сорока страниц, во втором занял уже около 255 страниц²⁾. В конце 1911 г. первый том „Происхождения современной демократии“ вышел в третьем издании (помеченным 1912 г.), еще более выросши сравнительно со вторым изданием, благодаря разным дополнениям, в основу которых автор положил новые материалы, заключающиеся в известной „Collection de documents inédits sur l'histoire économique de la révolution française“, преимущественно данные наказов 1789 г., появившихся в этом громадном издании³⁾.

Из своей работы над этими материалами и прибавленных к новому изданию первого тома „Происхождения современной демократии“ страниц Ковалевский сделал еще и другое употребление. В „Гестнике Европы“ за 1911 год он напечатал ряд „Очерков социального быта Франции“ под заголовками: „Крестьянское землепользование до революции“, „Общинное пользование во Франции старого порядка и обязательный раздел мирских угодий, предписанных Конвентом“, „Кустари-крестьяне и фабричные рабочие накануне революции“ и „Принудительное отчуждение и судьба национальных имуществ во Франции“. В общей сложности в этих статьях было около 10 печатных листов, составивших потом большую часть еще одной книги Ковалевского, которая образовалась из этих статей с прибавкою к ним нового очерка, имеющего своим содержанием ликвидацию социального феодализма во время революции. Сама книга эта получила вместе с тем новое название — „Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции“. Самый главный источник Лу-

¹⁾ Maxime Kovalevsky. La France économique et sociale à la veille de la révolution. I. Les campagnes. 1904. — II. Les villes. 1911.

²⁾ См. подробнее в статье моей „Что сделано в исторической науке по вопросу о положении французских рабочих перед революцией 1789 г.“ (в „Изв. Пол. Института“, т. XV, и отдельно, стр. 11 — 12).

³⁾ Об этом издании в томе II (стр. 171) „Историков франц. рев.“, а так же в заметках моих в „Изв. Спб. Политехи. Инст.“ за 1908 г., из коих одна была переведена на фр. яз. в „La Révol. Fr.“ за 1909 г.

чицкого по вопросу о мелкой собственности Ковалевским отвергается, и выдвигаются на первый план указы 1789 г., к которым, наоборот, Лучицкий отнесся вообще с большим недоверием. Но и Ковалевский, подобно Лучицкому, отметил неравномерность распределения земли между крестьянами и „расслоение крестьянской среды на несколько пластов“, только с проведением несколько более резкой грани между *laboueurs* и *manouvriers*, в которых он видит „сельский пролетариат“ в строгом смысле. Главное же, это—то, что по самому основному пункту Ковалевский высказался в смысле полного несогласия с Лучицким.

По его мнению, „имущественная обеспеченность крестьян не только не возрасла в годы, предшествовавшие революции, но значительно пала“. Если, прибавляет он, дворянское землевладение стало сокращаться в своем размере, то не в пользу крестьян-собственников, а в пользу частью городской буржуазии, частью сельского мещанства, своего рода кулаков, слывших под названием „деревенского третьего сословия“. Известно, что крестьяне нищенствовали: „Где уж тут было думать о приобретении земель в собственность?.. Трудно, аргументирует еще Ковалевский, ждать роста мелкой собственности там, где, по описанию наказов, земледелец, проведший всю жизнь в тяжком труде, умирает в большей бедности, чем та, при которой он впервые приступил к обработке почвы“. Ковалевский не отрицает, правда, существования земельного обеспечения сельского населения, но не хочет признавать, чтобы речь могла идти о распространенности крестьянской собственности: что все *laboueurs*, за немногими исключениями, были мелкими собственниками, этого он не считает себя в праве утверждать на основании наказов. Дело в том, что под собственностью он понимает только собственность полную, алодьяльную, а не ту условную, феодальную собственность, под понятие которой подводятся не только цензовые (чиншевые) участки, но, в сущности, и феоды, находившиеся в руках высших сословий. Автор полагает, что если в сборниках кутюмного права применяется к крестьянам название собственников (*propriétaires*), то лишь потому, что в этих источниках под собственностью понимается всякое наследственное пользование, хотя бы связанное с производством тех или иных служб и плате-

жей. „Франция этого времени, говорит он, известно было одно зависимое владение сельских возделывателей земли, нечто подобное вечно-наследственной аренде, связанной где с несением барщины, где с платежом оброка деньгами или натуральными продуктами. Ценз, отвечающий понятию польского чинша, и шампар — то же, что сдача земли с части годовых урожаев, обыкновенно трети, редко когда половины“. Итак, то, что другие исследователи признают за мелкую крестьянскую собственность, хотя и условную, чиншевую, Ковалевским подводилось под понятие аренды, хотя и наследственной, но при этом он (неправильно, по моему мнению) смешал сеньориальный ценз (чинш) в форме шампара (т.-е. известной части урожая) с половническим оброком, тогда как это далеко было не одно и то же (45, срав. 129 и 130).

Местами, впрочем, Ковалевский как-бы идет на уступки и готов признать мелкую собственность, которая, однако, „или является настолько дробной, что не обеспечивает достаточного дохода для прокормления двора, или же не отвечает современному представлению о независимом владении, так как обложена платежами, натуральными или денежными, в пользу помещика“. „Мелкая крестьянская собственность, говорит он еще, существует, но в скромных размерах; при том она не отвечает понятию вполне свободного землевладения.. Мелкие собственники многочисленны, но их владения составлены из небольших долей“, и сами они „далеко не собственники в современном смысле слова, а эфитевтические владельцы, т.-е. наследственные арендаторы“. Но нужно заметить, что и Лучицкий не только не настаивает на алодиальном характере мелкой собственности, а прямо говорит о господстве исключавшего ее сеньориального строя. В своих „Беглых заметках по экономической истории Франции в эпоху революции“ я довольно подробно рассмотрел причины разногласия между обоими историками. Эти причины я свожу к трем пунктам: 1) к разным источникам сведений того и другого, 2) к неодинаковому пониманию ими того, что следует разуметь под собственностью, и 3) к неодинаковому толкованию терминов *laboureurs* и *manouvriers*.

В „Очерках социального быта Франции“ („Происхождение мелкой крестьянской собственности“ тоже) отношениям

старого порядка Ковалевский посвятил еще главы об общинных пользованиях и о „крестьянах-кустарях с фабричными рабочими“. По первому вопросу в первой своей работе автор также пользуется данными новых изданий наказов, отмечая полуго, что недавно обнаруженные материалы только подкрепляют выводы, которые ему удалось установить в первых двух изданиях „Происхождения современной демократии“. Он подчеркнул при этом (с некоторым преувеличением, может быть), что нет решительно ни одного приходского наказа и ни одного написанного заявления, исходящего от крестьян и излагающего их нужды, в котором так или иначе не упоминалось о праве в'езда и выпаса, о свободном прогоне стад после уборки и о всяких мирских пользованиях вообще, как о насущных вопросах, от которых зависит материальное благосостояние крестьян, возможность сохранить их вековой союз с землею или, наоборот, необходимость покинуть деревню и искать заработка на стороне (61).

„Крестьяне-кустаряи“ в историографии старого порядка — тема новая, по которой почти совсем нет литературы, а то, что есть, более всего сделано русскими исследователями, прежде всего Ковалевским, извлекиим на этот счет не мало данных из наказов 1789 г., позднее же, как увидим, Е. В. Тарле, собравшим много других свидетельств из архивов о том же самом предмете. В главе о „крестьянах-кустарях“ Ковалевский на основании наказов говорит и о цеховом строе, и о так называемом компаньонаже, и вообще о французской промышленности (98 — 123). Об исследовании проф. Тарле „Рабочий класс во Франции в эпоху революции“, два тома которого появились в печати в 1909 году, речь наша дальше.

Ковалевский в своих „Очерках“ и в книге, которая из них образовалась, захватил и эпоху самой революции, разработав вкратце, кроме крестьянского землепользования и деревенских кустарных промыслов, еще три темы, — об обязательном разделе мирских угодий, предписанных Конвентом, о продаже национальных имуществ и (в книге, но не в „Очерках“) об отмене феодальных прав во время революции. Эти три темы поставлены у него в теснейшую взаимную связь. Отмена феодальных прав привела к „демократизации землевладения“ в стране, в которой ранее революции мелкая алодпальная собственность являлась не более, как исключением. Начиная с августов-

ских декретов 1789 г. французский крестьянин сделался собственником тех же наделов, за которые прежде отбывал разные повинности. Законами революции на этот счет, по автору, и „завершился процесс создания во Франции мелкой собственности“. Далее, „переход в руки крестьянства части церковных и монастырских имений, как и конфискованных у эмигрантов земель, расширил кадры крестьян-собственников“. Наконец, „тому же исходу содействовали меры Конвента по отношению к общинным землям, принудительный дележ их поголовно между всеми жителями деревни“, независимо от категорий, на которые они разделялись. Вот почему отдельное издание своих „Очерков“ Ковалевский и озаглавил: „Происхождение мелкой поземельной собственности во Франции“. Последняя, таким образом, имеет, по его представлению, три источника: 1) освобождение старых крестьянских наделов (вечно — наследственных арендных участков, по толкованию автора) от повинностей в пользу сеньоров, или „ликвидация феодальных отношений“, 2) покушки крестьянами кое-чего из национальных имуществ, т.-е. земель церкви и дворянства, подвергшихся „принудительному отчуждению“ и 3) раздел мирских угодий в эпоху Конвента. Эти меры революции, оказавшие, по представлению автора, громадное влияние на весь аграрный строй новейшей Франции, следовали одна за другой в том порядке, в каком они здесь названы, но в своем новом труде Ковалевский рассмотрел их в порядке, обратном этому.

В первом издании „Происхождения современной демократии“ вопросу о формах французской промышленности и о цеховом строе не было посвящено и сорока страниц, в третьем две главы об этом занимают уже более двухсот страниц. По общему представлению Ковалевским этого предмета, „столетия, предшествовавшие перевороту 1789 г., были свидетелями быстрого развития невыгодных сторон цеховой организации“. Это — ее замкнутость и монополизация, сосредоточение промышленности только в городах и т. п. Автор подробно рассмотрел разные стороны цехового быта накануне революции, между прочим, компанияжи (рабочие союзы) и стачки, правительственные распоряжения и полицейские меры, касавшиеся цехов и т. п. Вопросы об отношениях между крупным и мелким производством и, равным образом, об иностранной конкуренции, о правитель-

ственной регламентации, об отдельных важнейших отраслях французской промышленности и пр. тоже подробно разработаны в книге Ковалевского. Общий вывод из его главы о промышленном строе Франции накануне революции тот, что „недостаток капитала и несовершенство технических форм производства, в связи с фискальной политикой и вредом, приносимым предприимчивости правительственными регламентациями, поставили фабричное производство Франции в условия, при которых ей трудно было выдержать конкуренцию“ с английской промышленностью. Оканчивая эту часть обзора трудов Ковалевского, нужно подчеркнуть, что свою работу по социально-экономическому строю Франции до 1789 г. он предпринял еще до Жюреса, и что у него вопрос об аграрно-крестьянских отношениях выяснен лучше, чем у Жюреса, который им и интересовался сравнительно мало¹⁾.

У Ковалевского была еще одна книга, которую нельзя пропустить в нашем обзоре. Книга эта называется „От прямого народовластия к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. — Рост государства и его отражение в истории политических учений“, а ее третий том, вышедший в 1906 году, посвящен: 1) „учению о прирожденных правах человека и об основах конституционного образа правления, 2) „теории ограниченной представительной монархии, построенной на разделении властей“, и 3) „теории прямого народовластия“. Конечно, в этой книге речь идет, главным образом, о политических идеях Монтескье и Руссо, причем автор возвратился здесь к мысли, которую доказывал уже раньше, что напрасно-де историки политических учений проводят слишком резкую разграничительную черту между Монтескье и Руссо. „Чем ближе, говорит он, мы знакомимся с учением Руссо, тем более убеждаемся, что в нем нельзя видеть систематического отрицателя доктрины Монтескье“ (203). Поэтому он, как прежде, критикует правильность различения во французской революции „двух взаимно исключающих друг друга течений“, вмевших родоначальниками Монтескье и Руссо. Повторяя свой старый тезис, Ковалевский сослался, прежде всего, на то, что говорил по этому в I томе „Происхождения современной демократии“, где было показано, как из двух про-

¹⁾ Историки франц. рев., т. II, стр. 227, 228 и 235.

тиворечивых направлений искусственно была составлена общая схема „демократической монархии“, которая „также далеко стояла от политических возжеланий Монтескьё, как и от представления Руссо об условиях единственно возможного закономерного правительства“¹⁾. Эта точка зрения автора совершенно правильна, но если деятели революции известным образом в своих политических доктринах комбинировали принципы и Монтескьё и Руссо, то из этого еще не следует, чтобы сами эти принципы сходились между собою. Ковалевский поставил своею задачею доказать и этот тезис: для него между обоими учениями лежит меньшая бездна, чем та, которую обыкновенно допускают. Против этого уже прямо можно спорить, и, прежде всего, усумниться при этом в правильности метода автора, придающего, по моему мнению, слишком много значения совпадению мыслей Монтескьё и Руссо в отдельных частных пунктах.

Для своего нового изложения и анализа учений обоих писателей Ковалевский воспользовался и тем новым, что дала ему в этом отношении литература за последние годы. Для Монтескьё у него была книга Баркгаузена (или Баркозена) и одна его статья о предполагаемом беспорядке, в каком следуют одна за другой главы „Духа Законов“. У автора было, конечно, и известное издание „Общественного Договора“, сделанное Дрейфус-Бризаком, и работа проф. Алексеева²⁾ и т. п. Но нельзя не отметить, что напрасно Ковалевский не обратил внимания на книгу Герье о политическом учении Мабли, которого раньше не изучали, как политика. Герье, как мы знаем, первый анализировал политическое учение Мабли³⁾ и пришел к тому заключению, что его доктрина является своего рода комбинацией между идеями Монтескьё и Руссо, наиболее приближающеюся к системе, осуществленной в 1789 г. Этот вывод, как нельзя больше подходит к основному взгляду самого Ковалевского на происхождение учения о демократической монархии из своеобразной комбинации идей Монтескьё и Руссо⁴⁾.

¹⁾ 205; ср. выше, стр. 188.

²⁾ См. выше, стр. 169.

³⁾ См. выше, стр. 151—153.

⁴⁾ Упомяну еще о статьях Ковалевского, о Ковдорсе и о Б. Костане в молодости. (Вестн. Евр. за 1884 и 1895 г.г.).

П. Н. Ардашев.

В 1900 и 1906 годах вышел в свет двухтомный труд проф. П. Н. Ардашева „Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка“, к которому нужно еще прибавить том оправдательных документов 1903 года. Об этом исследовании, заключающем в обоих томах около 1400 страниц, я уже подробно высказывался в печати ¹⁾. В своем отзыве о труде П. Н. Ардашева, составленном по поручению Академии Наук, я дал такую общую характеристику сделанного автором „Провинциальной администрации во Франции“: „Для своего вопроса, представляющего большой интерес в изучении французского старого порядка, автор собрал громадный материал, изучив большую литературу, посвященную старому порядку, и массу печатных источников, из которых многое до него не обращало на себя должного внимания, главное же — обогатив историческую науку массой новых сведений, извлеченных из архивов. К своим предшественникам он всегда относится с должной критикой, вполне самостоятельно противопоставляя их приемам свой строго продуманный метод, основанный на различении разных эпох старого порядка и местных особенностей отдельных частей страны, равно как на предпочтении конкретного, документально-делового материала законодательному материалу, которому действительность очень часто и не соответствовала. Самую задачу своего исследования проф. Ардашев поставил широко, взяв провинциальную администрацию на общем фоне политической и социальной, экономической и культурной жизни Франции накануне революции“.

Введением в свой труд, заключающий обстоятельный обзор исторического изучения старого порядка вообще и провинциальной администрации в частности ²⁾, Ардашев в значительной мере сам облегчил оценку сделанного им для исследуемого предмета. По количеству работ, посвященных во французской исторической литературе старому порядку,

¹⁾ Работы русских ученых по истории французской революции, стр. 76 — 80. Мой отзыв в „Отчете о XIII присуждении премий митроп. Макария“ (1910), статья около сорока страниц большого формата. — „Французская революция в трудах русских ученых“, стр. 13 — 26.

²⁾ Истории фр. рев., т. II, стр. 8.

можно было думать, что здесь все исчерпано, все исследовано и более, пожалуй, ничего не остается историкам сделать, но автор книги убедительно доказывает, что, в общем, качество произведенной работы, далеко не соответствует ее количеству. Господствующее впечатление, вынесенное им из изучения всей этой поразительно обширной литературы, определяется им самим, как „впечатление хаоса и тумана, в которых все труднее и труднее становится разобраться по мере того, как углубляешься в дебри этой литературы“. В частности, он отнес это и к изучению истории французской администрации перед революцией 1789 г. — области, в которой, и как он выразился, „мы на каждом шагу наталкиваемся на неясности, недоразумения, разногласия, противоречия“. Причины этого явления он усматривает либо в исторической литературе, либо в источниках, либо, наконец, в самом предмете, и этим тройного рода причинам он посвятил по целой главе в своем обширном „Введении“. При всей своей громадной начитанности в литературе предмета и при совершенном беспристрастии делаемой им оценки, автор мог назвать лишь очень ограниченное число книг, которые его сколько-нибудь удовлетворили в полной мере. Одним из недостатков в этой литературе он признал то, что писавшие о старом порядке не различали в нем разных эпох. Сам исследователь ограничил свою тему „последнею порою старого порядка,“ т.-е. 15-ю годами, протекшими со вступления на престол Людовика XVI до начала революции (1774—1789), что не мешало ему делать (здесь и там) экскурсии в более ранние эпохи. Кроме исторической перспективы, он настаивает на необходимости „не упускать из виду того, что, по аналогии с исторической перспективой, можно было бы назвать перспективою географическою“. Во Франции, поясняет он, перед революцией царил большая пестрота отношений, порядков, учреждений, вследствие чего и нужна крайняя осмотрительность при всякой попытке обобщения по схеме: здесь, следовательно, и там, здесь и там, следовательно и всюду. В том, что автор систематически проводит требование исторической и географической перспективы через весь свой труд, заключается одна из наиболее сильных сторон последнего. Ардашевым вообще собрана поразительно громадная библиография, и его из новейших историков, состав-

влиявших инвентари того, что имеется в литературе по истории Франции конца XVIII в., превзошел по обиллю материала разве один только Буассонад в своих „Etudes relatives à l'histoire économique de la révolution française“, вышедших, впрочем, в свет уже после труда Ардашева. Общий его вывод о литературе старого порядка по отношению к его теме — тот, что значительная часть литературы предмета, в сущности, вовсе не относится к предмету.

Отношение Ардашева к источникам заслуживает также большого внимания. Он работал и в целом ряде французских архивов. Главным из них был, конечно, Национальный Архив в Париже (вместе с рукописным отделением Национальной Библиотеки), а из провинциальных архивов более всего автор извлек материала из департаментского архива Шалопы-на-Марне; кроме того, для разного рода справок и пополнения пробелов, он побывал в архивах целой дюжины провинциальных городов в разных частях Франции; если же ему не удалось посетить некоторые интересовавшие его хранилища, он наводил в них необходимые ему справки через местных архивистов. Одним словом, он употребил все усилия, чтобы собрать как можно более неизданного материала, результатом чего и было накопление им большого количества совершенно до него неизвестных фактов, имеющих нередко первостепенное значение не только для его специальной темы, но и вообще для старого порядка во Франции. Часть этого материала Ардашев издал в виде особого сборника, заключающего в себе шесть сотен документов, приводимых целиком или в извлечениях, не говоря уже о том, что массу выписок из архивных документов он пользовался и в подстрочных примечаниях к тексту книги.

Одним из наименее изученных отделов архивного материала Ардашева является административная переписка до-революционной эпохи, сохранившаяся до нашего времени если не целиком, то в наиболее значительной своей части, хотя существование этого источника еще в середине XIX в. было открыто Токвилем ¹⁾. После него весь этот материал был как бы совершенно позабыт. Его-то и положил Ардашев в основу труда. Данный источник он поставил на первом месте,

¹⁾ Историк франц. революции, т. II, стр. 16—17.

как, по его мнению, наиболее чистый, правдивый, богатый и разнообразный, как источник даже универсальный, что не мешало ему остаться в числе наименее исследованных и наиболее позабытых.

Есть, как известно, для истории Франции конца XVIII в. еще один в высшей степени важный источник, которому можно было бы применить все, что Ардашев говорит об административной переписке, особенно сравнивая ее с такими источниками, как мемуары с их субъективизмом, или законодательные памятники, не могущие считаться точною копиею действительности. Это, конечно, указы 1789 г. Наш исследователь признал в теории важность для себя и этого источника, однако, на самом деле он вообще слишком мало и редко прибегал к этому источнику: его исследование только выиграло бы, если бы, приступая к делу, он не убедил себя в том, что материал, заключающийся в указах, для его задачи имеет лишь второстепенное значение. Кроме административной переписки, еще у Ардашева были под руками и разные другие случайные, немногочисленные, но не лишние интересы для его задачи документы, например, целая серия, содержащая в себе процессы некоторых из последних интендантов перед парижским революционным трибуналом. Кое-что пригодное для своей задачи Ардашев нашел еще в архиве министерства иностранных дел. В департаментских архивах он изучал бумаги отдельных провинциальных штатов, существовавших в последнюю пору старого порядка, не входя уже в подробное перечисление всех печатных изданий документального характера, т.-е. такого же содержания, какое имеют главные архивные его источники. Дореволюционной периодической прессе сам Ардашев не придает большого значения для своей темы, считая за новую эру в истории французских газет лишь время открытия Генеральных Штатов. Что касается до мемуарной литературы, то и ее он привлекал, но пришел к тому выводу, что в ней нет ничего существенного, важного для его задачи. Гораздо больший интерес представляли для него различные сочинения современников, каковы: трактаты, публицистические брошюры, памфлеты и т. п., но он справедливо нашел этот обширный и разнообразный материал очень мало критически разработанным.

На основании такого-то громадного количества источников и пособий и при помощи научного исторического метода Ардашев дал во многих отношениях более верное и точное изображение старого порядка вообще, нежели многие другие историки. Между прочим, он очень убедительно доказал, что внутри установившегося в общих чертах строя, называемого старым порядком, „происходила постоянная хотя и медленная работа — непрерывная, хотя и не бросающаяся в глаза эволюция, гораздо менее заметная в своем процессе, чем в своих результатах“. „С точки зрения законодательных норм, замечает он, старый порядок должен производить впечатление застоя и неподвижности“, но, всматриваясь непосредственно в конкретную историческую действительность, мы не можем не видеть той глубокой перемены в физиономии старого порядка, например, с середины XVII до второй половины XVIII века. Совершавшаяся в старом порядке внутренняя эволюционная работа происходила, по его мнению, гораздо менее путем видимых реформ, путем законодательного изменения учреждений, чем путем фактических изменений в самом порядке вещей, независимых от воли и усмотрения законодателя, а вместе с тем и легко ускользающих от постороннего наблюдения.

Вообще, говоря о труде Ардашева, следует не упускать из виду, что его содержание гораздо шире его заглавия. На первом плане или в центре, конечно, у него стоят интенданты, но около почти вполне исчерпывающих тему о них сведений автор сгруппировал массу самых разнообразных данных о тогдашней Франции, об ее экономическом и культурном состоянии, об отношениях чисто социального характера, о порядках, господствовавших в центральном управлении, о сторонах жизни строго политического значения и т. п. „Книга Ардашева, писал я о ней в своем академическом отзыве, — по разнообразию своего содержания могла бы даже претендовать, пожалуй, на право быть названной целою энциклопедией старого порядка, хотя, разумеется, о многом в ней говорится лишь коротко, а в иных отдельных случаях найдутся и пробелы, которые, — впрочем, надеялся я, — может быть будут выполнены в третьей части труда, которая в свет, к сожалению не вышла. Общий взгляд его на тогдашнее состояние страны, особенно в сфере народного хозяйства,

нельзя не назвать оптимистическим: можно не соглашаться в данном вопросе со многими частными положениями автора, находить преувеличения в оценке сообщаемых фактов и, в особенности, считать довольно рискованным отнесение им изрядной доли в создании культурного прогресса страны на счет инициативы и участия „просвещенной администрации“.

Что касается специальной темы Ардашева, т.-е. управления Франции интендантами, то свое изучение этого предмета он разделил на три более частные темы. Первая из них — интендантство, как учреждение; она разрабатывается в первом томе. Во втором автор предполагал сначала, с одной стороны, „познакомиться ближе с теми людьми, которые воплощали в конкретной действительности это учреждение“, а с другой, — „выяснить ту роль, которая выпала на долю интендантов — и как учреждения, и как людей — в различных событиях изучаемой эпохи“, но вопрос о „людях“ оказался при его разработке гораздо более сложным, чем автор предполагал, и потому второй том ушел целиком на выполнение второй темы, так что о роли интендантов в „событиях“ эпохи он пообещал говорить лишь в третьем, как только-что было сказано, не состоявшемся томе. Впрочем, уже во втором томе у него есть относящаяся к этому глава о „просвещенном человеке“ и „просвещенном администраторе“. В ней Ардашев попутно дал очень содержательную характеристику французского общества накануне революции, насколько настроение этого общества нашло выражение в литературе эпохи. Он подвел итог под всем, что только можно сказать об идеале просвещенного человека в изучаемую им эпоху, как друга философии, поклонника разума и природы, филантропа, любителя свободы и пр. и пр. Вот эта просветительная философия и „проникла, говорит он, в администрацию“, и она, — в чем одна из его заслуг, — собрал большое количество данных об администраторах, бывших вместе с тем и писателями, — данных, действительно характеризующих людей, хотя для темы автора („люди“) были бы более интересны административные, а не литературные портреты. Что интенданты времен Людовика XVI были просвещеннее и гуманнее, чем за сто или за пятьдесят лет перед тем, это автор доказал неопровержимо, хотя отсюда далеко еще до права на тот хвалебный тон, которым отличаются многие

места книги. Нельзя не поставить Ардашеву в заслугу и то, что он взялся проследить на деятельности интендантов практическое влияние физиократии. Нельзя не согласиться, наконец, с мыслью автора, что „просвещенный произвол“ интендантов был „французскою параллелью просвещенному деспотизму эпохи“. Ардашеву принадлежат еще брошюры в защиту Тэна (Историки, II, 69) и о книге Ону (см. ниже).

В заключение этой характеристики труда Ардашева нужно указать, что, идя по стопам Токвиля, наш исследователь тем не менее вносит постоянные поправки во многие его мнения. Прибавим, что второй том труда появился в 1909 году во французском переводе под заглавием „Les intendants de province sous Louis XVI“ и был достойно оценен французской научной критикой ¹⁾.

Прежде чем перейти к следующему труду, касающемуся Франции в эпоху революции, следует отметить еще, что Ардашев, в бытность свою профессором Киевского университета, организовал в нем практические занятия со студентами по изучению наказов 1789 г. Результаты работ этого семинария выразились в появлении сначала в местных „Университетских Известиях“, потом отдельными книжками небольших исследований: коллективного — трех студентов (Никифорова, Рудкевича и Евстафьева) „Наказы третьего сословия Аррасского бальяжа в 1789 г.“ и одного Н. И. Никифорова „Сеньериальные повинности по наказам третьего сословия Этампского бальяжа в 1789 г.“ (1912), — книжки, о которой мною в свое время был сделан отзыв ²⁾. Года через два из семинария на Высших Женских Курсах вышла работа П. К. Григорьевой „Суд во Франции при старом порядке по наказам Санесского бальяжа ³⁾. Наконец, в 1915 г. в Киевских „Университетских Известиях“ появилась еще студенческая работа Д. К. Петрова „Ликвидация сеньериальных отношений во Франции“ с очень полезным объяснением, в алфавитном порядке, терминов феодального права.

¹⁾ Мне известны статьи в „La Révol. Franc.“, в „Revue d'histoire moderne“, в „Engl. histor. review“ (1901), а также в „Journal des Savants“ за 1901 г., где Дарест писал: „Это самый полный труд, какой только был издан до данного предмета и за который мы, французы, должны быть благодарными автору“. Всех отзывов было до 30. Хорошие отзывы о труде Ардашева были и в русской печати.

²⁾ „Беглые заметки“, т. II, стр. 101 — 105.

³⁾ „Беглые заметки“, т. II, стр. 135 — 136.

А. М. Ону ¹⁾.

В русской исторической литературе особенно пощастилось наказам 1789 г., и ей же принадлежит единственное большое критическое исследование их, как исторического источника. Автором его является А. М. Ону, один из первых моих учеников, занимавшийся в 1886 году под моим руководством изучением наказов еще на студенческой скамье и вспомнивший меня, как своего учителя в посвящении книги, в котором значится имя и французского исследователя истории выборов 1789 г. Армана Бретта ²⁾. В 1893 году в „Журнале Министерства Народного Просвещения“ стали появляться, время от времени, статьями отдельные главы этого труда, из которых и должна была потом составиться книга. Но по мере дальнейшей работы автора уже написанное им начинало скоро делаться устарелым, особенно в виду появления новых изданий наказов и по мере того, как сам он находил новый неизданный материал в парижском Национальном Архиве. В конце концов, была написана совсем новая книга, плод пятнадцатилетней работы, под заглавием „Выборы 1789 г. во Франции и наказания третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны“ (1908), — книга, через год по выходе получившая академическую премию имени М. Н. Ахматова по лестному отзыву И. В. Лучицкого ³⁾. Прибавлю, что кое-что из этого своего труда, подобного которому не было до него во французской историографии, автор опубликовал по-французски ⁴⁾.

Этот труд Ону заключает в себе более семисот страниц и, кроме предисловия со списком источников, содержит „введение“, где сказано о плане всей работы и об исторической обстановке выборов 1789 г. по последним дан-

¹⁾ О работе А. М. Ону см. у меня подробнее в „Работах русских ученых“, стр. 66—75, и в „Эпохе французской революции“, стр. 62—74, а также в „Беглых заметках“, I, 94—98 и II, 64—76.

²⁾ О Бретте см. стр. 167 второго тома „Историков фр. рев.“.

³⁾ Сборник о премиях и наградах за 1909 год. Кроме того, о книге Ону издах отдельную брошюру в России П. Н. Ардашев.

⁴⁾ La comparaison des paroisses en 1789 (в „La Rév. Fr.“ 1897) и De la valeur des cahiers au point de vue économique (там же за 1903 г.). В том же журнале за 1909 год Ону сам вкратце изложил свою книгу (Les élections de 1789 et les cahiers du tiers état, томы 56 и 57).

ным, и шесть больших глав с заключением. В первой главе автор рассмотрел „закон о выборах“, т.-е. регламент 24 января 1789 г., и „отношение власти к избирателям“, именно и центральной власти, и властей местных. Глава вторая посвящена „давлению и избирательной борьбе в приходах“, и здесь, в частности, рассмотрены следствия председательства сенъериальных судей в приходских собраниях и отношение к выборам самих сенъеров, равно как настроение народа и избирательная борьба в приходах. В третьей главе, носящей название „Первичные собрания приходов“ автор остановился на том, как эти собрания протекали, насколько успешен был их созыв, как велико было личное участие в сходах, что было причиной неявки некоторых приходов и т. п. В следующей затем главе речь идет уже о „составлении первичных наказов и о степени сознательности избирателей“. Именно Ону разобрал здесь вопросы об избирательной пропаганде, об участии в составлении наказов — таких категорий лиц, не принадлежащих к крестьянству, как судейские, священники и т. п., о значении задачи этих посторонних редакторов наказов, о влиянии на составление последних со стороны готовых образцов и т. д. И, коснувшись степени сознательности избирателей, он не обошел вопроса и о том, во всей ли Франции сельская масса понимала французский язык и каково было в ней состояние грамотности. В главе пятой главный предмет — „достоверность наказов“ с подразделением достоверности на суб’ективную и фактическую, при чем рассматриваются и идеализация наказов, и огульно отрицательное к ним отношение со стороны разных писателей, а также устанавливается научный критерий суб’ективной достоверности наказов. Последняя глава представляет обзор „содержания наказов“ по рубрикам политических требований и аграрного вопроса с народным хозяйством. Наконец, в заключении подводятся итоги по вопросам о методах изучения наказов, об отражении на выборах действительного соотношения общественных сил и о смысле наказов.

В первую категорию источников Ону вошли 90 картонов серии В-а и 174 фолианта серии В III в парижском Национальном Архиве. До нашего исследователя этот обширный материал по истории выборов в Генеральные Штаты 1789 г. был известен лишь немногим историкам, но из них никто

не изучал его исчерпывающим образом. Положив его в основу своего труда, автор подверг его систематическому изучению и тщательной критике. Раньше Ону наиболее пользовался этим материалом Бретт в своем „Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789 ¹⁾), но он ограничился исследованием, так сказать, одного механизма выборов 1789 г. и их географии, а это далеко не все, что можно сказать об этих выборах. Ону явился среди историков первым, кто изучил все имеющиеся в обеих сериях данные, при чем произвел сличение между данными этих серий и обнаружил в имеющихся копиях второй серии документов первой и пропуски, и неточную передачу. Уже один этот материал дал ему массу ценных фактов, проливших свет на многие стороны вопроса.

Вторую категорию источников автора составили оригиналы брошюр, хранящихся в парижской Национальной Библиотеке, и целый ряд изданий и перепечаток. В его списке последних я насчитал до 80 названий, среди которых находятся и первые пять томов (все изданные в 1907 году) с наказами из „Collection de documents inédits sur l'histoire économique de la révolution française“. Списка своих пособий, т.-е. литературы предмета, автор не дал, но по подстрочным примечаниям можно установить, что он старался и в этом отношении быть исчерпывающе полным. Мнения разных историков, на которых Ону ссылается, он часто при том сопоставляет и вообще подвергает, когда нужно, своей критике. Самая задача, которую наметил себе автор, имела строго критический характер. Историю выборов и наказания 1789 года Ону изучал „с точки зрения их соответствия истинному настроению страны“, и, как подзаголовок, в титуле этой книги значится, что это — „опыт установления метода исследования и критики наказов, как исторического источника“.

О наказах 1789 г. в исторической литературе высказывались очень не одинаковые взгляды. Для многих эти документы являются чем-то вроде национальной святыни, тогда как, например, немецкий историк Валь ²⁾), — не говоря уже о Тэне, — видит в наказах только орудия агитации, полные всяких преувеличений и совершенно неосновательных жалоб.

¹⁾ Историк фр. рев., т. II, стр. 167.

²⁾ См. выше, стр. 98.

Среднее положение по отношению к наказаниям заняли историки, внесшие в свои взгляды известного рода скептицизм, который автор считает — единственно плодотворным. Были ли наказания истинным выражением действительных нужд, желаний, требований населения или нет, были ли они выражением воли и сознания большинства нации или же только агитационными памфлетами некоторых отдельных лиц и кружков, — вот один вопрос, который и поставил автор для разрешения в своем труде, а другим был такой: соответствует ли действительности то, что наказания сообщали о положении дел в стране, о недостатках старого режима, о взаимоотношениях отдельных классов населения? Это — два разные вопроса о том, что в книге называется субъективной и фактической достоверностью наказов. Собственно говоря, в своей книге,носящей пометку „часть первая“, автор ограничился ответом на первый вопрос, хотя не вполне обошел молчанием и второй. Ону совершенно правильно стал на ту точку зрения, что изучение и верная оценка наказов немислимы без предварительного исследования того, как производились выборы, с которыми королевский регламент теснейшим образом связал составление наказов. Он констатировал, на основании ряда новых данных, почти полное невмешательство центральной власти в ход выборов, что можно считать окончательно установленным в науке. Правительство, объясняет он, находилось в состоянии растерянности и безволия, и составленный им регламент выборов, лишив его самого возможности оказывать влияние или производить давление на выборы, отрывал путь для других общественных сил к такому влиянию и давлению. Об этом характерном заявлении Ону собрал много любопытных данных. Именно, и местные органы власти, и разные социальные группы довольно широко пользовались возможностью направлять и выборы, и составление наказов в желательную для них, данных органов и групп, сторону. В книге убедительно доказано, что интенданты и субдеlegates во всем этом деле играли роль весьма незначительную, ибо само правительство поставило всю эту местную администрацию лишь в положение наблюдателей того, что происходило, с обязанностью охранять порядок и свободу выборов и доводить до сведения центрального правительства о их ходе. При том во время выборов общественное мне-

ние относилось к административным властям весьма враждебно, и, например, дворянство и судебные чины даже вели настоящую войну против этих орудий „деспотизма“.

Но, с другой стороны, Ону неопровержимо доказал, что сильное давление на производство выборов оказывали судебные чины, в распоряжение которых регламент отдавал выборы. Лейтенанты бальяжей и сенешальств, — бывших избирательными округами, — занимались выборной агитацией, непосредственно вмешивались в выборы, включали себя самовольно в комиссии, выбиравшиеся для редактирования наказов, даже прибегали к застрачиваниям и к введению вооруженной силы в помещения, где происходили выборы. На основании массы случаев книга заключает в себе очень рельефное изображение того, как председатели избирательных собраний открыто и беззастенчиво навязывали этим собраниям свою волю или прибегали к иным способам осуществления своих стремлений, хотя бывали и другие случаи — полного невмешательства и даже решительных отказов от принятия мандатов, несмотря на усиленные просьбы избирателей. Вместе с этим автор изобразил и то, как там и здесь вели себя избиратели, то провяляя крайнюю пассивность, то, наоборот, вступая в упорную борьбу с председателями, кончавшуюся иногда очень успешно. Все это, разумеется, так или иначе отражалось на содержании наказов и на степени их искренности, т.-е. соответствия с действительным настроением избирателей.

Далее, Ону вполне установил тот общий факт, что давление, оказывавшееся судебными чинами на избирателей, не отражалось заметным образом на требованиях, пред'являвшихся наказами относительно политических и финансовых реформ, и что большинство судейских, лишь в очень исключительных случаях настроенных реакционно, вполне разделяло идеологию и фразеологию, бывшие тогда в моде: и они нападали на абсолютизм, на министерский деспотизм и т. п. Иначе, напротив, относилось большинство их, за исключением редких случаев, к вопросам социальным, чем объясняется уступчивость председателей собраний, раз дело касалось дворянских привилегий. В данном смысле, по объяснению автора, судейские чины держались общей тактики интеллигенции и буржуазии, заключавшейся в том, чтобы не раздражать привилегирован-

ные сословия, наоборот, всячески привлекать их на свою сторону для борьбы с общим врагом, для созидания, совместными силами, нового государственного строя. В этом изображении давления судебных чинов на выборы и на составление наказов автор особенно подробно остановился не на обрусских собраниях и наказах (по бальяжам и сенешальствам), а на собраниях и наказах первичных, приходских. В последних участвовало непосредственно само население, которое, предполагалось, и должно было тотчас же диктовать содержание своих желаний.

Автор доказал фактически и то, что приходские выборы отнюдь не были, как принято было думать, очень-то свободными, что, наоборот, давление здесь было и при том довольно значительное. Шло оно, по хорошо обоснованному представлению Опу, не со стороны самих сеньеров, как это допускалось, а со стороны сеньеральных судей, которые по закону о выборах были поставлены во главе приходских избирательных собраний. Если дворяне иногда и вмешивались в сельские выборы или в составление крестьянских наказов, то больше ради снискания популярности в целях раз'единения народной массы и буржуазии — и только. Влияние сеньеральных судей было гораздо более частным и более реальным. Это все были защитники кормившего их сеньерального суда, сторонники феодального режима; и их влияние сказывалось в том, что во многих наказах ничего не говорится о тяжести сеньерального строя деревенской жизни, лежавших на крестьянской массе. Обязательным председательством сеньеральных судей избиратели были обречены или на вынужденное молчание о самых кровных интересах, или на не всегда усиленную борьбу с председателями своих собраний. Изображение этой борьбы тоже нашло место в книге нашего исследователя, который тем не менее все-таки должен был признать, что в целом ряде приходских наказов вопрос о сеньеральных правах был освещен в полном согласии с желаниями и стремлениями страдавшей от этих прав крестьянской массы. Сеньеральных судей не хватало на председательствование во всех первичных собраниях, а потому их заменяли, случалось, лица других профессий, как-то: нотариусы, секретари, врачи, священники, школьные учителя и т. п., которые иначе относились к феодальному

режиму. Наконец, местами у народной массы не было недостатка в руководителях, помощниках и защитниках в лице разных более интеллигентных лиц, без которых крестьяне в большинстве случаев были робким и безмолвным стадом.

В книге вообще дана хорошая характеристика настроения народной массы во время выборов: это было или недоверие, как бы выборы не стали только прелюдией к новому обратительству, или смутная надежда на облегчение. Кое-где даже происходили беспорядки, но, главным образом, везде царил тишина, бывшая, впрочем, по выражению автора, тишиною перед бурей. Что касается до этой интеллигенции, среди которой нашлось не мало руководителей и заступников крестьян и народного блага, то в их числе были и нотариусы, и адвокаты, и мелкие ходатаи по делам, и врачи, и приходские священники и т. п. Вопрос о явке (comparution) как отдельных приходов, так и избирателей на собраниях Ону разработал с большою полнотою. Здесь он на основании тщательной проверки протоколов пришел к заключению, что количество неявок приходов было ничтожно, и что если иной приход отмечен, как не явившийся, то это указывает лишь на явку его с приходами другого округа, как это вполне было возможно при географической запутанности административных делений старой Франции. Не принимали участия в выборах разве только самые незначительные и крайне бедные поселки, а в отношении к вопросу об участии отдельных лиц в выборах, вообще лишь в сравнительно редких случаях документы отмечают число уклонившихся, не говоря уже о том, что не всегда в них имеется и точная цифра comparants (явившихся). Тот материал, какой был у автора (из разных, притом, мест Франции), позволил ему высказать мнение, что лишь немногие избиратели не приняли участия в выборах.

Совсем новым фактом в истории выборов 1789 г., занесенным Ону в свою книгу, является избирательная пропаганда, которую организовали судебные чины, вырабатывавшие свои программы, столь же прогрессивные в политическом отношении, сколько в социальном осторожные и прямо умеренные. Эти программы, имевшие характер образцов для написания наказов, а иногда и прямо уже готовых наказов распространялись по всей Франции, между прочим, и в деревнях.

В низах населения, в сельской массе, тоже шла деятельная агитация, в которой участвовали, с одной стороны, очень консервативно — в социальном отношении — настроенные сенъериальные судьи, а с другой — сельская интеллигенция, стоявшая на радикальной, иногда даже чисто революционной точке зрения и в вопросах, более всего затрагивавших крестьянский быт. В состав этой демократически настроенной интеллигенции входили также приходские священники, державшиеся консервативных взглядов в области церковных отношений.

Вот эти-то люди, не принадлежавшие сами к крестьянской среде, и были настоящими составителями приходских наказов. Невежеству сельского населения не соответствует, как известно, литературность приходских наказов, их язык, стиль, ученость. Все это шло со стороны примерных наказов, т.-е. их образцов, или „моделей“, которые развозились и рассылались по приходам. Случалось, что присланный откуда-нибудь наказ принимался и подписывался избирателями, которые знали грамоту. В других случаях в готовые наказания вносились изменения, дополнения и т. п. На то, что приходские наказания в громадном большинстве не были, собственно говоря, крестьянскими, указывает и то наблюдение автора, что политические требования этих наказов совсем отодвигали на задний план требования социального характера. В иных наказах, кроме политических требований, других и нет, а в иных „крестьянское зерно засорено массой посторонних примесей“. Это-то и ставит перед исследователем вопрос о методе изучения наказов.

Последний вопрос Ону отлично разработал в особой, специально ему посвященной главе, где дается краткий критический обзор литературы предмета, — обзор, приводящий автора к совету руководиться в вопросе не симпатиями и антипатиями, а объективным исследованием, — и намечается общая классификация наказов, как: 1) книжно-политических, 2) неискренних и 3) субъективно-достоверных, т.-е. чисто народных. Первые, разумеется, не могли быть крестьянскими, но они были все-таки искренними по отношению к более интеллигентным слоям населения. За ними автор готов даже признать известное значение и для познания настроения народной массы: как ни невежественна была она, все-таки она не могла не чувствовать, что в наказах обещаются „хорошие вещи“. Ради этих обещаний народ даже стал относиться к образо-

ванным людям с меньшим недоверием, стал доверять интеллигенции. Настоящее выражение народного настроения Ону видит только в наказах третьей категории, в которых на первом плане жалобы на сенъериальные права, но и тут он советует быть осторожным и преподает ряд указаний, как не следует, например, руководствоваться большею грамотностью или безграмотностью наказа при зачислении его в ту или другую категорию.

В конце всего своего труда Ону сделал опыт характеристики мыслей и чувств французского народа в 1789 г. Здесь он остановился на политических требованиях наказов и на аграрном вопросе, совершенно, например, обошедши молчанием вопросы промышленности и торговли. В составлении наказов руководящая роль принадлежала интеллигенции, в состав которой входили и передовые дворяне, составлявшие цвет образованного общества, а потом бывшие и наиболее блестящими деятелями начала революции. „Первоначально, говорит Ону, все движение было в руках интеллигенции. Позднее, когда рухнул старый порядок и начался дележ добычи, идеалистов сменили реальные политики“, когда на первый план выступила буржуазия со своими классовыми интересами. „Не следует, прибавляет он, смешивать буржуазию с интеллигенцией: в начале 1789 г. во главе движения была интеллигенция, сумевшая с большим жаром и большим искусством организовать блок всех классов общества против абсолютизма“. Это именно для достижения такой цели пришлось замалчивать или отсрочивать постановку вопросов, наиболее интересовавших крестьянскую массу: основным мотивом политической тактики была боязнь контр-революции. В деятельности либеральных политиков Ону нашел и трезвый расчет, и отсутствие переоценки сил общества. По его определению, все окружные наказы третьего сословия имели буржуазный характер и были проникнуты междусословною дипломатией, первичные же наказы книжно-политического типа отражали на себе влияние провинциальной интеллигенции. Интересны страницы, касающиеся отношения наказов к монархическому принципу. В ограничении абсолютизма образованные люди видели не умаление королевской власти, а падение того, что Ону обозначает, как средостение между королем и народом, — и искали гарантий против возможно-

сти поворота назад, откуда нередко очень резкие требования с прямыми угрозами тем, что автор характеризует как политическую забастовку. Простой народ так далеко не заходил, но и он инстинктивно сочувствовал освободительному движению, понимая его в смысле изъятия короля, „естественного заступника“ своего, из-под влияния господ и дурных советников и ожидая, что отсюда произойдут великие блага в виде равноправия и большего материального достатка. Интеллигентское и народное движение дали равнодействующую в виде стремления к ограниченной и демократической монархии. Во второй половине главы о содержании наказов рассмотрены требования наказов народного типа по вопросам о сеньориальных правах и о земле. Для Ону аграрный вопрос является тем рычагом, который переместил политическое движение влево: равнодушные к политике крестьяне на почве этого вопроса и поддержали революцию. Попутно, пользуясь, между прочим, „описательными наказами“, автор коснулся здесь и фактической стороны дела, т.-е. экономического строя до-революционной Франции.

В „заключении“, предвидя возможность обвинения в противоречиях, Ону дал несколько дополнительных объяснений. Здесь, например, любознательно признание автора в том, что он „первоначально был склонен к полному отрицанию искренности наказов и уже стоял на той плоскости, по которой немецкий историк Валь покатился в направлении огульного отрицания“, но, говорит Ону в другом месте, „разобрав наказания со всей возможной строгостью и пройдя через критический период опорочивания их, я неожиданно для самого себя пришел к их возвеличению“. Именно, для него обе категории наказов, кроме сравнительно немногих фальсифицированных, имеют двойное значение, как завещание старой Франции и откровение новой Франции. Наказы, прибавляет он, „представляют неизмеримый и неисчерпаемый клад для будущего историка и социолога, под условием осторожного, вдумчивого и даже придирчивого отношения, ибо сомнение есть первый путь к знанию, и научное изучение наказов только начинается“¹⁾.

¹⁾ А. М. Ону принадлежит еще статья „Феодальные права во Франции накануне 1789 г. в сборнике „Н. И. Карееву ученики и товарищи по научной работе“ (1914).

С этим мнением русского исследователя, написавшего столь важный критический труд, нельзя не согласиться, и весьма достойно внимания, что вообще в России наказания 1789 г. вызвали к себе такое большое внимание ¹⁾.

Е. В. Тарле ²⁾

Мы видели, что новейшие русские исследователи экономической истории Франции в эпоху революции занимались, главным образом, крестьянскими и аграрными отношениями, положением же рабочих и промышленности занялся только один Ковалевский. В 1909 и 1911 по этому последнему предмету вышла капитальная работа Е. В. Тарле, ученика В. И. Лучицкого по Киевскому университету.

Исследование проф. Тарле „Рабочий класс во Франции во время революции“, о котором мне приходилось не раз высказываться в печати, представляет собою два тома, из которых первый содержит 250 страниц текста и около 60 страниц неизданных документов, а второй XVI + 547 стр. текста и около 30 страниц тоже неизданных документов, так

¹⁾ Пользуюсь этим случаем, чтобы сказать несколько слов об одном еще большом труде, принадлежавшем безвременно скончавшемуся одесскому молодому ученому Хорошуну (1872 — 1902). Это — труд весьма обширный (более 600 страниц довольно крупного формата) и называется „Дворянские наказания во Франции в 1789 г.“. Автору были известны недостатки издания наказов Лорана и Мавидаля (см. стр. 152 второго тома „Историков фр. рев.“), по которому он работал, и потому он выражает сожаление, что не мог воспользоваться более полным и лучшим изданным материалом. В первом томе, только и вышедшем в свет, рассматривается прежде всего положение дворян во Франции накануне революции, а потом анализируется и классифицируется содержание их наказов. Здесь первое место отведено сословно-консервативной программе, в которой автор видит три главных пункта: охранение дворянских привилегий, охранение сенъериальных прав и охранение провинциальных привилегий. Большая часть тома посвящена, однако, изображению экономического движения во Франции перед революцией. Автор пользуется, кроме наказов, и другими источниками для характеристики как агрономического возрождения Франции перед революцией, так и экономических требований дворянства. Более частным образом он останавливается на вопросах об экономической свободе и о податной реформе; последнему вопросу посвящена даже целая треть тома. Но все они были оставлены до второго тома, которого за кончиной автора так и не вышло.

²⁾ О его трудах подробнее см. моя статьи: в XV т. „Изв. Политехн. Инстит.“; в „Русском Бог.“ за 1911 г., в „La Rév. Franç.“ за 1912 г., в сборнике отчетов Академии Наук о премиях за 1913 г. (1918), а также в „Эпохе фр. рев.“ в трудах русских уч.“ (стр. 41 — 45, 93 — 110) и в „Веглых заметках“ сер. I, стр. 35 и 162 и сл. II, 1 и сл. Иностранские отзывы в „Revue Critique“ (1911), в „Revue du mois“ (1911) и др.

что в общей сложности на текст в обоих томах приходится около восьмисот страниц, да на приложения без малого сто. Предмет, рассмотренный автором, имеет тем больший интерес, что это вообще наименее исследованная сторона революционной эпохи — состояние обрабатывающей промышленности и положение рабочего класса. Литература вопроса сравнительно бедна, и многие отдельные темы, входящие в состав вопроса, даже совсем не разработаны. Печатных источников тоже не особенно много, и здесь Тарле ими воспользовался почти всеми. В сущности, главным его материалом были, однако, документы разных архивов Франции, как парижских, так и провинциальных. Не только почти целая сотня страниц в обоих томах его труда занята неизданными документами, но и в подстрочных примечаниях к тексту, то и дело, встречаются ссылки на архивный материал и выдержки из отдельных неизданных документов. Иногда длинные сплошные ряды страниц оказываются исключительно написанными на основании только архивных источников, что придает громадную ценность труду (в особенности второму тому), как заключающему в себе массу совсем нового, бывшего до того малоизвестным или даже совершенно неизвестным. Несколько страниц из своей книги — о сельской обрабатывающей промышленности — автор опубликовал по-французски ¹⁾, что было своего рода откровением для французских историков, бывших незнакомыми с французским переводом труда Ковалевского ²⁾. Такой же характер, как увидим, носят страницы о максимуме цен на продукты и на труд, декретированном Конвентом. Можно поэтому сказать, что своим исследованием Тарле проложил в экономической истории Франции конца XVIII в. совершенно новые пути, и что изучение истории обрабатывающей промышленности, рабочего класса, социального движения в эпоху революции было значительно подвинуто вперед новым русским историком революционной эпохи.

В первых трех главах „Рабочего класса во Франции“, на 200 с лишним страницах, вообще рассмотрено состояние французской промышленности, ее форм, ее технической

¹⁾ В. Tarlé. L'industrie dans les campagnes en France à la fin de l'ancien régime. 1910.

²⁾ Указан выше, стр. 193, прим. 1.

стороны в конце XVIII в. Особенно важны здесь страницы о крестьянах-кустарях. Деревенская промышленность издавна существовала во Франции, но была легализована лишь в 1762 г. эдиктом, разрешившим крестьянам выделку всяких тканей без обязанности входить в состав цехов, но с подчинением всем правилам, регламентировавшим промышленность. Общее значение сельской индустрии, по хорошо обоснованному мнению автора, заключалось в том, что она нанесла сильный удар цеховой организации, а вместе с тем подорвала самую регламентацию промышленности, так как надзор за деревенскими производителями оказался совсем невыполнимым. Тарле собрал много данных, свидетельствующих о развитии во Франции перед 1789 г. этой сельской индустрии, и приведенные им факты дают право утверждать, что во многих местах деревня успешно соперничала с городом, что деревня иногда даже превосходила город, и что нередко промышленный заработок крестьянина-рабочего был не побочным, а главным в его скромном бюджете. Интересны также сообщаемые в труде сведения о том, как само правительство, в последнюю пору старого порядка, покровительствовало сельской индустрии и как недоброжелательно, наоборот, смотрели на занятия, отнимавшие рабочие руки от сельского хозяйства, представители этого последнего.

Весьма также интересны сведения, сообщаемые здесь относительно типов промышленной организации не только в разных провинциях, но и в одной и той же провинции, а иногда в одной и той же деревне. „Французская деревня, говорит автор, работала и продавала не по одному и тому же шаблону“. Именно, во французских деревнях существовали и ремесло (Handwerk), и домашняя промышленность (Hausindustrie) с подразделением последней на разновидности. Все эти формы Тарле нашел засвидетельствованными в архивных документах. Стачечного движения, уже существовавшего в городах, наш исследователь в деревнях не обнаружил и объяснил это разрозненностью деревенских производителей. Далее, отсутствие в деревнях борьбы капитала и труда было, по его мнению, причиною того, что весь процесс замены одних форм промышленности другими ускользнул от внимания публицистов XVIII в. Изображая сам этот процесс, он пользовался донесениями инспекторов мануфактур, через кото-

рых правительстве было прекрасно осведомлено о том, что делалось в деревнях и как оттуда шла гибель для всей прежней системы регламентации. „Час пробил для цехов, говорит он, не 2 марта 1791 года, когда Людовик XVI подписал закон, уничтоживший их, а 7-го сентября 1762 года, когда Людовик XV легализовал деревенских фабрикантов, совершенно независимых от какой бы то ни было цеховой организации“. Архивы дали Тарле обильный материал для того, чтобы авторитетно говорить обо всем этом, но он иногда не пользовался источниками, изданными, печатными, отнесшись к ним даже с пренебрежением¹⁾. Между прочим, он напрасно пренебрег наказами 1789 г.: он пользовался, например, разными жалобами, протестами, просьбами и т. п. и до 1789 г., и после 1789 г., но почему-то главные жалобы и просьбы, содержащиеся в наказах этого года, оставил вне круга своего внимания, если не считать редких и случайных ссылок на этот материал, да и то больше из вторых рук.

Кроме сельской индустрии и форм мелкой промышленности Тарле коснулся в своей работе и промышленной техники во Франции в конце XVIII в., изобразив ее в своем исследовании крайне отсталою. Наконец, он обратил особенное внимание на то, что более крупной промышленности во Франции и не существовало. „Страна, говорит он (II, 43), и накануне, и во время революции рисуется странною мелкого производства. Мануфактуры, дающие работу 100 — 500 лицам, считаются крупными, дающие работу 500 — 600 человекам попадаются редко... Но даже в тех случаях, когда речь идет о 100, 200 и более человек, эти рабочие в громадном большинстве случаев не работают в здании мануфактуры“, а „получают работы на дом и работают на дому“. Картину промышленного быта Франции накануне революции, данную автором „Рабочего класса“, можно было бы назвать полною, если бы в ней не было одного существенного пробела. Излагая историю рабочего класса в эпоху революции, он, конечно, не мог не говорить об уничтожении цехов, но что такое делалось в них, каковы они были в последнюю пору старого порядка,

¹⁾ Я вообще упрекнул проф. Тарле за то, что он пренебрежительно отнесся к печатному материалу („Русск. Бог.“ V, стр. 15 и след.). Тот же упрек сделал ему потом рецензент в „Revue Critique“ (9 sept. 1911, № 36), подписавшийся инициалами Е. Т.

какие существовали отношения между мастерами и подмастерьями, как последние соединялись для борьбы с первыми и т. п., об этом он, к сожалению, не дал ничего в своей книге ¹⁾.

Главное в этом труде Тарле, однако, не в изображении предреволюционного времени, а в истории самой революции. Для 1789 и следующих годов это не был первый труд автора, относящийся к предмету. В 1908 году он издал еще книгу, заключающую в себе около 200 страниц, под заглавием „Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции“. Эта его работа, написанная по архивному материалу, в том-же году появилась в немецком переводе (*Studien zur Geschichte der Arbeiterklasse in Frankreich während der Revolution*), которым очень сильно воспользовался для своих статей о том же предмете Реноар в „*Annales Révolutionnaires*“ за 1910 и 1911 г. В данной книге Тарле рассказал о том, что делалось во время революции в четырех королевских, потом „национальных“ мануфактурах, рабочие которых, как-никак, занимали особое, так сказать, привилегированное положение среди своих собратьев, между прочим, потому, что были до известной степени артистами (в числе этих мануфактур были, например, всеветно известные Гобелены). Уже в этой небольшой работе дано было много новых архивных сведений, но особенно ими изобилует главный его труд. Для истории рабочего класса в 1789—1799 г.г. исследователь сделал так много, как до него никто, и в этом смысле его книга может быть поставлена наряду с наиболее значительными трудами, посвященными изучению экономической стороны французской революции, тем более, что сделанная им характеристика состояния французской промышленности, в ее основных формах и со стороны ее техники, позволила ему объяснить и те перипетии, которые переживались французскими рабочими в конце XVIII века.

В изучении истории французских рабочих в годы революционного потрясения, у Тарле было лишь два предшественника с крупными именами: во-первых, Левассёр, более,

¹⁾ Выводы свои об организации французской промышленности в эпоху революции автор подкрепил и в своем капитальном труде о Наполеоновской „Континентальной Блокаде“, что я имел случай отметить во второй серии „Белых заметок“.

чем кто-либо другой, потрудившийся над историей рабочего класса во Франции ¹⁾, во вторых, Жорес, в своей большой истории французской революции впервые с особым интересом отнесшийся к участию рабочего класса, как такового (а не просто собирательного „народа“), в событиях революции ²⁾. Можно сказать, что и по количеству сообщаемых фактов, и по обстоятельности их освещения русский автор превзошел обоих этих историков в изучении эпохи 1789 — 1799 г.г.

В первом томе „Истории рабочих классов и промышленности во Франции с 1789 до 1870 г.г.“ Левассёра изложение революционной эпохи занимает 290 страниц, из которых очень многие посвящены изложению политических событий или разным другим предметам, так что на темы, рассматриваемые и русским автором, остается места сравнительно мало. Например, история закона о максимуме в изложении Тарле занимает 126 страниц, тогда как Левассёр, рассматривающий этот предмет в главе об ассигнатах, отводит на его изложение всего 16. Далее, о законе Ле-Шапелье Жорес в своем труде написал лишь около 20 страниц (из которых кое-что нужно вычесть на иллюстрации), при чем в это число входят и текст самого закона, и выдержки из тогдашних газет, речей и разных других документов, и большая выписка из „Капитала“ Маркса с критикою его мнения, а у Тарле об одном издании этого закона написано 45 страниц.

В первом томе Тарле вообще собрал множество фактов, рисующих участие рабочего класса в парижских событиях 1789 г. Он очень подробно рассказал о беспорядках 27 и 28 апреля 1789 г., сопровождавшихся разгромом домов фабрикантов Ревейльона и Анрио, о возникшей в 1789 г. безработице, о народных волнениях после взятия Бастилии и о начинаниях парижского муниципалитета для борьбы с безработицей и ее последствиями, о благотворительных мастерских и общественных работах, устроенных для оказания помощи безработным. Во всем этом автор проявил большую обстоятельность, как и в главе, рассматривающей взаимные отношения хозяев и рабочих в 1790 — 1791 и стачечное движение 1791 в Париже. Последнее особенно подробно освещено здесь. В 1790 — 1791 г.г. экономическое положение

¹⁾ Историк фр. рев., т. II, стр. 172.

²⁾ Там же, т. II, стр. 230 и сл.

Франции, судя по всему, стало улучшаться сравнительно с 1789 г., и это улучшение сделало возможным стачечное движение. На основании множества архивных материалов автор осветил отношение между предпринимателями и рабочими, на почве которых возникли стачки 1791 г., причем отметил и то, как предприниматели постоянно стремились к запугиванию властей призраком восстания рабочих. Сами рабочие с лета 1789 вплоть до весны 1791 г. стачек почти не устраивали, а если и обращались к властям с разного рода жалобами и просьбами, то делали это в самых сдержанных и почтительных выражениях. Мы находим здесь историю отношений парижского муниципалитета к этому движению: от увещаний он перешел к угрозам и репрессиям.

Среди тогдашних газет Тарле нашел только одну („Les révolutions de Paris“), которая обнаружила интерес к движению, но и эта газета, одна из наиболее демократически настроенных, стала в основном вопросе на сторону муниципалитета: чье-либо вмешательство во взаимные отношения тех, кто работает, и тех, кто дает работу, она объявила „тираничным и абсурдным“. Буржуазная демократия, яркою выразительницей которой была эта газета, тогда искренне верила в спасительность свободы договоров. Обе стороны обратились к Национальному Собранию. Хозяева ссылались на принцип свободы, но и рабочие тоже делали ссылку на декларацию прав, которая должна же чем-нибудь помочь рабочим. Стачечники даже обвиняли хозяев в том, что своими „преступными соглашениями“ они стремятся вернуть времена цехов. Признание и рабочими „преступности“ общего соглашения с целью влиять на заработную плату — явление весьма характерное для эпохи: „и тени, говорит автор, какой бы то ни было защиты своей позиции по существу здесь нет, да и быть не могло“, ибо „слишком закончено и твердо было господствовавшее воззрение на свободу труда, на недопустимость профессиональных организаций, и слишком смутно и неясно было еще самосознание рабочих, несмотря на обидчиво высказанное убеждение, что хозяева от них получили свое состояние“. Это и подобные им заявления, исходившие из рабочей среды, весьма показательны, и потому Тарле очень хорошо сделал, что подробно их изложил в своей книге. В свою очередь, хозяева и муниципалитет тоже составили за-

писки, направив их в „комитет конституции“, занимавшийся выработкою будущего государственного устройства Франции. Несколько дней спустя после этого комитет конституции внес на обсуждение Национального Собрания законопроект, докладчиком по которому выступил Ле-Шапелье. Здесь Тарле оспаривает мнение Жореса, „единственного из французских историков революции, писавшего о законе Ле-Шапелье“ и считавшего недоказанным, что целью закона было „обезоружить пролетариат“. Соглашаясь с нашим историком в том, что стачки 1791 г. ускорили издание закона Ле-Шапелье, соглашаясь даже с тем, что сам Ле-Шапелье понимал, на что тут шел, можно все-таки думать, что и чисто отвлеченная идеология сыграла тогда гораздо большую роль, нежели это вообще допускает Тарле. В деле возникновения закона Ле-Шапелье нужно признать некоторую двойственность: одни сознательно и преднамеренно ковали оружие против пролетариата, но, вероятно, для большинства главным соображением было то, которое и было выставлено в докладе, как наиболее соответствовавшее тогдашней идеологии, разделявшейся даже самими рабочими, которые, по словам самого же Тарле, „считали возможным отстаивать только благотворительные цели своих обществ и на донесения хозяев отвечали донесениями на хозяев за устраиваемые будто теми соглашения относительно того, чтобы дать только низшую плату“. Наконец, опять-таки сам же он подчеркнул, что „в момент издания закона Ле-Шапелье руководящее общественное мнение отнеслось к нему так же, как отнеслось само Национальное Собрание“: закон не вызвал ни малейшей агитации ни в печати, ни в клубах. Во всяком случае, после исследования Тарле было бы ошибочным говорить только об идеологической принципиальности закона Ле-Шапелье. Своим исследованием стачечного движения 1791 г. он пролил очень яркий свет на непосредственный повод к изданию этого закона.

Для истории парижских рабочих в 1789—1791 г.г. в рассматриваемой книге важна еще глава „Политические партии и рабочие в период Учредительного Собрания“, написанная на основании архивных документов. В ней особенно интересны указания на „аполитичность“ рабочих в этом периоде. „Во всех их заявлениях, говорит наш исследователь, мы находим мотивы непосредственно экономического

характера и весьма редко что-либо иное. Политические интересы, — даже как нечто, прямо вытекающее из нужд и стремлений экономического характера, — были для них еще слишком большой и сложной абстракцией. . . . Никакой программы рабочий класс за эти два с половиной года не выдвинул, никак на обсуждение в собрании конституционных вопросов не реагировал и даже тени претензии на какое-бы то ни было влияние в текущей политической жизни не представлял, хотя принимал огромное участие и во взятии Бастилии, и в походе на Версаль в начале октября 1789 года и т. п. Против закона Ле-Шапелле, который вырывал из рук рабочих оружие как-раз во время затейливой ими борьбы, никакого протеста с их стороны тоже не последовало, между прочим, „вследствие слишком явной безнадежности сопротивления“, как полагает автор, отмечающий кстати, что в это время репрессия против беспокойных рабочих действовала во всю. Ограничение избирательного права цензом, лишившее рабочий класс права быть „активными гражданами“, столь же мало вызвало какой-либо протест, как и издание закона Ле-Шапелле, за очень немногими исключениями, да и то принимавшими почтительную форму. Даже резкая агитация демократически настроенных журналистов против закона об избирательном цензе не нашла особенно заметного отклика в рабочей среде. Сам Марат „не удосужился ничего сказать о стачках“, а также не нашел что-либо сказать и о законе Ле-Шапелле. Вообще благо рабочих и демократическая пресса „усматривала в общем и окончательном торжестве революции над двором и аристократами“.

В 1789 — 1791 годы автор „Рабочего класса во Франции“ обнаружил сколько-нибудь серьезное брожение только среди парижских рабочих, в период же от 1792 по 1799 г. он следит за рабочим движением и в провинции, хотя и для эпохи Учредительного Собрания отмечает некоторые стачки против хозяев в Марсели, в Бордо и при сплаве леса на берегах реки Ионны. Для 1792 и следующих годов он указывает, как на общее явление, их характеризующее, на ухудшение состояния промышленности, все-таки бывшего в 1790 — 1791 годы лучшим, нежели в 1789 г. С осени 1792 г., т. е. с первых же месяцев республики, злобою дня сделался вопрос об обязательном тарифе на предметы первой необхо-

димости, которого настойчиво стали требовать немущие слои населения. В 1793 г. дело дошло до разрешения этого вопроса в смысле требований, предъявлявшихся народом. 29 сентября этого года Национальный Конвент издал свой знаменитый закон о максимуме, действовавший потом в течение пятнадцати месяцев, до 24 декабря 1794 г.

История максимума, рассказанная в исследовании Тарле на двух с лишним сотнях страниц, составляет совершенно особое, весьма специальное рассмотрение на основании богатого материала, извлеченного им из архивов. Автор не только говорит о настроении провинциальных рабочих, об их выступлениях с петициями и их стачках, но касается и некоторых сторон состояния промышленности в первые годы революции. Гораздо важнее страницы, где историк возвращается к Парижу, сосредоточившему в своих стенах такую громадную массу рабочих, какой не было ни в одном другом городе Франции. В это время парижское рабочее население испытывало страшную нужду вследствие безработицы и прогрессирующего вздорожания с'естных припасов. Борзовавшиеся за власть политические партии не могли не считаться с общим настроением изголодавшегося населения столицы, тем более, что с самого начала революции его побаивались, опасаясь, впрочем, не самостоятельных выступлений рабочих, а возможности того, что ими, как своим орудием, воспользуется противная партия. Когда нужно было поднимать рабочую массу в политических целях, в этом средстве прибегали и в 1792 году: демонстрация 20 июня и переворот 10 августа свидетельствуют об этом, хотя, думает автор, „кое-какие ближайшие экономические требования у рабочих и перед 10 августом все-таки были“, но они их, идя на штурм дворца, не формулировали: „поведение их объясняется не только этими последними экономическими требованиями“.

Популярность таксации предметов первой необходимости среди рабочих доставила победу стоявшим за нее монтаньярам над жирондистами, но история не полагает, однако, чтобы победу монтаньярам доставила лишь поддержка голодающей безработной массы, с которой сами же они потом, после победы, обращались, как с подвластными людьми, обязанными безусловным повиновением. „Инициатива максимума

исходила не от Конвента и не от той или иной влиятельной организации, а от парижской нуждающейся массы". Когда муниципалитет стал на сторону таксации, а народные петиции о максимуме сделались особенно частыми и настоятельными, монтаньяры Конвента перешли на сторону этого требования, так как это было средством успокоить рабочих и иметь их на своей стороне. Автор подробно рассказал, как долго колебался Конвент с установлением максимума, рассказал и о том, как рабочими производилось давление на Конвент. В книге есть обстоятельный рассказ и о том, как выработывался закон о максимуме, „в области политической создавший условия, которые могущественно способствовали утверждению диктатуры комитета общественного спасения". Опираясь на документы, оставшиеся дотоле неизвестными, Тарле доказал, однако, что закон о максимуме (с тесно с ним связанными реквизициями) ухудшил положение потребителя, сильно повредил всей обрабатывающей промышленности и сделался невыносимым для самих рабочих, как представителей наемного труда.

„Закон о максимуме, читаем мы, между прочим, здесь,— стал проводиться в жизнь путем административных постановлений". Тотчас же, однако, стало обнаруживаться, что властям не обойтись без широчайшего пользования реквизициями, так что „максимум и реквизиции оказались теснейшим образом связанные между собою". Все меры, принимавшиеся для обеспечения дешевизны товаров, оказались, однако, тщетными, и все-таки стоявшие у власти монтаньяры, издавши закон, считали нужным его всячески поддерживать, веря в его спасительность. Тарле с документами в руках доказал, что, „наравне с войною и внутренними бунтами, необходимость поддерживать закон о максимуме была одной из самых существенных причин приостановки конституции 1793 г. и оживления террора". Он привел много примеров преследований, каким подвергались лица, не соблюдавшие закона о максимуме, даже примеры смертной казни. Он имел удачу найти большой архивный материал, которого до него „еще никто из исследователей не трогал", и познакомил нас с его любопытным содержанием.

Критика закона о максимуме сделалась возможною только после падения Робеспьера,—критика в целом ряде брошюр,

с которыми наш историк познакомился в парижских хранилищах. 24 декабря 1794 года закон был отменен Конвентом, опасавшимся, однако, как бы не произошло вспышки народного недовольства, но ни малейшего протеста на самом деле не последовало. Автор нашел в архивах весьма много известий о том, как губительно отозвался закон на обрабатывающей промышленности. Два печатных листа, которые составляют страницы, посвященные обзору вредных последствий максимума для французской промышленности, составляют вообще очень ценный вклад в историю последней в эпоху революции. Очень важное значение имеют в книге и страницы, рассматривающие непосредственное влияние максимума и реквизиций на рабочий класс. Труд тоже был подчинен и таксации, и реквизициям, и наш историк сообщил интересные подробности, касающиеся этого предмета. Возрождение жизни заставило рабочих требовать повышенной платы, и, конечно, они вслестски уклонялись от подчинения максимуму. Так как, с другой стороны, и их насильно заставляли соблюдать закон, то отсюда возникла упорная борьба между властями и рабочим классом. Рабочих насильно заставляли работать в известных отраслях промышленности, насильно переводили из одной местности в другую, особенно, когда дело шло об изготовлении казенных заказов. Но нередко, кроме того, обязывали работать и в частных предприятиях, преимущественно в сельском хозяйстве. Чтобы рабочие не уклонялись от такой принудительной работы, усилены были паспортные строгости. Результатом было то, что рабочие бежали розно или же устраивали стачки, которые приравнялись к нападениям на государственный строй. Положение рабочих законом о максимуме положительно было ухудшено, и „они без тени протеста смотрели на казнь Робеспьера. Отмена максимума не спасла их от голода, и они „стали ждать человека, который бы их избавил от новых владык, низвергших Робеспьера и севших на его место. Но и в том, и в другом случае, — прибавляет автор, — они уже были не актерами, а только зрителями“.

История рабочего класса во Франции за вторую половину революционного десятилетия, т.-е. в 1795—1799 г.г., в книге изложена гораздо короче. И после отмены закона о максимуме продолжали действовать причины, распавшиеся устои

экономической жизни, в их числе война. Безработица в 1795—1799 г.г. была ничуть не меньшею, чем в 1793—1794 г.г. К сожалению, в руках историка для этого периода было уже гораздо меньше документов, ибо, кажется, их и сохранилось меньше, хотя и то, что им было найдено, довольно подробно рисует упадок французской индустрии в эти годы. Рабочие шли работать за какую угодно плату, и предприниматели пользовались этим, чтобы понижать заработную плату и даже чтобы увеличивать рабочий день. Рабочие роптали на правительство, приписывая ему все свои бедствия, но все их попытки собираться большими массами в самом же начале пресекались полицейскими мерами. Финансовый кризис, переживавшийся тогда страной, рабочие были склонны объяснять казнокрадством властей предержавших, и уже поговаривали, что нужно „военное правительство“. Директория продолжала борьбу с рабочими, неуклонно проводя в жизнь закон Ле-Шапелье и прибегая к реквизициям на этот раз исключительно по отношению к одному лишь труду рабочих. „Полная безучастность рабочих при аресте, а затем при казни Бабефа, отметил кстати Тарле, имела, между прочим, то последствие, что полиция перестала особенно интересоваться настроением рабочего класса“, и потому сведений этого рода для периода 1797—1799 годов осталось сравнительно мало. Начиная с 1789 г., рабочие вообще ожидали улучшения своей участи от всякой намечавшейся перемены политического характера и, сами не беря на себя инициативы, поддерживали людей, стремившихся к изменению государственного строя, но с момента падения Робеспьера в рабочем классе стали господствовать разочарование и апатия.

Рабочие вообще за все это время покорялись победителям, но сначала при этом имели веру и пытали надежду, что теперь им будет лучше, со времени же термидорианской реакции они сделались апатичнее и индифферентнее всех других классов населения. Интересным эпизодом, рассказанным в конце главы об эпохе директории, является заговор Бабефа. Наш историк отметил возрастание популярности Бабефа в рабочей среде с конца 1795 года, но его газета была больше занята политическими вопросами, при чем сам реформатор рассчитывал преимущественно на содей-

ствие солдат и лишь отчасти на рабочих парижских фобургов. Рабочая масса к заговору Бабёфа отнеслась равнодушно ¹⁾).

К концу существования конституции III года и полицейские власти, и само правительство могли быть уверены, что рабочие ни малейшей инициативы на себя не возьмут, покорно примут всякое новое правительство, которое заняло бы место директории, и останутся спокойными зрителями могущей возникнуть борьбы. В коротком „заключении“ к своей книге Тарле подчеркнул, что „переворот 18 брюмера был встречен рабочим населением столицы совершенно спокойно и даже с надеждою“. „За всю рассматриваемую эпоху, — так заключает историк рабочего класса во Франции во время революции свою книгу, — рабочие не обнаруживают, вообще говоря, ни малейших признаков принципиально враждебного отношения ни к основам господствовавшего экономического строя, ни к какому-либо из экономических режимов, начиная с Учредительного Собрания и кончая консульством. Сознание классовой обособленности, товарищеской солидарности, за немногими исключениями, мало проявляется в рабочей среде в рассматриваемый период“. И далее: „в течение всего периода 1789 — 1799 годов в рабочей среде заметно весьма мало организованности. Стремление создать свои организации (под флагом благотворительности) замечается среди некоторых категорий рабочего класса весной 1791 года, но после закона Ле-Шапелье о подобных попытках уже не слышно“. И еще: „законодательство о рабочих в 1789 — 1799 г.г. проникнуто было тем же духом бдительной подозрительности, тем же решительным отрицанием за рабочими права на какие бы то ни было коллективные шаги, как и законодательство старого порядка“.

Из работ Тарле отметим еще его „Исторические очерки“ под заглавием „Падение абсолютизма в Западной Европе“ ²⁾. Кроме общих соображений по вопросу, почему везде абсолютизм погибал революционным путем чаще, нежели всякая иная форма правления, и какие обстоятельства в революционные

¹⁾ Эту о Бабёфе, написанный на основании отчасти архивных документов, очень интересен. О Бабёфе проф. Тарле написал еще особую статью в „Современном Мире“, перепечатанную в его „Очерках и характеристиках обществ. движ. в XIX в.“.

²⁾ Изд. Т-ва Вольф без даты.

эпохи делали абсолютизм как-бы центральной мишенью для борьбы, — соображений, между прочим, подкрепленных общеизвестными фактами из истории Франции в XVIII в., автор сообщает любопытные сведения о том, как династия Бурбонов относилась к армии и как сама армия отнеслась к революции. „Французская армия, говорит он, и в частности гвардия были совершенно чужды королю и королевской семье; внимания на них со стороны абсолютизма не обращалось никакого, и вообще не делалось ровно ничего для создания из армии или хотя бы из гвардии обособленной и расположенной к монарху общественной группы, вследствие чего не умерялись и не смягчались классовая рознь и ненависть непривилегированных к привилегированным, царившие в армии“. Для вопроса о том, в какие отношения стала французская армия к событиям 1789 г., автор воспользовался целым рядом памфлетов из брошюрных сокровищ парижской Национальной Библиотеки и привел из этих источников немало выдержек. В 20-х числах июня 1789 г. выяснилась полная ненадежность военных сил, находившихся в столице Франции и ее окрестностях, и уже тогда „революционно настроенные люди взялись за активную пропаганду в войсках, стоявших в Париже“, путем распространения специальных прокламаций, из которых в книге также приведены выдержки. Вся рассказанная здесь история вообще представляет собою, хотя и небольшой, но немаловажный вклад в историю первых месяцев революции.

По хронологическому порядку здесь следовало бы идти речи о „Французской революции“ П. А. Кропоткина, но в виду того, что это — почти единственный общий русский труд (хотя вышедший сначала не на русском языке) обо всей революции, рассмотрение его мы откладываем до конца книги.

А. А. Боровой.

Следующим по времени выхода специальным трудом по французской революции была „История личной свободы во Франции“ А. А. Борового, вышедшая в свет в 1910 и 1911 году в двух томах, составляющих в общей сложности более 700 стра-

пац. Об этой книге своевременно я дал отчет в особой статье, помещенной в XVI томе „Исторического Обозрения“, повторив потом наиболее из нее существенное на страницах 26—29 и 86—93 книжки „Эпоха французской революции в трудах русских ученых“. Боровой собрал значительный (хотя только печатный) материал, но мало его переработал, давая его нередко сырьем, да обобщений и выводов в книге, к сожалению, оказалось несоразмерно мало, при сравнительно значительных отступлениях от главной темы, крайне мало относящихся к делу об экскурсах и ненужных длиннотах. Старому порядку посвящено в книге 210 страниц, все остальное — французской революции.

Выбор своей темы автор оправдывал тем, что вообще „все главы, очерки, этюды“, в которых рассматривается личная свобода во Франции, иначе говоря, вся литература предмета, отличаются или крайнею поверхностностью, или прямою тенденциозностью и не могут претендовать поэтому на научную ценность. Работы большинства историков французской революции он готов признать скорее „пламенными памфлетами, изобилующими боевыми лозунгами pro и contra, чем спокойными научными исследованиями, ревниво оберегающими факты прошлого, равнодушными к битвам настоящего“. Своими предшественниками по теме исследования личной свободы за весь период конституционной истории Франции он называет Шаламеля (*Histoire de la liberté en France*) и Декуртэ (*La liberté individuelle et le droit d'arrestation*), но книгу первого из них он аттестует, как „лишенную всякого научного значения“, а книгу второго — как, „хотя и добросовестный и содержательный труд, но все-таки еще недостаточно обстоятельный“; при том оба писателя рассматривали законодательство вне исторической обстановки. В части, посвященной старому порядку, у Борового очень ценны страницы о знаменитых *lettres de cachet*. Эти страницы представляют собою целое маленькое исследование, за которое автора можно благодарить. Довольно много страниц в этой части своего труда отвел он Бастилии ¹⁾ и другим тюрьмам с массою всяких бытовых подробностей, нередко, пожалуй, любопытных, но для главной темы довольно безразличных. Более важно то, что

¹⁾ О Бастилии у нас есть популярная книга Дм. Ахшарумова (1889; интересный очерк).

автор попутно изображает. до некоторой степени нарастание настроения, приведшего в революции, говоря, например, о борьбе парламентов с королевскою властью, о созыве патаблей, о требованиях собрания Генеральных Штатов, о значении штурма Бастилии 14 июля 1789 г. Да и самое заключение ко всей этой главе посвящено им вопросу о том, „можно ли было избежать революции путем проведения мирной реформы“, но, к сожалению, автор совершенно пренебрег историей идеи личной свободы, поскольку она нашла выражение в литературе XVIII в., в „брошюрной эпидемии“ 1789 г., по его же выражению, и в наказах.

Рассматривая законодательство Учредительного Собрания, Боровой первым делом своим остановился на „Декларации прав человека и гражданина“, которой посвятил более двух печатных листов, где привел и разные мнения об ее происхождении, и о ней самой, и дал ей собственную оценку. Она, по его мнению, впитала в себя незримое множество исторических струй, и „в ней одновременно говорят ранние исторические события, идеологии ранней эпохи и современные ей социально-философские построения“, при чем автор правильно указал, что „деятели Учредительного Собрания, находившиеся одинаково под влиянием Монтескьё и Руссо, не продумали обеих философий до конца“, и что документ был „компромиссом между признаниями естественных и неотчуждаемых прав личности и идеей народного суверенитета“. Действительность, как известно, не оправдала надежд, возлагавшихся на „Декларацию прав человека и гражданина“. Учредительное Собрание не создало ничего для защиты личной свободы, хотя и очень много обещало на словах. Боровой рассмотрел как практику этого Собрания в области защиты личной свободы, так и чрезвычайные меры, им принимавшиеся. Оно, справедливо говорит он, стремилось возгласить миру великие моральные истины, хотело облагодетельствовать все человечество, но в народе оно хотело видеть только послушного, терпеливого, верящего в его авторитет ученика, с благодарностью заучивающего его социально-политические максимы. И оно становилось беспощадным, если кто-либо понимал вещи иначе, чем оно. Конечно, это сказано уже черезчур резко и несправедливо, и сам же автор потом старается несколько смягчить суровость своего приго-

вора. Далее, по его мнению, и Законодательное Собрание „неизбежно должно было вступить на тот же путь, каким шла Конституанта, — путь самозащиты, борьбы с народом во имя групп, призвавших его, Законодательное Собрание, к власти“. Законом о паспортах, говорит он, „Легислатива вступила на путь правительственного террора“. И по поводу закона о неприсяжных священниках Боровой высказался в том смысле, что личная свобода отдельных граждан „открыто приносилась в жертву государственным инстинктам очередных держателей власти“. Чем дальше шло время, тем все больше и больше Законодательное Собрание было занято выработкой исключительных мер. Перед 10 августом, повлекшим за собою крушение монархии, обсуждался законопроект об „организации специальной полиции общественной безопасности“, и на другой же день он был быстро принят, „отдав личную свободу граждан на усмотрение администрации и Коммуны: власть становилась деспотической для спасения отечества“. „Закон об организации полиции государственной безопасности, поясняет он свою мысль, обратил чуть ли не все учреждения страны в специальные аппараты для уловления подозрительных“. Таким образом, прибавляет автор, и „гарантии личной свободы становились при Легислативе призрачным каждый раз, как они могли представить какую-либо опасность для общего блага“, в том смысле, как его понимало Собрание. „Легислатива выступала на защиту личной свободы лишь тогда, когда пользование ею не противоречило собственным планам или интересам Собрания, или когда ограничение прав личности исходило от учреждений и властей, враждебных революции. Наоборот, она не задумалась перед разгромом всяких гарантий, раз они казались ей препятствием для реализации ее предначертаний“. К тому, что я писал по поводу этих заявлений Борового в свое время, теперь следует прибавить, что он у нас является одним из представителей анархизма, с точки зрения которого и критикует французскую революцию: прежде по цензурным соображениям я это не мог отменить.

С принятой им точки зрения особого внимания заслуживают в рассматриваемой книге страницы, где изложены взаимные отношения жирондистов и монтаньяров, о которых Боровой, в общем, судит правильно. „Жиронда, говорит он, на-

пример, уже давно тяготилась тем градусом исключительных мер, которые были политикой момента, реальной политикой монтаньяров. Со своим тяготением к конституционным гарантиям, к мирной органической работе, она устаёт от постоянного революционного напряжения, требовавшего каждый день новых усилий, новой энергии к преследованию противников. Монтаньяры, якобинцы прекрасно угадывали эти настроения Жиронды и громили ее в клубах и перед народом, обличали в стремлении к восстановлению монархии и т. д. и т. д. Жиронда, однако, прибавляет автор, хотела остановиться, когда революция шла вперед, и ей суждено было стать жертвой собственного непонимания исторического момента“. Вернее сказать, что погибли жирондисты не потому, что не поняли исторического момента, а потому, что не хотели идти в разрез со своими убеждениями, т.-е. по самому характеру своих стремлений не были способны организовать такое правительство, которое после их гибели было создано монтаньярами. Есть в книге ряд страниц, посвященных характеристике конвентских комиссаров и их „напряженной работы“, которую „была спасена Франция от внешнего разгрома“. „Народу, говорит Боровой, конечно, жилось не сладко, как при старом режиме, так и при рождении нового порядка. Народ назвали сувереном, имя его призывали в торжественных и патетических случаях, но этот народ был голой абстракцией, бесплодной идеей“. В действительности было не то.

Все направления политической мысли тогдашней Франции автор „Истории личной свободы“ подвел в одном месте своей книги под три категории. Одно из них, говорит он, „отерпыто и безусловно тянуло назад, к старому порядку; другое полагало, что эра собственно революции кончилась и наступила пора мирной консолидации завоеваний, сделанных ею; наконец, третье считало, что рано строить там, где еще жили старые принципы, предрассудки и люди. Первое течение было осуждено всем смыслом совершавшихся тогда событий, и хотя в характере мер борьбы с этим течением два других были далеко не единодушны, тем не менее оба недвусмысленно и категорически отрицали его. Второму течению принадлежало будущее, но в настоящем оно также должно было погибнуть. Оно не понимало, что могучая революционная

волна, взмываемая к тому же внешними опасностями, не могла улесться в берега по одному мановению рационалистов, засевавших в парламенте, улесться, когда все еще кругом было полно тревожных воспоминаний, остатков ненавистного прошлого. Наконец, третье, исполнившее великую миссию спасения страны от разгрома внешними врагами, должно было погибнуть потому, что принцип народного суверенитета, начертанный им на своем знамени, постепенно изжил самого себя, выродившись сперва в страшную, потом бессильную и жалкую диктатуру немногих честолюбцев. Эпоха террора и была историей постепенного развития, укрепления, расцвета и гибели этого последнего течения, централизаторского и государственного". Именно жирондистским и было второе течение, которое в настоящем должно было погибнуть. „Отрицая за террором характер политической системы, признавая, что это был только временный режим, вызывавшийся задачей обеспечения за Францией единства“, Боровой тем не менее назвал принципы якобинизма „самым ярким отрицанием индивидуалистических идей, нашедших себе место в декларации 1789 г.“ Хотя он и поставил Жиронду в особую связь с буржуазией, а якобинизм — с демократией, все-таки, в его представлении, главную роль в борьбе обоих направлений играет политический, а не социальный момент. Сравнивая якобинскую конституцию 1793 г. с жирондистским проектом конституции, он заявляет, что в области прав между обеими декларациями нет никакого различия, но зато якобинская конституция 1793 г. „несравненно скупер обеих предыдущих насчет гарантий личной свободы“. Автор думает, что причина этого заключалась в спешности, с какою была составлена конституция 1793 г., и тем не менее не может не видеть в этом пробеле указания на то, что якобинцы не особенно сильно интересовались вопросом о гарантиях личной свободы. Вместе с тем он не считает якобинскую конституцию более демократичною, нежели жирондистская.

Термидорианскому режиму Боровой дал в своей книге очень отрицательную аттестацию. Это, по его выражению, была „реакция мрачная, жестокая, мелочная и беспощадная в своей мстительности, реакция, не имевшая идеи, лозунгов, людей, обезглавившая Францию, приготовившая военный деспотизм Наполеона“. Психологически автор объяснил ее

в следующих словах: „Открывшись борьбой против деспотизма, революция сама пришла к деспотизму и такому беспощадному мстительному, какого не знали самые мрачные времена старого порядка. Все было принесено в жертву идее спасения отечества“, сперва „ясной, конкретной, ослепительной и властной, потом ставшей бледным призраком, холодным чудовищем, поглощавшим бесчисленные ненужные жертвы, требовавшим идолопоклонства, убившим свободу“. Успех термидорианского режима и объясняет он тем, что нация „устала от смерти“ и желала жить.

В своих общих соображениях о революции автор „Истории личной свободы во Франции“ особенно настаивает на том, что „принципы были новы, но практика оставалась старою. Между якобинизмом революции, говорит он, и абсолютизмом старой монархии, существовало глубокое непосредственное преемство. Если прежде свободою жертвовали во имя поддержания престижа монархии, то в эпоху революции ею жертвуют во имя революционного начала — равенства“¹⁾.

А. Г. Вульфius.

К тем же годам, когда вышли последние работы, только-что нами рассмотренные, относятся еще некоторые труды, предметом которых является идеология XVIII в., оказавшая влияние на революцию. Таковы труды А. Г. Вульфiusа, М. Н. Розанова, П. И. Новгородцева и В. Панова.

Первая из них называется „Очерки по истории идеи веротерпимости и религиозной свободы в XVIII веке: Вольтер, Монтескьё, Руссо“ (1911). Это была магистерская диссертация автора, которую я, как один из оппонентов на диспуте, подверг тщательному разбору, потом напечатанному в виде

¹⁾ Критика у нас отнеслась к книге Борового, написанной, действительно, торопливо, различно. Не помню теперь, в каком издании книга нашла прямо восторженную оценку, тогда как другие рецензенты, в роде Н. Голубева в „Юридической Библиотеке“, издававшейся Демид. Юридическим Лицеумом (1910, № 5), давали прямо отрицательные и даже очень резкие отзывы. Довольно благосклонно высказался о труде Борового М. М. Ковалевский в „Вестнике Европы“. Позволяю считать свой отзыв, в котором, как историк, я отметил и слабые, и хорошие стороны книги, беспристрастным.

журнальной статьи ¹⁾, где главное из этого разбора было повторено.

Проф. Вульфius, в оправдание выбора своей темы, указал прямо на то, что многое в вопросе, им исследованном, мало обращало на себя внимания других историков. „Странно, говорит он в одном месте, что до сих пор в столь обширной литературе о Вольтере мы не встречаем детального и подробного анализа этой стороны его деятельности (проповеди терпимости), поставленного в связь с его религиозными воззрениями“. Кроме того, о Вольтере высказывались мнения, требующие исправлений и дополнений. С неменьшим правом автор говорит о необходимости пересмотра соответственных идей Монтескье, писателя, до сих пор все еще не изученного, как следует ²⁾.

Наконец, хотя о религиозном миросозерцании Руссо было написано гораздо больше, тем не менее и здесь тоже Вульфius нашел много спорного, решавшегося исследователями то в одном, то в другом смысле. Анализируя взгляды Вольтера, Монтескье и Руссо, автор их постоянно сопоставлял и сравнивал между собою в такой мере, в какой, пожалуй, не делал этого никто из его предшественников. Впрочем, и предшественников-то таких, которые столь же систематически исследовали бы вопрос, как это сделано автором, у него было мало ³⁾.

Особая точка зрения, с какой автор „Очерков по истории идей веротерпимости и религиозной свободы в XVIII веке“ предпринял свое критическое исследование, заключается в признании необходимости изучения этой идеи в связи вообще с религиозными воззрениями самих ее провозвестников. Такую постановку вопроса нельзя не признать правильною, но в то же время и одностороннею: дело в том, что, кроме религиоз-

¹⁾ Отношения между политикой и религией у философов XVIII века („Русск. Бог.“, 1911). См. также в „Эпохе фр. рев. в трудах русск. уч.“, стр. 46—53.

²⁾ Кстати, о Монтескье у Вульфiusа был кое-какой новый материал, еще не успевший войти в обиход, а именно, кроме бывших неподанными сочинений, опубликованных в 1891—1901 г.г. Barckhausen. Montesquieu, *l'Esprit des lois et les archives de Brède*, 1904.

³⁾ Проф. Вульфius хорошо знаком с литературой предмета, но кое-что ему осталось неизвестным, как, например, F. Laurent. *Etudes sur l'histoire de l'humanité*, Tome XII. *La philosophie du XVIII siècle et le christianisme*. 1866. J. Varni. *Histoire des idées morales et politiques en France au XVIII siècle*. 1867.

ного момента, в этом вопросе есть еще и момент политический, а эту сторону Вульфius почти совсем не ввел в свои общие соображения.

Французские писатели XVIII в. в современной им действительности имели перед глазами примеры и государств, в которых господствовала нетерпимость, и государств, проявлявших большую или меньшую веротерпимость. Как люди, не стоявшие в религии на почве какой-либо догматики, и как враги католического фанатизма, т.-е. будучи представителями вольнодумного просвещения, они, разумеется, не могли не быть сторонниками и проповедниками веротерпимости; но, принимая последнюю, они часто выводили ее, собственно, не из прав верующей совести, а из соображений философского безразличия или из государственного интереса терпеть иноверие во избежание внутренних смут. Им чуждо было религиозное одушевление сектантов, казавшееся им только фанатизмом, и гораздо понятнее был античный взгляд на религию, как на *instrumentum imperii*: рационализм XVIII в. не был приспособлен к проникновению в психику встревоженной совести, и для него доступнее был взгляд на религию, как на одну из сторон политического бытия народов. Философов, наконец, занимал вопрос, как надлежит правителям, руководимым принципами разума и терпимости, пользоваться верованиями подданных в интересах самого же государства. Другими словами, во взглядах французских писателей XVIII в. на религию политическая точка зрения настолько выдвигалась вперед, что вполне понять и оценить в частности их взгляды на веротерпимость, и свободу совести нельзя без анализа некоторых сторон их политического мирозерцания. Что Вольтер стоял на точке зрения абсолютизма, хотя и просвещенного, что республиканизм Руссо сочетался с культом неограниченного государства и т. п., это не могло не отразиться на их идеях, касающихся веротерпимости, а между тем Вульфius эту сторону дела оставил в тени, что нельзя не назвать важным пробелом в его исследовании. Что для понимания отношения к терпимости у Вольтера, Монтескье и Руссо необходимо было принять в расчет и религиозные их идеи со степенью их собственной терпимости к инакомыслящим, об этом не может быть никакого спора; но столь же необходимо было, с другой стороны, параллельно разобрать и политическое мирозер-

цакие этих писателей, поскольку последнее касалось вопроса о правах личности и пределах власти государства. Конечно, очень важно, насколько тот или другой писатель сам был „философски терпим“; но еще важнее — как каждый из них понимал взаимные отношения религии и политики в связи с общим пониманием прав личности и пределов власти государства.

В книге Вульфюса есть, с другой стороны, и сильные стороны. Изложение и разбор в ней религиозных воззрений Вольтера, Монтескье и Руссо сделаны тщательно. Каждому из этих писателей автор посвятил по особому отделу из двух глав, из которых одна трактует о религиозном мировоззрении данного писателя, другая — об „идее веротерпимости в его мировоззрении.“ Автор очень обстоятельно рассмотрел, как они понимали природу божества, его отношение к миру и к человеку, происхождение зла в мире, бессмертие души, свободу воли, сущность морали, и даже более специальные вещи, вроде значения молитвы. Эта часть работы Вульфюса произведена с гораздо большей обстоятельностью, нежели другая — о взглядах на веротерпимость и на религиозную свободу, т.-е. по вопросу, имевшему и большое практическое значение. Для понимания идеи веротерпимости у Вольтера анализ его политических взглядов был бы гораздо важнее, чем все его метафизические воззрения, которыми автор так много занимается. Анализ понятий о власти государства и правах личности у авторов „Духа законов“ и „Общественного договора“ тоже дал бы для темы гораздо более, нежели все рассуждения Руссо о божестве, о душе, о молитве и т. п., которые так интересуют автора. Впрочем, сам же автор дал не мало материала для поправок к его односторонней точке зрения. В заслугу ему следует поставить, что он правильно делает различие между взглядами на веротерпимость у Вольтера и Руссо, с одной стороны, и отчасти у Монтескье и еще более у Тюрго — с другой; но очень жаль лишь, что в книге нет особого отдела о Тюрго, у которого особенно определенно проводится идея невмешательства государства в религиозную жизнь частных лиц. Бросая общий взгляд на то, как французская революция, внесшая принцип религиозной свободы в „Декларацию прав человека и гражданина“, вместе с тем, согласно с принципом господства государства

над церковью, дала клиру „гражданское устройство“, а потом предписывала всем гражданам общую гражданскую религию, Вульфийус и называет „главных деятелей эпохи революции в гораздо большей степени учениками Вольтера, чем Монтескьё или Тюрго“, но и в данном случае он выдвинул на первый план не столько подчинение Вольтером церкви государству, мало чем отличающееся от гражданской религии Руссо, сколько ненависть и презрение Вольтера к историческим вероисповеданиям, в чем также проявился бóльший интерес исследователя к религиозной, а не к политической стороне темы¹⁾.

М. Н. Розанов²⁾.

Большой труд проф. М. Н. Розанова в пять с половиной сотен страниц „Ж. Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX века“ с подзаголовком „Очерки по истории руссоизма на Западе и в России“ (1910) написан на тему историко-литературную. Автора интересует „руссоизм“, как переход от сентиментализма к романтизму, психология руссоизма, как общественно-литературного явления, и он поставил себе вопросы о том, „как творчество Руссо воспринималось средой современников и ближайшего потомства, как эта среда реагировала на испытанные ею, по воле красноречивого властителя дум, впечатления, в чем заключалась тайна его обаяния для людей XVIII века и т. д.“. В изображении Розанова, как специалиста по истории литературы, Руссо, политический писатель, автор „Общественного

¹⁾ В самое последнее время, когда настоящий том уже был готов к печати, проф. Вульфийус выпустил еще две работы о французской идеологии XVIII века. Одна из них называется „Основные проблемы эпохи Просвещения“ (1923 г., 109 стр. текста и 13 с библиографией) и заключает в себе общие обзоры проблем естественной религии (глава II), естественного права (гл. III) и как взаимных отношений государства и церкви, так и веротерпимости, при чем в центре внимания находятся религиозно-церковные отношения, а не социально-политические (и тем еще менее экономические). Другая работа — статья под заглавием „Монтескьё историк и политик“ в сборнике „Из далекого и близкого прошлого“ (1923). Автор считает Монтескьё в политике рационалистом, исторические знания которого, очень большие, часто приводили его самого в выводу, не вытекавшим из его отвлеченных посылок. Обе работы отличаются самостоятельностью мысли.

²⁾ Подробнее см. в „Эпохе французской революции“, стр. 53 и сл.

Договора", стоит на заднем плане. Излагая „общие основы учения Руссо“, он остановился на его индивидуализме, сентиментализме и натурализме, посвятив лишь две страницы вопросу о роли индивидуума в государстве по „Contrat Social“.

Более интереса, с точки зрения истории подготовки революции во Франции, представляет очень обстоятельная глава об обаянии творчества и личности Руссо. Исследователь подчеркнул здесь тот факт, что „Общественный Договор“ особенно сильного впечатления на современников не произвел. Если из всех произведений Руссо он занял первое место в общественном сознании во время революции, то при жизни его автора современники неизмеримо больше увлекались „Новой Элоизой“ и „Эмилем“: в то время, как эти два произведения при первом своем появлении породили обширную литературу, главный политический трактат Руссо при его жизни едва вызвал четыре статьи, при том неблагоприятные для Руссо.

Особое внимание историка революции должна привлечь попытка Розанова разобраться, как распределились по сословиям друзья и враги Руссо. Популярность его в аристократии известна, но ведь тогда вообще оппозиционные идеи приходились по вкусу дворянству, которое не чувало в них опасности для своего положения, при чем в этой среде, как и в других кругах общества, совершалось разделение на вольтерьянцев и руссоистов, смотря по духовному складу отдельных личностей. Автор подробно остановился на более глубоком влиянии, какое Руссо оказал на буржуазию, и здесь им различаются влияния прижизненное и посмертное. Второе в период времени между смертью Руссо и началом революции (1778 — 1789), как показывает нам Розанов, было большим. Особенное действие оказывал там демократизм Руссо, которого не было у Вольтера и энциклопедистов.

„Десятилетие, протекшее со времени смерти Руссо до начала революции, читаем мы здесь между прочим, было периодом торжествующего руссоизма, с замечательной быстротой завоевывающего общественные симпатии“. Автор очень подробно проследил это распространение идей Руссо в широких кругах общества. „Чем шире, резюмирует он свою мысль, — чем шире французский народ охватывается оппозиционным настроением, тем более делает завоеваний руссоизм, который

сам по себе есть не что иное, как высокоталантливое выражение нового, складывающегося в недрах общества, миро-созерцания грядущей демократии". В годы, предшествовавшие революции, а не при жизни Руссо, начал обращать на себя большее внимание, чем прежде, „Общественный Договор“, но характерно для этого периода то, что против политических взглядов Руссо стали теперь раздаваться очень резкие нападки: это защитники старого порядка чуяли надвигавшийся демократический переворот.

Историка литературы не мог, разумеется, интересовать специальный вопрос о влиянии государственной теории Руссо на политическое законодательство эпохи, но общая тема о революционном руссоизме им разработана с достаточной полнотой для историко-литературного исследования. В главе об „апофеозе“ Руссо, приблизительно на 60 страницах, автор рассказал о превращении „писателя, теснимого и преследуемого властью“, в „официально признанного новым правительством вдохновителя революционного движения, пророка и философа революции“. Это был период апогея культа Руссо, дающий, по справедливому замечанию автора, много любопытного материала для психологии французского общества той эпохи. Несомненная заслуга русского исследователя — та, что он собрал в одном месте этот обильный, но оставшийся разбросанным материал. Для него культ Руссо в эти годы является прямо барометром общего политического настроения: своего кульминационного пункта он достиг в 1793 — 1794 годах и стал заметно падать при директории. Конечно, излагая эту историю, автор не мог не отметить, что, чувствуя Руссо, революция „не всегда сознавала печальные противоречия между идеальным импульсом и его практическим осуществлением, между мечтательным руссоизмом и жестким якобинством“.

Определяя, как относились к Руссо и его учению наиболее видные его сторонники, задававшие тон общественному настроению, Розанов при этом устранил из своего рассмотрения влияние собственно политической доктрины. „Мы, говорит он, понимаем руссоизм в более широком смысле слова, далеко выходящем за пределы специально политических идей, — в смысле общего учения, захватывающего более или менее все проявления жизни и дающего его адептам своеобразное

душевное настроение.“ По его словам, „прежде чем сделаться активными политическими деятелями, революционеры обыкновенно проходили через руссоизм, который по условиям времени часто являлся школою своеобразного сентиментального революционного настроения и фундаментом политико-социального мировоззрения“. Это — очень полезная точка зрения, и автор в названной главе с такой точки зрения рассмотрел отношения к Руссо со стороны Мирабо, госпожи Ролан, Робеспьера, Барера, Сен-Жюста и т. д. Интересно, что „деятели революции были убеждены, что они неукоснительно сохраняют принципы Руссо даже в тех случаях, когда в действительности они уклонялись от них... Политическое учение Руссо, замечает автор, обратилось в перчатку, которую при желании можно было натянуть на всякую руку“. Политическую систему Руссо толковали различно, и в ней готовы были искать опоры даже реакционеры, но нравственная сторона его учения не вызывала разногласий: Розанов находит, что „Общественный Договор“ не приобрел бы такого значения, если бы не был написан автором „Эмиля“ и „Новой Элоизы“.

П. И. Новгородцев ¹⁾).

Политическому учению Руссо очень много отвел места П. И. Новгородцев в своей довольно значительной по размерам (около двадцати пяти листов) книге „Кризис современного правосознания“, помеченной 1909 годом. В этом труде, кроме изложения теории Руссо о народном суверенитете, есть очень интересные параграфы под заглавиями: „Доктрина Руссо и указы 1789 г.“, „Руссо и Монтескье“, „Отступления от Руссо в эпоху революции“, „Французский индивидуализм конца XVIII в.“ (доктрина Руссо), параграфы, перемешанные с другими, в которых речь идет уже не о XVIII в., а о XIX в. или же не о Франции, а о других странах.

Нас здесь не касается разбор автором теории Руссо, взятой в самой себе, но зато не могут быть оставлены без внима-

¹⁾ Подробнее в „Эпохе французской революции“, стр. 59 и сл.

ния те страницы, на которых именно он говорит о влиянии Руссо на революцию. „Мы, замечает он, можем восхищаться силою великого дерзания, заключенного в книге Руссо, страстью ее революционного порыва, но вместе с тем для нас несомненно, что великий вдохновитель новой политики сообщил ей такой догмат, который мог быть принят на веру и силою этой веры совершать чудеса, но не мог ни получить полного воплощения в жизни, ни выйти неизменным из испытания теоретической мысли“. По выражению автора, „судьба захотела, чтобы теория Руссо была подвергнута испытанию еще накануне французской революции“. Говоря это, он имел в виду „опыт применения народной воли в заявлениях французских наказов 1789 года“. Новгородцев, однако, не изучал самостоятельно этих наказов, а обосновал свои выводы на старой работе проф. Герье „Понятие о власти и народа в наказах 1789 г.“ Самая задача, которую поставил себе он в данном вопросе, сводилась к рассмотрению того, к каким затруднениям приводило применение отвлеченного принципа Руссо к конкретной действительности 1789 г. Одно оставалось общепризнанным среди противоречий французских наказов, поставивших своею целью согласовать свои заявления с требованиями народной воли, это — идеи общей воли, испытывавшая потом столько горьких разочарований и сомнений.

Если, говорит далее Новгородцев, „уже первый опыт применения идеи общей воли при составлении наказов обнаружил, что эта идея по самому своему существу представляется далеко не столь ясной и простой, чтобы из нее сразу и легко можно было извлечь необходимые положительные указания“, то идея народной воли все-таки в простой программе „могла еще сохраниться в них в своей теоретической неприкосновенности“. Но уже совсем „иную задачу представляло действительное осуществление предположенного переустройства“, так как „здесь-то и должна была обнаружиться положительная сила руководящего начала“. В параграфе о Монтескье и Руссо исследователь пришел к тому выводу, что „на самом деле при внешнем усвоении общих лозунгов и терминов Руссо“ было „постоянное внутреннее противоречие с его доктриной, постоянная борьба с его идеями“. По его убеждению, доктрина революции во всех стадиях ее развития

отнюдь не была доктриною Руссо. Дело в том, что „теоретиче- революционной эпохи склонны были сближать начала по суще- ству различные и противоположные“. Большое влияние при- писывает Новгородцев учению Монтескьё, правильно находя, что „не только в частных выводах, но в исходных поло- жениях учение Монтескьё стоит в резком противоречии с уче- нием Руссо ¹⁾“. Мабли и Сьейес, заимствовавшие элементы для своих учений одинаково и у Монтескьё, и у Руссо, создали уже нечто новое и единое.

Гораздо больший интерес в сравнении с вопросами о влиянии Руссо на указы и о различии между его взгля- дами и взглядами Монтескьё, представляет собою большой параграф об отступлениях от идей Руссо в эпоху революции. Автор изучил прения, которые происходили во французских представительных собраниях 1789 и следующих годов, поль- зуясь томами, начиная с VIII, первой серии „Archives Parlementaires“, перебрал ряд таких фактов, как признание представительства, отрицание императивных мандатов, огра- ничение избирательного права и т. п. Воззрения, которыми руководствовались теоретики и деятели революции, стояли и практически, и теоретически в самом решительном противо- речии с началами „Общественного Договора“. Даже консти- туция 1793 года в полной неприкосновенности сохранила только терминологию этого трактата, но по существу во многом отступала от принципов Руссо: говорить о том, что доктрина Руссо легла в основу этой конституции, можно только с самыми серьезными оговорками. Весь параграф, со- держание которого только-что приведено, можно назвать интересным этюдом к истории выработки французских рево- люционных конституций.

В общем, Новгородцев обратил в своем исследовании больше внимания на учение о народном суверенитете, нежели на теорию индивидуализма. Во взгляде на „Декларацию прав человека и гражданина“ он всецело применил к теории Елли- нека об американском ее происхождении. „Что бы ни говорили об этом, решительно заявляет он, французские писатели, противоречие между идеей этих прав и „Общественным До-

¹⁾ Ср. выше стр. 188 и 201. Новгородцев разбирает попутно аргумен- тацию Ковалевского.

говором" несомненно". Это положение автор доказывает путем анализа взглядов Руссо на этот счет: никаких неотчуждаемых прав личности Руссо не признаёт; трактат его исходит из мысли о необходимости полного отчуждения естественных прав в пользу государства.

В. Панов.

В 1911 году в „Журнале Министерства Народного Просвещения“ было помещено начало работы В. Панова о Мабли с обещанием автора дать ее продолжение. Она носит название „Политические идеи аббата Мабли“, темою же следующего очерка был объявлен анализ заимствований, сделанных у Мабли деятелями 1789 г. Отметив существование об этом писателе только одной монографии Герье, Панов говорит, что „между тем у Мабли мы находим детально разработанную политическую программу, ряд пунктов, которой, как это признавали современники великих событий, воплотился в конституции Учредительного Собрания“. В глазах автора это была „программа-минимум“, кроме которой, у Мабли была, как известно, и коммунистическая утопия. В статье воспроизводятся основные пункты учения данного писателя. Изложение как утопии, так и программы-минимум сделано интересно со всеми их противоречиями, и собственные замечания автора недурно схватывают суть дела. Таково, например, заявление, что Мабли ставил принцип свободы в подчиненное положение к равенству. Интересны также соображения о том, какая социально-культурная среда отразилась на миросозерцании писателя и в какое отношение к этой среде стал он сам. Если, именно говорится здесь, — если в сфере социальной Мабли выступал с построениями в консервативном духе, с апологией натурально-хозяйственных отношений, а с другой стороны, с коммунистическими симпатиями, которые, конечно, не могли придти по вкусу буржуазным кругам Франции, выходявшим тогда на историческую сцену, то в сфере политической он давал разработанную программу в радикальном духе, в которой так нуждались лица, явившиеся для переустройства государственных порядков Франции, для выработки конституционного акта.

В. Ф. Тарановский.

Анализируя или характеризую политический строй Франции при старом порядке, историки обыкновенно имеют в виду те фактические отношения, к которым сводилась вся французская государственность XVIII века. Между тем в тогдашней Франции существовали и свои публично-правовые нормы, правда, постоянно нарушавшиеся правительством, но все-таки жившие в правосознании общества вообще и в частности в правосознании некоторых учреждений и общественных групп, за последними стоявших, и находившие выражение в литературе. В громадном большинстве случаев исследователи старого порядка или совсем игнорировали эту догматику положительного права дореволюционной Франции, или обращали на нее очень мало внимания. Во Франции XVIII в. была особая государственная идеология, имевшая свою историю и оказывавшая влияние на поведение целых общественных групп. Главную ее носительницей была парламентская наследственная магистратура (*noblesse de robe*), но держались этой идеологии и другие общественные группы. Без изучения этой идеологии не может быть поэтому¹⁾ полным и знание старого порядка вообще.

Между тем до последнего времени история догмы государственного права Франции в эпоху старого порядка изучалась мало даже специалистами государственноведения, не одними только общими историками старого порядка. Некоторая литература по этому предмету, конечно, есть, но ее недостаточность была вполне доказана в статье проф. Ф. В. Тарановского „К истории науки положительного государственного права во Франции при старом порядке“, напечатанной в „Журнале Министерства Народного Просвещения“ за 1908 год. Восполняя этот пробел, ее автор сам выпустил в 1911 году в свет большой том (в сорок печатных листов) под заглавием „Догматика положительного государственного права во Франции при старом порядке“, бывший предметом большой моей статьи в ноябрьской книге только-что названного журнала¹⁾ за тот же год.

¹⁾ В более коротком изложении этот пересказ содержания книги Тарановского я повторил на стр. 4—13 книжки „Эпоха франц. революции в трудах русских ученых“. В статье „Ж. М. Н. Пр.“ 46 страниц.

В основу своего труда Тарановский положил очень обильный материал. Его источники и пособия весьма многочисленны, и некоторые из этих источников относятся к числу редких книг. При этом, он везде дает возможность себя проверить, ибо его подстрочные примечания большею частью занимают по половине страницы с длинными текстуальными выписками из анализируемых им сочинений. Центр тяжести всей работы лежит в изображении развития публично-правовой догмы французской монархии на почве парламентской юриспруденции, чему посвящены в книге главы IV — VIII, занимающие около 370 страниц. Этим четырем центральным главам предпосланы три главы о разработке положительного государственного права во французских университетах и о попытках его систематизации в XVI — XVIII веках, а в конце имеется еще одна — о богословском обосновании догмы французского государственного права, — тема, которой сам автор, впрочем, приписывает второстепенное значение.

Анализируемая Тарановским парламентская доктрина была признана им вполне за положительную догматику государственного права старого порядка, а не за абстрактное естественно-правовое учение, каковое усматривали в нем некоторые ученые. Парламент постоянно основывал свои догматические построения на положительном законодательстве и на обычае (традиции), и если действительность старого порядка далеко уклонялась от законности, то не парламент был в этом виновен, а абсолютизм, систематически уклонявшийся от им же самим издававшихся и признававшихся законов. Влияние политико-философской мысли сказалось лишь в способе доказательств и в языке, а не в существе парламентских представлений: в них, говорит автор, „мы имеем дело не с рационалистической дедукцией прав, а с некоторой рационализацией положительного законодательства“. Поддаваться политической философии и включать в свои ремонстрации тирады об общественном договоре Парижский парламент начал только в 1787 году, т. е. перед самым концом своего существования, но и тут теория общественного договора являлась лишь идеологическим фундаментом, подведенным под зданием, которое было построено на почве положительного права: ни о каких правах нации, которые выходили бы за пределы публично-правовой традиции „тысячелетней монар-

хий", прибавляет Тарановский, — нет и помину в парламентских представлениях".

Большой интерес в исследовании Тарановского имеет и глава об историческом понимании в XVIII в. существа старой французской конституции. Между прочим, он рассмотрел здесь мнения и таких писателей, как Монтескье и Мабли. Для историка эпохи, непосредственно предшествовавшей революции, особенно интересны некоторые литературные мнения о взаимных отношениях королевской власти и парламентов после восстановления их при Людовике XVI. Среди самих сторонников парламентских прав в это время раздавались голоса о парламентской узурпации в целях предостережения их от уклонения на нелегальный путь захвата законодательной власти. Но об узурпации можно было бы говорить только со стороны королей, надеявшихся превратить парламент в покорное орудие для своих целей, что и заставило парламент стать в положение представителя нации. Парламентское учение о том, говорит еще Тарановский, что парламент принял на себя представительство нации, будучи вызван к тому государственною необходимостью, давала весьма прочное обоснование публично-правной догме. Хотя учение это признавало, что политические функции переданы были парламенту королем, тем не менее оно же указывало, что переданы были функции, принадлежавшие первоначально нации. При такой постановке вопроса, парламент выступал в осуществлении этих функций, не как мандатарий короля, а как призванный в силу необходимости делопроизводитель нации. Центральное положение его в государстве могло быть подорвано только в случае отрицания первоначальных прав нации на участие во власти. Но дело было в том, что все сторонники так называемой „законной монархии“ стояли на последней точке зрения, хотя бы и придавали различный смысл правам нации. В своей статье о книге Тарановского я выразил сожаление, что он не рассмотрел, как парламентская догма отразилась еще в наказах 1789 г. Это еще совершенно свежая тема.

Е. Н. Петров.

Книга Ону оказала у нас несомненное влияние на одну небольшую, но насыщенную содержанием работу о наказах

1789 г., вышедшую из моего семинария и составившую часть так называемого медального сочинения на факультетскую тему, как это было в прежнем обычае. Работа эта принадлежит Е. Н. Петрову и называется „Вопросы промышленности и торговли в наказах депутатов третьего сословия Генеральных Штатов 1789 г.“, появилась же она в „Журн. Мин. Нар. Пр.“ за 1911 г. Прониклись вполне критическим методом, молодой автор изучал указы, главным образом, по изданию Лорана и Мавидаля для Франции, взятой в целом, но, кроме того, воспользовался и некоторыми томами „Collection de documents inédits sur l'histoire économique de la révolution française“, которые уже тогда имелись. С литературой по истории промышленности и торговли, равно как и по истории экономических учений он тоже познакомился в достаточной мере и в общем написал небольшое исследование вполне научного характера ¹⁾.

Тема, разработанная Е. Н. Петровым, — одна из наименее обращавших на себя внимание исследователей: автор имел полное право указать на то, что „существующая литература о наказах лишь в слабой степени расчистила ему путь: вылавливание, — говорит он, — из массы наказов текстов, оправдывающих предвзятый взгляд, широкие обобщения данных, достоверных лишь для определенной части наказов, нередко, наконец, политическая тенденциозность, — таковы ее главные грехи“. В основу своей работы он положил „городские и сводные окружные указы ²⁾, имеющие преобладающий интерес для решения вопросов торговли и промышленности“. Эти указы, в общем, хорошо известны, благодаря чему выводы по вопросам промышленности и торговли могут быть довольно прочно обоснованы. На первый план автор выдвинул здесь отношение наказов к коренному вопросу промышленности, к вопросу о формах промышленной деятельности, т.-е. защищали ли они цеховую организацию или отстаивали свободу труда? В суждениях наказов по этому вопросу он вообще не нашел однообразия, потому что в них встречаются и критика, и защита цехов, при чем и отстаивали

¹⁾ Более подробное изложение и оценку см. в моих „Беглых заметках“, серия I, стр. 1—35; о другой работе того-же автора см. „Беглые заметки“, II, 82—94.

²⁾ Т.-е. указы, иначе говоря, областные, отдельных баляжей и сеньшальств.

вводящие цеховой строй наказания не были чужды новых идей и даже часто сражались тем же оружием, что и их враги, применяя его для своих целей. Кроме того, по наблюдениям автора, „наказания, отстаивающие монополию цехов, не менее, чем их антагонисты, негодуют на другие монополии и привилегии“.

Не менее интересны сообщаемые Петровым данные о борьбе наказов со свободой сельской обрабатывающей промышленности, вопрос, который он справедливо назвал острым. Наказания горожан высказываются против свободы сельской промышленности. Наоборот, сельские — против цехов, за свободу труда. „Чья сторона, спрашивает автор, победит, в собрании бальяжа? Чье требование попадет в бальяжный наказ? Наказания показывают нам, что за решение этого вопроса во многих местах Франции шла серьезная борьба“. Он приводит целый ряд указаний на то, как третье сословие городов требовало одного, третье сословие деревень — другого, и как спорный вопрос решался в отдельных случаях, причем принимались и компромиссные формулировки. По поводу этого разногласия касательно цехов Петров произвел общий подсчет бывших в его руках наказов и разделил их на группы дружественных цехам, им враждебных и, так сказать, неопределенных, т.-е. неясных или противоречивых, и в первых двух категориях оказались как городские, так и областные наказания. Всех наказов обеих категорий в издании Лорана и Мавидаля он изучил до двух с половиною сотен, кроме сорока в других изданиях, но из них таких, в которых говорится о формах промышленной деятельности, насчитал лишь 136, т.-е. половину общей цифры. К работе Петрова в рукописи была приложена карта Франции, на которой отметками разных цветов было показано, какое в какой местности сложилось отношение к цехам, судя по наказам. Эта интересная карта представляет собою наглядную иллюстрацию к сделанному автором географическому обзору Франции, основанному на „сопоставлении отношения каждой отдельной области к цехам и ее экономического уровня“. Из этого обзора явствует, что большинство торгово-промышленной буржуазии в вопросе о цехах было настроено вполне консервативно, — факт вовсе не парадоксальный, принимая во внимание земледельческий характер страны и

ремесленный уклад ее городской промышленности. В заключение этого обзора Петров рассматривает, как отнесся к цехам Париж. Для суждения об этом, кроме наказа города Парижа, он воспользовался наказами отдельных избирательных участков. Здесь избирательными единицами были не корпорации, как в других городах, а территориальные участки; цехи тем самым были отстранены от влияния как на выборы, так и на характер наказов. Тем не менее лишь один из последних высказался в осторожной форме за упразднение цехов; пожелания другого уклончивы; остальные сочувствуют цехам, и при этом многие протестуют против прав „привилегированных мест“, в которых свободный труд укрывался от цехового режима.

Далее, в своей работе Петров постарался выяснить, как смотрели наказы на взаимоотношения общественных классов, занятых в обрабатывающей промышленности. Рабочий вопрос, по его словам, не привлек к себе внимания составителей наказов: среди областных и городских cahiers третьего сословия он нашел немного в той или иной мере касающихся рабочего вопроса. „При всей скудости данных, нетрудно, говорит он, различить вполне определенную тенденцию в отношении наказов третьего сословия к рабочим; это отношение отличается крайней подозрительностью и крайней суровостью“. По вопросу о правительственной политике в сфере промышленности автор пришел к тому выводу, что наказания третьего сословия были весьма далеки от принципа физиократов, теоретиков невмешательства, что они были за покровительство, но не в форме привилегий, а в форме пособий, ссуд, премий и почетных отличий, т.-е. что взгляды наказов близки к правительственной практике конца старого порядка, установившейся в пятидесятых годах XVIII столетия.

Что касается вопросов торговли, то чаще всего, по наблюдениям Петрова, обсуждался в наказах вопрос о таможенных заставах внутри государства и о свободе внутренней торговли, насчитывавшей во Франции уже более полутора столетия существования. Значительное даже большинство наказов в этом вопросе было совершенно солидарно, но они были солидарны и по вопросу о торговле внешней. Автор перечислил все наказания, сколько-нибудь прикосновенные к фри-тредерству, желая наглядно показать, до чего их мало. Оно

совершенно чуждо наказаниям третьего сословия, и потому их отношение к торговому договору 1786 года с Англией было резко отрицательно. Очень подробно рассмотрен в работе Петрова вопрос и о политике хлебной торговли, на котором, как известно, французские экономисты и политики XVIII века сосредоточивали много внимания.

Свою работу Петров закончил выводами об общем содержании требований изученных им без малого трех сот наказов касательно промышленности и торговли. Исходным пунктом своего ответа на этот вопрос автор делает мнение Ковалевского о том, что эти документы, „отразили на себе ярко влияние той теории государственного невмешательства в экономическую деятельность, которую Гурнэ высказал в известном афоризме „laissez faire“ и которая на целое столетие определила собою характер господствующей экономической доктрины и политику европейских правительств по отношению к промыслам и торговле“. Автор решительно разошелся с этим взглядом, так как, наоборот, наказания третьего сословия стояли на резко меркантилистической точке зрения. Если некоторые наказания, говоря о значении земледелия в национальном хозяйстве, определяли его роль в духе и в формулах физиократов, то эти физиократические заявления ни к чему не обязывали: из физиократических посылок они не делали физиократических выводов, и все остальное содержание оказывалось в полном противоречии с ними. „Не одно требование торгово-промышленной политики, специально свойственное физиократам, не стало общим достоянием наказов третьего сословия“. Роль „сезы экономистов“ в идейной жизни французского общества того времени Петров считает сильно преувеличенную позднейшими историками и усваивает на этот счет взгляд Левассёра. Вообще он рельефно отметил черты различия между содержанием наказов и учением физиократов и черты сходства между этим содержанием и меркантилизмом, хотя, конечно, не нужно забывать, что речь шла не о наказах вообще, а только о наказах, на содержании которых отразились интересы и стремления торгово-промышленного класса с идеологией в экономических вопросах чисто меркантилистической. Предъявляя свои требования, наказания руководились теми же экономическими идеями, которым следовали в своей деятельности и правители государства. Поэтому, го-

ворит автор, нет принципиального противоречия между торгово-промышленными программами наказов и правительства: оно „появляется лишь тогда, когда правительство порывает с традицией“, но наказания не были довольны и существовавшим порядком; только не духом революции, а духом реформы веяло, по словам автора, от всей торгово-промышленной программы наказов третьего сословия, так что если бы весь спор представителей нации с правительством исчерпывался вопросами промышленности и торговли, нужно было бы признать, что не странною претензией были слова Людовика XVI, сказанные в королевском заседании Генеральных Штатов 23 июля 1789 г.: „зная ваши наказания, зная, что между всеобщим желанием нации и моими благодетельными намерениями существует полное соответствие, я буду питать ту полную уверенность, которую мне должна внушать эта столь редкая гармония.“ Но дело как-раз заключалось в том, что предметом спора представителей нации с правительством были не вопросы, постановку которых в наказах торгово-промышленного класса рассматривал в своей работе Петров.

Он опубликовал еще другие работы, относящиеся к тому же предмету. Одна из них называется „Обзор некоторых документов об отношении к цехам во Франции накануне революции“¹⁾, другая посвящена выборам 1789 года в Париже и напечатана в „Журнале Министерства Народного Просвещения“ за 1915 год. К идеологическому освещению XVIII века принадлежат, наконец, еще три статьи того же автора: две, касающиеся Руссо²⁾, и статья об отношении Шатобриана к французской революции в его „молодые годы“³⁾.

В. М. Устинов.

В 1912 году появился первый том, в 700 почти страниц (XXXIX+653) труда В. М. Устинова „Учение о народном представительстве“, рассматривающий „идею народного представительства в Англии и Франции до начала

¹⁾ В сборнике „Николаю Ивановичу Карееву ученики и товарищи по научной работе“ (1914), стр. 211—240.

²⁾ Анналы, I, (1922 г.) и „Россия и Запад“ (1923).

³⁾ Сборник „Из далекого и близкого прошлого“ (1923).

XIX века". Вторая часть этого тома, составляющая большую его половину (478 страниц), должна войти в наш обзор, как относящаяся к истории французской революции. Рассмотрев, какое было представительство старой Франции, автор останавливается на выборах в 1789 г., посвящая им около 60 страниц, излагает потом теорию народного представительства перед революцией (80 страниц), и в частности анализирует учение Сьейеса (около 70 страниц), после чего переходит к изучению идеи представительства в Учредительном Собрании (45 страниц) и в эпоху Конвента (75 страниц), чтобы закончить том эпохой реставрации. Как видим, труд Устинова весьма солидный. Внушен ему он был тем скептическим отношением к представительству, которым к началу XX века сменилось прежнее „восторженное“ к нему отношение (стр. 5). Суть этой теории он определяет: 1) независимостью представителей от избирателей, 2) ограничением роли последних только участием в выборах и 3) отсутствием между обеими сторонами каких бы то ни было юридических отношений (стр. 15). Это — теория, господствовавшая в конституциях и в науке государственного права. В обширном предсловии автор прослеживает постепенные изменения, вносившиеся в эту теорию, как на практике, так и в науке, обнаруживая большую начитанность в новейшей политико-юридической литературе, дабы показать, как с течением времени развитие демократии начало ставить представителей в зависимость от избирателей, что только расширяет „подконтрольность всех проявлений государственной жизни“ (стр. 38 — 39). Главные, исторические части труда Устинова тоже отличаются большой осведомленностью в источниках и в событиях.

В главе о выборах 1789 г. он указывает на то, что во всех правительственных постановлениях, касавшихся выборов, проявляется „одна и та же концепция, всецело заимствованная из старинных воззрений“, по которым „размеры полномочий депутатов определяются избирателями“ (223), хотя и не всегда говорилось это достаточно решительно, что вносило не малую путаницу в производство выборов (234 и сл.). Наказы были, однако, именно выражением старинного воззрения, стеснявшего депутатов, что уже тогда вызывало возражение, например, со стороны Мунье, считавшего этот

обычай абсурдным (247). Особенно интересен в книге Устинова отдел о том, как же разрешили вопрос сами указы, которыми он пользовался в новейших их изданиях (253 и сл.). В общую разработку наказов он сделал важный вклад, установив между ними в данном отношении некоторую классификацию и тем показав, как неправы были французские историки, утверждавшие разное, т.-е. одни, будто в них был повелительный тон или будто в них почти нет и повелительных мандатов (273). Были, по его классификации, „полуобязательные указы“ (280 — 282). Во всяком случае, по словам автора, „свободный мандат являлся скорее новшеством во Франции“ (283). Этим заявлением Устинов и начинает главу о теории представительства перед революцией, где критикует Монтескье, мысли которого не считает „особенно ценными и удачными“ (283 — 295), а также физиократов, Сьейеса и разных авторов брошюр. Он показывает здесь, с каким трудом „новая теория свободного мандата высвобождалась от первоначальной концепции представительства“. На этом сказывалось и влияние Руссо (309 и сл.), у которого была „исчерпывающая критика самого его существа, по скольку оно призвано осуществлять народный суверенитет“, народную волю (312), хотя отрицание представительства и не имело у него безусловного значения (319). Вообще на Руссо он останавливается очень долго, весьма подробно обсуждая его понимание дела, полагая, вопреки общему мнению, что Руссо был скорее вдохновителем 1789, а не 1793 года (310 — 331). Дидро, Гольбах, Мабли (последние на страницах 333 — 339) тоже нашли место в этой главе. Главными проводниками чисто представительного строя Устинов считает Сьейеса, Турэ, Мунье и Мирабо (347), тогда как Кондорсеэ, взгляды которого были довольно сложные, склонялся на сторону Руссо и Мабли (351 и сл.). Учению Сьейеса в книге отведена особая, весьма обстоятельная глава, потому что он обыкновенно выставляется инициатором современной конструкции представительства, да и то в русской литературе его учение не подвергалось обсуждению (364 — 365). В этой главе рассматривается и позднейшая деятельность Сьейеса, что дает Устинову возможность проследить эволюцию его теории и установить отдельные ее этапы (393). В этой теории он видит антитезу Руссо (395), так как это

было развитие англо-американской точки зрения (396). Особое место отвел автор и инициативе Сьейеса в злосчастном разделении граждан на активных и пассивных (411 и сл.), свидетельствующем только о „всей бедности его политического мирозерцания“ и о его желании дать „государственное преобладание буржуазии“ (413). Резко критикует он Сьейеса и в деле выработки консульской конституции (416 и сл.). Общий вывод автора тот, что, не отличаясь научной глубиной, теория Сьейеса была чрезвычайно удобна для укрепления и преобладания буржуазии (435).

В истории идей представительства за время революции в книге Устинова различаются три фазиса. Первый заключался в выработке буржуазной конструкции представительной системы, когда, как это было в конституции 1791 года, „представители суверенного народа превратились в суверенных представителей народа“. Второму фазису соответствуют жирондистский проект конституции и якобинская конституция 1793 года, проводившие полупредставительный строй, а также „стремления осуществить непосредственную демократию, появившиеся, главным образом, в действиях парижской Коммуны“. Наконец, третий период, выразился в конституциях 1795 и 1799 годов и в наполеоновском законодательстве, сначала искажавших природу представительства, а потом и окончательно его уничтоживших (436 — 437). В этих рамках Устинов подробнейшим образом рассказывает, как осуществлялась идея представительства в политических собраниях, управлявших Францией, какие мнения по этому поводу высказывались, какие происходили прения, какие принимались решения, при чем в Учредительном Собрании все еще делались ссылки на наказания (439 и сл.), против которых, с другой стороны, уже в начале июля 1789 г. была открыта компания (448 и сл.). Не только по этому вопросу происходили прения в Собрании, но и развивалась памфлетная литература (451 и сл.), равно как и сам народ или разные учреждения вмешивались в дела Собрания, протестуя против его декретов, требуя исключения или отозвания депутатов или об'являя их предателями и т. п. (453 и сл.). Устинов останавливается и на учении отдельных депутатов о представительстве (например, Барнава, 466 и сл., Петгона, 470 и сл. и т. п.). В главе о Конвенте выясняется и роль парижских секций

(485 и сл.), а также провинциальных коммун, движение которых, говорит автор, „способствовало внутреннему объединению Франции и приучило ее население к политической самодеятельности, воспитало в нем действительно демократические чувства“ (490). Коммуны и секции, а также и клубы, все эти проявления общественной самодеятельности, были, однако, порождены самою жизнью, ее требованиями, а не доктриной. Если постоянно ссылались при этом на Руссо, то эти „ссылки более следовали за движением, нежели вызывали его (497)“.

Особый интерес в каждом труде о французской революции представляет собою отношение автора к антагонизму между Жирондой и Горой. Их разногласие Устинов сводит к тому, что они различно относились к Парижу: одна стояла за его равноправие с прочими коммунами, другая — за его диктатуру. В полном противоречии со многими историками Автор находит, что, в сущности, Жиронда была настроена более демократически, чем Гора, так как диктатура столицы исключала население провинций из участия в суверенной власти. Обе партии сходились в предпочтении представительному строю с минимальными уступками в направлении непосредственного народовластия (500). Проповедуя последнее, жирондисты относились к народу с величайшим недоверием, не решаясь, однако, говорить о нем во всеуслышание. Впрочем, Устинов различает между жирондистами и жирондистами, выделяя, например, Петiona, и Кондорсэ, как более последовательных демократов (502 — 507), как и среди монтаньяров находя разные течения, тогда стоявшие в противоречии с их собственными принципами. В последнем отношении он особенно выделяет Марата, говоря, что в нем более, чем в ком-либо другом из деятелей Горы, революционер одолевал демократа (508). Он анализирует его идеи и приходит к тому выводу, что Марат, видя в народе ребенка, нуждающегося в близком руководительстве и опеке, поэтому боялся, что народ сам не справится с делом охраны своих интересов (508). Но Марат для Устинова и не есть типичный монтаньяр: Марат „излагал приемы революционной тактики, а не принципы политической системы“ (512), как и Дантон не имел своей системы, будучи лишь оппортунистом (513). в духе эпохи, отождествлявшей Конвент с народом, подобно,

впрочем, и Сен-Жюсту, теоретически преклонявшемуся перед демократией, а практически служившему безусловной и неограниченной власти (519). В Робеспьере, говорит автор, еще резче противопоставлены его философия и его политика (552), но в то же время он не считает Робеспьера педантом, как то делал Тэн, находя довольно справедливым мнение о нем немецкого историка Адальберта Валя, что он „является создателем современного сильного сплоченного государства“, усвоенного и другими странами (521). Вообще Устинов много поработал над вопросом о философии и политике Робеспьера, рассмотрев, между прочим, большую новейшую о нем литературу. И идеал Робеспьера не был всегда одним: „вернейшим способом упрочения популярности среди народа было идти за революцией, т.-е. изменять свои взгляды в зависимости от духа времени“ (524). Самая конституция 1793 года представляется автору соединением проектов Робеспьера с проектом Кондорсе, некоторым полупредставительным строем вроде теперешнего швейцарского (546 и сл.), как конституция III года была построена на позднейших идеях Сьейеса, но, в сущности, воспроизводила фикции 1791 г. прикрывавшие господство буржуазии, только теперь более его оголяя (551).

Конец последней главы в труде Устинова, посвященный революции, рассматривает конституционный план Бабёфа, шедшего далее конституции 1793 г. в направлении к непосредственной демократии в духе Руссо (552 и сл.). Автор анализировал бабувизм не с социальной, а с чисто политической точки зрения, которая обыкновенно историков этого движения не занимала. Крушением заговора Бабёфа для Устинова заканчивается или, по крайней мере, надолго прерываются попытки установить действительное народоправство во Франции (555). Последнею господствующей теорией делается теория Сьейеса, способствовавшая, как выражается автор, „тому бесцеремонному обращению с народом, под прикрытием народного суверенитета, которое производилось и при директории, и при консульстве, и при империи“ (555). Следующая глава книги (об эпохе реставрации) уже не может здесь нас интересовать. В общем, труд Устинова один из важных вкладов в русскую историческую литературу, в котором очень ценную сторону представляет собою весьма большая

осведомленность в новейших работах по эпохе, о чем свидетельствует постоянное пользование остававшимися дотеле малоизвестными книгами, брошюрами и статьями, не успешными еще даже войти в общий обиход науки ¹⁾).

Г. Д. Гурвич.

Книга, о которой теперь будет идти речь, называется „Руссо и декларация прав“ с подзаголовком „Идеи неотъемлемых прав человека в политической доктрине Руссо“. Автор ее — Георгий Гурвич, вышла она в 1918 году и содержит сто страниц. В ней проводится та мысль, что писавшие о Руссо неправы, когда говорят о внутренней противоречивости его учения или о необязании ею влияния на Декларацию прав, что, напротив, теория Руссо вполне едина и что Декларация в ней имеет свой настоящий источник. Доказывая такие тезисы, Гурвич обнаружил очень вдумчивое отношение к самому Руссо и хорошее знакомство с литературой о нем. Прежде всего, конечно, он говорит о том, в чем же критики Руссо усматривают его абсолютизм, имея особенно в виду то употребление, какое на практике сделали из его учения во время революции якобинцы, и видя противоречие между этим абсолютизмом и индивидуализмом, составляющим переходный пункт всей теории автора „Общественного Договора“. Гурвич старается доказать, что Руссо отнюдь не был абсолютистом, что, наоборот, он был защитником индивидуальной свободы. Правда, он и сам в теории Руссо находит противоречия, но лишь „кажущиеся“, „терминологические“ (12, 30 и 34 и др.), и даже в тех случаях, когда „противоречие на первый взгляд ясно“, (24), когда оно „повидимому безысходно“ (26), он это объясняет „двойственностью терминов“, которая, по его словам, и „принесла непоправимый вред правильному уразумению его системы“ (34 и сл.). Мало того, Гурвич, говорит еще, что Руссо „вплел“ в ход своих рассуждений некоторые элементы, „затрудняющие понимание первооснов этого учения“ (72) и „препятствующие усвоению их во всей их чистоте“ (77),

¹⁾ Читая книгу В. М. Устинова вскоре после ее выхода, я нашел в ее подстрочных примечаниях немало бывших для меня новыми библиографических указаний.

при „глубоком его своеобразии“ (77) и „терминологической двойственности“. Наконец, он называет все „построение гражданской религии“ у Руссо „неудачным“, по объясняет его не из учения о праве государства устанавливать религию граждан, а из „неправильно понятой необходимости“ (86), соглашалась, впрочем, что „учение о гражданской религии является несомненным нарушением веротерпимости“ (87). Наконец, автор делает еще одну уступку, заявляя, что Бенжамен Констан, бывший, по его мнению, родоначальником неправильного понимания теории Руссо, „был по своему прав, когда резко противопоставлял индивидуализм в своем понимании доктрине Руссо“ (97).

При таких оговорках и уступках, Гурвич тем не менее не только отрицает противоречие в мыслях Руссо, но старается доказать замечательную последовательность данного им „чрезвычайно глубокого обоснования“ у всех неотъемлемых естественных прав человека (12) и тем „проложить путь к воссозданию единого систематического целого из воззрений Руссо“ (20). При этом он подчеркивает, что „основное устремление“ творца „Общественного Договора“, заключалось в „абстрактной теории, а не в формулировке конкретных политических требований“ (13), которые имеют в виду писатели, говорившие о влиянии Руссо на революцию. Своему критическому пересмотру Гурвич подвергает три пункта: 1) отрицание в „Общественном Договоре“ неотчуждаемости естественных индивидуальных прав, 2) приписываемую ему „ходячим мнением“ безграничность верховной власти и 3) взгляд, делающий Руссо противником религиозной свободы и частной собственности. Стараясь доказать противное, Гурвич вместе с этим опровергает и тезис о том, что Руссо не был идейным вдохновителем „Декларации прав“. Сопоставляя отдельные мысли женевого философа и толкуя их по новому, он пытается найти и некоторую основную мысль Руссо, в которой примиряются „кажущиеся“ и часто только „терминологические“ противоречия в его учении. Здесь, конечно, излагать выводы, в каком он пришел, не место ¹⁾. Нужно только отдать

¹⁾ Тотчас же после появления книги Гурвича я написал подробный ее анализ, который не мог тогда найти места в печати, вследствие наступившей разрухи в издательских и типографских делах. Так и осталась моя рукопись в ящике рабочего стола.

справедливость остроумию, с каким автор распутывает (и сам считает „окончательно распутанным“) „клубок безысходных противоречий, в которых якобы запутывается с самого начала построение Руссо“ (37). Когда следуешь за толкованиями Гурвича, получается даже некоторое правдоподобие: да, такова могла бы быть мысль Руссо, но отсюда далеко до уверенности, что такова она была. Весьма похожа на истину догадка Гурвича, что автором статьи „Естественное право“, помещенной в „Энциклопедии“ Дидро (49—50), был Руссо, но если здесь наш исследователь находит двойственность в понимании у Руссо естественного права, как веления разума, с одной стороны, и естественных инстинктивных побуждений, с другой, (ср. стр. 31), то что было причиной об'единения им под одними тем же названием столь различных начал? Многие соображения Гурвича весьма интересны и вносят новые черточки в понимание отдельных мест „Общественного Договора“, считавшихся у прежних комментаторов „темными и софистическими“, но все-таки остается место для сомнения, не есть ли Руссо нового его исследователя не таким, каким он был, а каким его хотел бы видеть защитник предполагаемых единства, цельности и глубокой индивидуалистичности его учения.

Как же представляется оно Гурвичу? „Неот'емлемые субъективные права граждан, говорит он, гарантированы у Руссо самим фактом существования государства и верховной власти, ибо это существование возможно только на базе разумного естественного права¹⁾, основное содержание которого есть утверждение индивидуальной свободы: все учение Руссо сводится в конечном итоге к утверждению неот'емлемых естественных прав индивида... Руссо не обманывает индивида, когда обещает ему в государственном состоянии свободу, как пользование разумными естественными правами в обмен на инстинктивные естественные права, от которых индивид должен отказаться, чтобы вступить в общение“ (76). Если Руссо утверждает какой-либо абсолютизм, по толкованию Гурвича, то это — „абсолютизм разумного естественного права“, с „полным подчинением ему власти. Его руководящая идея — суверенитет права, и при том неот'емлемого

¹⁾ Напоминаю о двойственности у Руссо, по Гурвичу, естественного права.

права индивида", т. е. воззрение, как отмечает сам автор, сходное с новейшим направлением в государствоведении (77). Значение закона для обеспечения гражданской свободы было „новым и оригинальным воззрением Руссо“, перешедшим, как находит Гурвич, в „Декларацию прав“ (79). Так толкуя абстрактную сущность теории, он замечает, однако, что эмпирические условия осуществления своего идеала Руссо представлял себе неправильно, что это — „самая слабая сторона его доктрины“ (87), с сущностью ее, впрочем, отнюдь не связанная (88). Это — совершенно оригинальное толкование Руссо, с которым нельзя будет не считаться будущим исследователям.

П. А. Кропоткин.

Теперь мы остановимся на русском авторе, который, не будучи профессиональным историком, написал историю французской революции и при том с такой точки зрения, на которую не становился никто из его предшественников¹⁾. Этим историком революции был П. А. Кропоткин²⁾, известный теоретик и проповедник анархизма, более сорока лет (1876 — 1917) живший за границей, как политический эмигрант и вернувшийся в Россию только после февральской революции, когда также впервые сделалось возможным издание и у нас

¹⁾ Лишь до известной степени аналогичную точку зрения мы находим у Борового, который, однако, менее последователен, нежели Кропоткин.

²⁾ О книге П. А. Кропоткина я немедленно же написал большую статью, занимавшую 50 страниц в сентябрьской и октябрьской книжках „Русского Бог.“ за 1910 год. Статью несколько меньших размеров (30 страниц) я посвятил „П. А. Кропоткину, как историку французской революции“, в сборнике статей о нем под заглавием „Петр Кропоткин“ (1922), где и привел в расчет и работы автора, относящиеся к анархизму. В основу дальнейших страниц положена первая из этих статей, в которой ссылки были сделаны на французское издание, тогда как во второй статье я пользовался русским. Главное различие между обеими статьями в том, что в первой я имею в виду преимущественно книгу, во второй — автора, что и заставило меня предпочесть в настоящем труде более раннюю статью с сокращением, однако ее изложения в два с половиною раза. Прибавляю, что через несколько лет после издания своего труда Кропоткин повторил главные взгляды, в нем высказанные, в книге „Современная наука и анархия“. В заграничных научных изданиях большого разбора труда Кропоткина мне неизвестно. Самый авторитетный отзыв Ола ра (La Rev. Franç., 1909, septembre) называет этот труд „весьма серьезным, весьма интересным, написанным с замечательным стремлением к беспристрастию“. Очень „поучительным“ он считает посмотреть на революцию глазами Кропоткина.

его книги, на которой мы и остановимся, сначала кратко очертив историологическую позицию автора ¹⁾).

Историческую теорию Кропоткина в последней ее формулировке мы находим в его книге „Современная наука и анархия“, где он в человеческом обществе различает два начала, называя одно „народным“, другое — „начальническим“. Эти два одно другому враждебных начала всегда действовали и в истории. В первом Кропоткин видел созидательную творческую силу, другое, наоборот, представлялось ему силою, угнетающей народ, кто бы при этом ни держал власть в своих руках. Соответственно с этим он делит и людей, действующих в обществе и в истории, на „анархистов“, как представителей народного начала, и на „государственников“, представителей „начальнического“ направления. Самих реформаторов и революционеров он распределяет между этими двумя категориями, т.-е. или как людей, стремившихся уничтожить самую власть, или людей, думавших лишь о ее преобразовании, о ее приобретении для осуществления своих идей.

Другая основная мысль Кропоткина — та, что в истории происходит чередование революций и эволюций. Бывают времена, когда становится неизбежным глубокое, существенное изменение всей жизни народа, но если люди, стоящие у власти, упускают момент, когда еще возможна мирная реформа, наступает революция, которая неизбежно же развивается до крайних своих последствий. Период эволюции есть линия, медленно поднимающаяся вверх, а революция — резкий скачок этой линии кверху, но так как силы, враждебные прогрессу, бывают значительны, то прогресс на высоте не удерживается, и его линия падает быстро, а иногда и глубоко, но уже все-таки не так низко, как дело обстоит до революции. Эти свои основные взгляды Кропоткин и проводит в книге, о которой теперь будет речь.

Она вышла в свет в 1909 году на французском языке и сразу в немецком и английском переводах, а позднее и в подлиннике в виде компактного томика ²⁾).

¹⁾ Более подробно я говорю об общих исторических взглядах Кропоткина в статье, помещенной в сборнике о нем, и вернусь еще к ним в книге, „Французская революция в философии истории“.

²⁾ Русский перевод сделанный под ред. самого автора, был издан в Лондоне незадолго до революции 1917 г., а потом перепечатан и в России.

„Чем более, говорит автор в предисловии, — чем более изучаешь французскую революцию, тем более обнаруживаешь, до какой степени история этой великой эпохи еще неизвестна, сколько в ней пробелов и темных пунктов“. Политическая история революции, продолжает Крпоткин, более или менее исследована, но „изучение экономической стороны (des aspects économiques) революции и столкновений на этой почве еще только нужно предпринять:... целый ряд новых проблем, обширных и сложных открывается перед историком, как только он приступает к рассмотрению этой стороны революционной бури“. „Для того, — читаем мы далее, — чтобы разобраться в некоторых из этих проблем, я, еще с 1886 г., предпринял отдельные исследования о начале революционного движения в народе, о крестьянских восстаниях 1789 г., о борьбе из-за отмены феодальных прав, об истинных причинах движения 31 мая и т. п. К сожалению, — находит нужным оговориться автор, — я вынужден был ограничиться для этих исследований печатными коллекциями Британского музея, очень, впрочем, богатыми, и я не мог порыться в материале французского Национального архива“. Так как, однако, отрывочные работы этого рода не могли бы быть понятны вне связи с общим ходом революции, наш автор решился изобразить и последний, „не пересказывая драматической стороны грандиозных эпизодов, уже столько раз повествовавшихся“, но за то „широко пользуясь новейшими исследованиями в целях ясного представления внутренней связи и основных причин отдельных событий“, совокупность которых называется французской революцией. Итак, сам новый историк революции видит в своем труде лишь ряд частных исследований, связанных между собою на фоне общего хода революции. Говоря так о своей задаче, он делает различие между „экономическими аспектами революции“ и „проявлениями борьбы“ на этой почве: заранее отмечаем, что все внимание автора сосредоточено именно на борьбе в области экономических интересов, и читатель даже не найдет у него изображения экономических отношений, в сущности, и являющихся главным предметом экономической истории. Я бы даже сказал, что автора интересует не экономика французской революции, а социальная сторона происходившей тогда борьбы классов на почве экономических интересов: это, значит, еще не экономическая история в более тесном значении слова.

Настоящие ответы на многие ставимые Кропоткиным вопросы можно найти только в архивах (и, конечно, не в одном Национальном, о котором он говорит, но и в департаментских), и только особые жизненные обстоятельства (запрещение пребывания во Франции), разумеется, помешали ему заняться архивными источниками и присоединить свое имя к именам других русских, работавших во французских архивах. За то в его распоряжении были печатные сокровища Британского музея, а их, как известно, так много, что ими мог довольствоваться другой историк революции, бывший одно время тоже лишенным возможности проживать во Франции, Луи Блан. Этот недостаток архивных данных Кропоткин старался заменить провинциальными историями, которых ему известно несколько, а о том, что он пользовался и трудами общих историков революции, можно было бы и не упоминать. Во всяком случае, наш автор знаком с главной литературой по истории революции, и в частности там, где ему приходится затрагивать ее политическую сторону, он хорошо осведомлен относительно работ такого историка, как Олар. Не была оставлена им без внимания и литература по частным вопросам: я даже мог бы в доказательство этого сослаться на список в несколько десятков сочинений, на которые ссылается автор. Наконец, прежде, чем написать „Великую революцию“, Кропоткин уже не раз излагал свое ее понимание. В год столетия французской революции в английском журнале „Nineteenth Century“ появилась статья Кропоткина под заглавием „The great french revolution and its lesson“. В следующем году о „великой революции“ он издал брошюру и на французском языке. Наконец, в „La Révolte“ за 1892—93 гг. им, все под тем же заглавием, был напечатан ряд небольших статей, изданных потом и отдельно.

О французской революции писали и оценивали это событие с разных точек зрения: и реакционного традиционализма, и либерализма, и радикализма, и социализма, и каждая из них что-либо вносила своего в ее понимание и оценку, но все эти точки зрения исходили из идеи неизбежности или необходимости, полезности, и желательности существования государства. Кропоткин прославился, как идеолог анархизма, и не только для историка, но и для каждого

интересующегося общественными вопросами человека не может не быть интересным, как представляется французская революция, ее причины, ход, успехи, поражения, приобретения и разочарования с такой исключительной точки зрения, на которую до сих пор из общих историков революции никто не становился. В книге Кропоткина история революции заключена в рамки 1789—1793 гг. Состояние Франции перед революцией едва только вообще затронуто в первых главах, да и то автор интересовался преимущественно лишь настроением народа, а не его положением. Вообще в революции его интересует более история событий с порождавшими ее настроениями, нежели история быта, история фактических отношений, к каковым нужно причислить и отношения классовые, составляющие самый строй общества. Как историк революции, он видит в ней классовую борьбу, но предполагает, что читатели знают, из каких же элементов состоял народ, являющийся, собственно, главным деятелем революции. Одна из основных мыслей труда Кропоткина—та, что народное действие, которое его главным образом занимает, началось еще раньше того, в чем обыкновенно видят начало революции. Поэтому и концом революции он признает тот момент, когда якобинская государственность устранила возможность спонтанного народного действия. Событиям 1794—1799 гг. в его книге отведено вследствие этого лишь небольшое количество страниц: это уже был период умирания революции, когда место народного действия заступили „интриги различных партий“. Правда, и в этом периоде были кое-какие „конвульсии“, но они уже не привлекают внимания автора, и даже коммунистическому заговору Бабефа он едва посвящает четыре строки.

Таковы хронологические рамки, в какие заключена у Кропоткина история революции: это—период, когда на сцене мы видим народ, период „народного действия“. Рядом с этим действием автор видит на исторической сцене революции еще другую силу, в соединении с которою народное действие и совершило революцию. „Два великих течения, говорит он в самом начале книги, подготовили и произвели революцию. Одно течение, идейное, поток новых идей о политическом переустройстве государств, шло от буржуазии. Другое, дей-

ственное, исходило из народных масс — крестьянства и городского пролетариата, желавших получить непосредственные и осязательные улучшения своего экономического быта. И когда эти два течения встретились в стремлении к общей сначала цели, когда они, в течение некоторого времени, оказывали одно другому поддержку, тогда и была революция". Несколькими страницами дальше (стр. 4) он ту же мысль выражает такими еще словами: „нужно (т.-е. для того, чтобы произошла революция, а не был простой бунт в роде пугачевщины),— нужно, чтобы революционное действие, идущее от народа, совпало с движением революционной мысли, идущим от образованных классов. Нужно соединение того и другого". Отметим теперь же мимоходом, что в первой цитате народу противопоставляется буржуазия, т.-е. социальный класс, а во второй — уже интеллигенция, т.-е. культурный слой.

Кропоткин поэтому считает очередной задачей изучения революции исследование „обстоятельств, которые дозволили французской нации, в данный момент, совершить это усилие, т.-е. начать осуществление идеала. С другой стороны, продолжает он, еще очень задолго до 1789 г. Франция уже вступила в период восстаний“, сначала голодных бунтов, потом из-за нежелания платить феодальные повинности. Сами по себе жакерии — еще не революция. „Революция, поясняет свою мысль Кропоткин, это неизмеримо больше, чем ряд восстаний в деревнях и городах. Это более, нежели простая борьба партий, как бы кровава она ни была, более, нежели уличная битва, и гораздо более, нежели простая перемена правительства, какие были во Франции в 1830 и 1848 г.г. Революция, это — быстрое ниспровержение, в течение немногих лет, учреждений, пускавших корни в почву целыми веками и казавшихся столь прочными, столь несокрушимыми (impitables) что самые яростные реформаторы едва дерзали нападать на них в своих сочинениях. Это — падение, раскрепощение (l'émiettement) в короткое время всего, что составляло до того самое существо общественной, религиозной, политической и экономической жизни нации, низвержение всех приобретенных идей и ходячих представлений о столь сложных отношениях между отдельными единицами человеческого стада. Наконец, это — возникновение новых взглядов о равенстве во взаимных отношениях между гражданами, взглядов,

скоро становящихся действительностью в жизни общества“ (стр. 3—4).

Сводя то, что сказано автором о двойственном характере революции к обнаженной схеме, мы можем выразить его мысль в таком виде:

Одно движение:	Другое движение:
Мысль.	Действие.
Буржуазия.	Народ.
Политическая цель.	Экономическая цель.

В буржуазии берет у Кропоткина начало идейное движение исключительно политического характера, в народе—движение, действительное с экономической программой. Для такой формулировки были, конечно, свои основания, и потому аналогии для подобного распределения ролей между буржуазией и народом мы могли бы найти и у других историков революции, но, в конце концов, эта схематизация требует целого ряда поправок.

Во-первых, я уже отметил выше, что Кропоткин противопоставляет в одном месте народ не просто буржуазии, а буржуазии *плюс* образованным людям, и это он делает не в одном только приведенном месте: можно было бы привести еще целый ряд мест, где рядом с буржуазией фигурирует еще „интеллигенция“ (во французском подлиннике *les intellectuels*). Интеллигенция 1789—1793 г.г., однако, не стояла в исключительной связи с буржуазией, на что указывает местами сам же Кропоткин, хотя бы, напр., там, где говорит о таких любимцах народа, как Сентерр, Фурнье-Американец, Карра и др. (стр. 343). Мысль работала не в одной буржуазии, не об одной буржуазии заботилась и, равном образом, интеллигенция. „Разумеется, — оговаривается он сам, между прочим, — было бы несправедливо говорить, что буржуазия 1789 г. руководствовалась исключительно узко-эгоистическими взглядами. Если бы это было так, она никогда не была бы в состоянии выполнить свою задачу. Лучшие представители грегьего сословия, продолжает он, наполнились из этого чудного источника философии XVIII в., заключавшего в себе зародыши всех великих идей, какие после этого только ни возникали. Чисто научный дух этой философии носит в основе своей

нравственный характер, хотя бы она и осмеивала условную мораль; ее вера в умственные способности, в мощь и достоинство свободного человека, когда он будет жить среди равных, ее ненависть к деспотическим учреждениям, — все это мы находим у деятелей революции. Да и где бы они нашли силу убеждения и самоотверженности, которая обнаружена была ими в борьбе?“ (стр. 13). Мало того, разные, с народной точки зрения, недостатки философии XVIII в. в ее практических последствиях Кропоткин объясняет не классовым своекорыстием, а чисто теоретическими ошибками, вытекавшими из неопытности, недостаточности знания и т. п. Такова была, напр., ошибка экономистов, „искренне веровавших, что обогащение отдельных лиц было бы лучшим средством обогащения всей нации вообще“ (стр. 13). Кропоткин даже особенно обращает внимание своих читателей на то, что „незнание (l'ignorance) писателей, большею частью горожан и людей кабинетных (hommes d'étude)“, было прямо причиною непонимания, напр., феодального вопроса.

Умственных сил было, понятно, больше у буржуазии, нежели у народа, как было и больше сознательности в ее деятельности. „Недостаток ясности в представлениях народа относительно того, чего он мог ожидать от революции, по словам Кропоткина, наложил свою печать на все движение“, но у народа все-таки стали возникать „проекты аграрного закона и уравнивания естолний“ (стр. 18); только эти „идеи народа были смутны в положительной своей стороне“ (стр. 19), да и „у мыслителей, которые желали счастья народу, они тоже не принимали ясной и конкретной формы“ (стр. 17).

Далее, если идейная сторона революции не может считаться исключительным достоянием буржуазии, то и сторона действенная не была исключительным достоянием народа. Можно только говорить о большей ясности мысли и сознательности у одной стороны и о большей напряженности и успешности действия у другой. Народ не только действовал, но и думал, как и буржуазия не только думала, но и действовала. В своем изложении событий революции Кропоткин, — что делалось, впрочем, конечно, и до него, — показывает, как обе силы, — т.-е. буржуазия и народ, если уж на то пошло, — действовали сначала в одном направлении, но как впоследствии действия народа вызвали ряд „противодействий“

со стороны буржуазии, — противодействий, которые, в конце концов, одержали победу в своей борьбе с действиями народа. Революция была сначала борьбой буржуазии и народа против правительства и привилегированных, но потом перешла в борьбу между собою самих буржуазии и народа, когда прежние содействия превратились в противодействия.

Наконец, требует очень больших оговорок и разделение политики и экономики между буржуазией и народом, как это представляется в основной схеме Кропоткина. Буржуазия стремилась не только завладеть правлением и дать государству новое устройство в духе требований новой политической философии, но вместе с тем ставила революции и экономические цели. Сам же автор, указав на то, как буржуазия думала устроить государство, дополняет политическую ее программу и экономической. Буржуазия хотела взять все в свои руки, чтобы, провозгласив свободу промышленности, „дать полную волю индустриальным предприятиям в целях эксплуатации природных богатств, а также рабочих, отданных в полную власть всякого, кто только может им дать работу“, т. е. государство по этому плану должно было „благоприятствовать обогащению частных лиц и накоплению крупных состояний“ (стр. 10). „Экономические идеи буржуазии, по словам самого же автора, отличались большою ясностью“, — быть может, даже гораздо большею ясностью, чем то было на самом деле. Да и философия XVIII в., по собственному представлению Кропоткина, занималась не только политическими, но и экономическими вопросами. При том же, если буржуазия бросилась в реакцию, то на первом плане здесь была охрана социального status quo от новых экономических стремлений, обнаруживавшихся в народных массах. Далее, что народ более интересовался вопросами материального благосостояния, нежели отвлеченными „правами человека и гражданина“, входившими в политическую программу буржуазии, это совершенно верно, хотя, конечно, „права человека и гражданина“ нужны были не одной буржуазии, и если народ их меньше понимал и ценил, нежели интеллигенты, то в этом еще никакого преимущества не было. Противопоставляя, однако, экономические стремления народа политическим стремлениям буржуазии, Кропоткин, понятно, вовсе не мог иметь в виду аполитичности народа во время революции, так как этой апо-

литичности и не было, по крайней мере, в наиболее действительных группах народа, да и сам он, автор, изображает эти круги, как среду, в которой развивалась новая идея действительно демократического государства. Отметив, что в народной массе не было единомыслия по вопросам об аграрном законе и уравнивании имуществ, он указывает, что в народе было разное понимание организации государства: по крайней мере, в части народных масс, — в той, конечно, которая наиболее проявила себя в революции, — уже были в ходу новые идеи о политической децентрализации и о праве самого народа на преобладающую роль в муниципальных учреждениях и в собраниях граждан (стр. 29). Можно, следовательно, только говорить о разных степенях ясности и разработанности и политических, и экономических идей у буржуазии и у народа, а не о том, будто буржуазия и народ как-бы поделили между собою политику и экономику. В конце концов, автор так, конечно, сам понимает дело.

Народную, именно „народную“ историю революции желали писать вообще все демократические историки, — народную и в смысле сочувственной народу точки зрения, и в смысле истории самого народа, а иные, кроме того, и для народа, как это сделал Жорес. Ни одна из историй французской революции, которая имела в виду говорить преимущественно о народе, даже история Мишле, которую Кропоткин высоко ставит, повидимому, его не удовлетворяет: такую историю только предстоит еще, по его мнению, написать, так как, — говорит он, — „роль народа сел и городов в этом движении никогда не изучалась в ее целом“ (стр. 5). Полным изучением, исчерпывающим предмет, Кропоткин, конечно, не может считать и свою книгу.

Больше всего отношение Кропоткина к народу и напоминает Мишле. Это чувствуется в тоне его книги, но только без сентиментальности Мишле, и на это указывают отдельные места, где говорится о верности народного чутья, народного инстинкта. Буржуазия хотела помешать народу овладеть Бастилией, но народ, руководимый своим „революционным инстинктом“, начал действовать без чьих бы то ни было приказаний (стр. 110). 5 октября 1789 г. „толпа, коллективный ум парижского народа, понимала то, что с таким трудом понимали отдельные лица“ (стр. 203). После по-

беды народа должно было быть введено нечто новое в учреждении, что помогло бы новым формам жизни выработаться и окрепнуть, и „французский народ, повидимому, удивительно понял эту необходимость“, создав народную коммуну (стр. 234): народ организовался, благодаря „своему удивительному духу революционной организации“ (стр. 236). „Народ всегда обладает верным чутьем положения даже тогда, когда не умеет его толково выразить и обосновать свои предвидения доказательствами по-ученому; он неизмеримо лучше, нежели политики, угадывал заговоры“ и т. д. (стр. 330). „Народ со своим всегда столь верным чутьем в совершенстве понимал“ и т. д. (стр. 347). „Парижский народ со своим удивительным инстинктом“ и пр. (стр. 354). Вот несколько мест, характеризующих отношение Кропоткина к народному действию. Нередко народ совершенно правильно хотел идти дальше, но его останавливали, мешали ему те, кого революция поставила во главе движения (стр. 613). Отдельные личности, кроме разных „неизвестностей“ (inconnus), действовавших заодно с народом, целые партии и сами представительные собрания революции являются у автора виновниками того, что верное понимание народом положения дел оставалось безрезультатным. Особенно неблагоприятен он в этом отношении к управляющим Францией собраниям, которые и противопоставляются им непосредственному действию народа. „Революция, говорит Кропоткин, совершается всегда меньшинствами, и даже тогда, когда революция началась и когда часть нации уже приняла ее последствия, всегда только незначительное меньшинство понимает, что нужно сделать для обеспечения уже достигнутого, и имеет мужество действовать“, тогда как „всякое собрание, всегда представляющее собою средний уровень страны или даже стоящее ниже среднего уровня, во все времена было и всегда будет тормозом революции, отнюдь никогда ее оружием“ (стр. 335).

Совершенно ясен и определен взгляд Кропоткина на то, что можно назвать методом действительного участия народа в движении. Законодательной деятельности Учредительного и Законодательного Собраний и Конвента Кропоткин не придает большой цены, поскольку ими только декретировались меры, которые без проведения их в жизнь самим народом обречены были оставаться чисто бумажными законами. Это

он говорит не один раз в своей книге. Известно, какие факты были обобщены Тэном в понятии „спонтанной анархии“¹⁾, но Олар дал совершенно иное освещение этим фактам²⁾. Ссылаясь на результаты, добытые Оларом, Кропоткин защищает коммуналистическое движение 1789 г. от нападок историка, видевшего в нем только один общественный развал. „Тэн, говорит он, и все, восхищающиеся административным порядком сонных министерств, шокированы, несомненно, зрелищем этих дистриктов, предваряющих своими голосованиями Национальное Собрание, указывающих ему своими решениями на волю народа, но ведь только так и развиваются человеческие учреждения, когда они не простое произведение бюрократии“. Он сравнивает их возникновение с тем, как строились и строятся все большие города: здесь группа домов и рядом с ними лавок намечает центр будущего города, там едва проведенная линия — одну из будущих крупных улиц. „Это, продолжает он, анархическая эволюция, единственная, которую мы видим в свободной природе (стр. 133). То же самое бывает и с учреждениями, когда они — органический продукт жизни, и вот почему революции имеют такое громадное значение в жизни обществ, так как они позволяют людям предаваться этой органической, созидательной работе без помехи в данном деле со стороны власти, которая неизбежно является представительством прошедших веков“ (стр. 134). Изображая процесс возникновения этих, как их можно было бы назвать, самочинных муниципальных организаций, Кропоткин оговаривается, однако, что „это движение далеко не было общим“, и что в данном случае проявлялась воля если не всего народа на местах, то, по крайней мере, воля местных собраний избирателей. Тем не менее именно эта „коммуналистическая революция“ придала всему движению особую силу, особенно в 1792 и 1793 г.г. (стр. 132). В таком действительном выступлении народа автор и усматривает проявление удивительного организаторского инстинкта народа (стр. 236). „Отсюда видно, говорит он еще, что анархистские принципы, которые несколькими годами позже были выражены Годвином в Англии, ведут свое начало еще от 1789 г. и что происходят они не из теоретических

¹⁾ Историк фр. рев., т. II, стр. 87 и сл.

²⁾ Там же, т. II, стр. 182.

умозрений, а из *фактов* великой революции“ (стр. 239). Коммуны не только вмешиваются в общую политику, но и вступают в сношение с Парижем по самым различным вопросам. „Так возникает, — говорит еще Кропоткин, — стремление, сделавшееся позже столь резко выраженным, к установлению непосредственной связи между городами и деревнями Франции помимо национального парламента“ (стр. 240).

Через всю книгу красною нитью проходит противопоставление коммунизма, как движения благотворного, централизму, как направлению зловредному. „Душою великой революции, — читаем мы в одном месте, — были коммуны, и без этих очагов, рассеянных по всей территории, никогда революция не была бы в состоянии низвергнуть старый порядок, отразить германское нашествие и возродить Францию... Коммуна, возникающая в народных движениях, не отделяла себя от народа, .. оставалась сама народом, что и составляло революционную мощь этих организмов“ (стр. 236). „Правительственная централизация пришла позднее“ (стр. 234), и в ней-то наш историк видит все несчастье Франции. Такие „самочинные“ организации преимущественно и проводили в жизнь новые законы. „Учредительное и Законодательное Собрания издали массу законов, говорит по этому поводу Кропоткин, .. но большая часть их оставалась мертвою буквою. Известно, что две трети существенных законов, изданных между 1789 и 1793 г.г., даже и не начинали приводиться в исполнение. Дело в том, что недостаточно издать новый закон, а нужно еще почти всегда создать особый механизм для применения“. Бюрократического механизма, особенно в его современном виде, во Франции не было, и „каким бы образом, спрашивает автор, — законы представительных собраний могли войти в жизнь без того, чтобы *фактическая революция* не совершалась в каждом городе, в каждой деревушке, в каждой из тридцати шести тысяч коммун Франции?“ (стр. 280). Он прямо прибавляет, что „для того, чтобы из декретов собрания вышло жизненное дело, *нужен был беспорядок*“ (стр. 281).

Это коммунальное, движение не везде было, по словам самого же Кропоткина, одинаково сильным, как не везде народ был достаточно энергичен в осуществлении своих стремлений. Когда Национальный Конвент издал закон о возвращении сельским общинам земель, отобранных у них в силу

ордонакса 1669 г. о „триаже“¹⁾), не везде проявилось одинаковое практическое отношение крестьян к новому закону. „Коммуны, говорит автор, которые, не теряя драгоценного времени, поторопились возвратить себе свои прежние земли, на самом деле тут же, получили эти земли, и когда восторжествовала реакция и сеньёры опять вошли в силу, они не могли ничего сделать, чтобы взять обратно то, что закон у них отнял и что стало предметом *реального* обладания крестьян. Что же касается общин, которые не сделали того же, они ничего не получили (стр. 544)... В конце концов, повторяет он, можно сказать, что общины, которые *фактически* вошли в реальное обладание землями, отобранными у них с 1669 г., *остались* большею частью в обладании этих земель, а те, которые этого не совершили до июня 1796 г., не приобрели ничего. В революции только совершившийся факт имеет действительную силу“ (стр. 545).

Так понимает Кропоткин метод народного действия в 1789—1793 г.г., — метод, который он называет анархистским. Главными целями того, что им признаётся за народный элемент во французской революции, он считает, прежде всего, отмену феодальных прав и возвращение общинных земель, которыми завладели сеньёры. В восстании крестьян для достижения этих двух целей он видит (и подчеркивает это) „самую *сущность*, всю основу французской революции“ (стр. 124), — в крестьянском восстании, к которому, так сказать, пристроилась борьба буржуазии за свои политические права, и без которого сама революция была бы бессильна что-либо сделать (ср. стр. 60). Всю французскую революцию Кропоткин, сравнивая ее с английской, считает „преимущественно крестьянским восстанием“, борьбою за землю с прибавкою, что если крестьяне и стремились к индивидуальному обладанию землею, то, с другой стороны, в движении проявился и коммунистический элемент в провозглашенном в 1793 г. праве всей нации на землю (стр. 126—127). Между тем во французской революции участвовало ведь и городское население, и, пожалуй, у большинства историков оно-то преимущественно и главенствует на исторической сцене. Что же было для городских рабочих такую же конкретною и столь же ясно

¹⁾ Раздел общинных земель с помещиком.

сознаваемой целью, какою для крестьян был вопрос о феодальных правах и о бывших общинных землях?

По этому вопросу у Кропоткина нет такой же простой и определенной формулировки. В революции 1848 г. общающим требованием городского пролетариата во Франции было знаменитое „право на труд“, но в 1789—93 г.г. такого общего лозунга не существовало. Быть может, когда Кропоткин писал в начале книги, что во взглядах народа на то, чего можно ожидать от революции, не было никакой ясности (стр. 18) и что в этих взглядах господствовало одно отрицание, он имел в виду именно рабочий класс в городах, а не крестьян, знавших очень хорошо, чего они хотели. Тем не менее, когда у Кропоткина заходит речь о борьбе между жирондистами и монтаньярами в 1793 г., рядом с различным отношением их к вопросам о феодальных правах и бывших общинных землях он ставит, как третий великий вопрос — о максимуме цен на предметы первой необходимости; он так и говорит: „три великих вопроса ставились перед Францией“ (стр. 463). Дело в том, однако, что аграрно-крестьянская сторона революции гораздо лучше изучена, чем индустриально-рабочая. Каковы бы, при том, ни были цели, которые ставило себе народное движение социального характера в деревнях и в городах, оно встретило противодействие со стороны средних классов, частные причины и отдельные проявления которого тоже рассматриваются автором в его книге. При этом он только повторяет то, что говорилось раньше другими демократическими или социалистическими историками революции.

Вся книга Кропоткина — нечто вроде обвинительного акта против буржуазии. Инициатива революционного духа шла от буржуазии, в особенности от мелкой буржуазии, но до 1789 г. она была очень труслива (стр. 39) и осмелела лишь после того, как восстал народ, ею же самую приведенный в движение. Однако, народу она не доверяла, боялась его и, желая одна господствовать, а также дрожа за свою собственность, противодействовала народным движениям, обнаруживала готовность идти на сделки с представителями старого порядка, интриговала, организовывалась и вооружалась для борьбы с народом, предпочитала даже иностранное нашествие власти демократии и сама его вызывала, стремясь исключительно к материальным выгодам от распродажи, наприм., националь-

ных имуществ и т. п. Все свое отрицательное отношение к поведению французской буржуазии в эпоху великой революции Кропоткин сосредоточил на партии жирондистов.

Он, конечно, не мог стать на такую точку зрения, как Бюшез и Луи Блан, по отношению к якобинцам, бывшим государственниками, централистами, гуверменталистами, но и в жирондистах он не видит ни индивидуализма, лежащего в основе самого анархизма, ни федерализма, которым централисты-якобинцы, фанатические приверженцы „республики единой и нераздельной“, попрекали своих политических противников ¹⁾. Он даже не останавливается на различном понимании жирондистами и якобинцами прав личности и пределов власти государства, а в приписываемом если не всем жирондистам, то, по крайней мере, их части федерализме видит не то, что усматривали в нем их враги, в смысле угрозы целостности и безопасности единой и нераздельной республики. Историк, говорит он, приписывают слишком много значения так называемому *федерализму* жирондистов. Этот федерализм кажется Кропоткину лишь полемическим аргументом со стороны враждебной партии, на деле же весь этот федерализм „заключался преимущественно в ненависти к Парижу и в желании противопоставить реакционную провинцию революционной столице“ (стр. 469). В сущности, и сами-то жирондисты являются в его глазах такими же, если только не бóльшими еще, централизаторами и сторонниками сильной власти. Интересно, что автор, являющийся сторонником местной автономии, отрицает у жирондистов какое бы то ни было к ней стремление и даже якобинцев-монтаньяров считает меньшими централистами, так как эти противники жирондистов, отправляясь комиссарами в провинции, „опирались-де не на департаментские и окружные советы, а на народные общества“, т.-е. не на легальные административные учреждения, а на филиальные отделения якобинского клуба,— аргумент, могущий иметь противоположное значение. Итак, по Кропоткину, в отношении централистической государственности между жирондистами и якобинцами не было существенного различия, и все-таки, тем не менее, преклонение перед государственностью он подчеркивает, как характерную особен-

¹⁾ Боровой думает не так, см. выше стр. 239.

ность именно якобинцев. Их клуб, говорит автор в одном месте, состоял из буржуа-государственников (стр. 300). Кроме „этатизма“, он подчеркивает буржуазность якобинцев, клуб которых он называет в одном месте прямо „сборным пунктом зажиточной буржуазии“ (стр. 365). Не один раз он выражает свое несогласие с историками (и в частности с республиканскими историками), считающими якобинцев вождями революции (см. стр. 331, 405 — 407).

Нередко Кропоткин даже не только стирает разницу между жирондистами и якобинцами, как врагами настоящей народной революции, но ставит и тех, и других рядом в общем отрицательном их отношении к народной революции и в противодействии ей (стр. 334, 613). Весь взгляд Кропоткина на Робеспьера отличается от диаметрально противоположных точек зрения Луи Блана и Тэна, одинаково выдвигавших Робеспьера вперед, как вождя народа. „В усилиях передовых партий, говорит он, Робеспьер видел только их нападки на правительство, часть которого он составлял... Попытки коммунистов были для него только „дезорганизацией“: против них нужно было „остерегаться“ и их подавить — террором... Это был человек правительства, говоривший языком всех правительств, но это говорил не революционер“ (стр. 711; см. еще о Робеспьере стр. 312 и сл., 706 и сл.).

Кропоткин вполне следует Олару, когда говорит о том, с каким трудом и с какою постепенностью руководящие деятели революции становились республиканцами (стр. 286), и в этом отношении якобинцев он не отделяет от жирондистов, делая в данном случае исключение, да и то не всегда, для кордельеров, легко „принявших республику“ (стр. 287, 299 и 306), ибо в народе республика связывалась с равенством, а равенство — с равенством состояний и с аграрным законом. Но все-таки боязнь республики, по Кропоткину, проявлялась именно среди жирондистов (стр. 438, 466, 483, 484 и др.).

„Если бы революция, спрашивает Кропоткин, завершилась торжеством бриссотинцев (Бриссо у автора такое же олицетворение жирондизма, каким Робеспьер является по отношению к якобинизму),... где бы мы теперь были?“ (стр. 459). Став в оппозицию естественному развитию революции, жирондисты скоро очутились с фэйльянами и роялистами в рядах контр-революционеров, и, как таковые, они должны были пасть

(стр. 475). В этом для нашего историка заключается общее оправдание падения жирондистов. Он особенно часто повторяет, что, вообще, у монтаньяров не было определенных экономических воззрений, и что в этом отношении Робеспьер мало чем отличался от жирондистов. „Главная масса монтаньяров, — читаем мы, например, — кроме редких исключений, не имела ни малейшего понятия о нуждах народа, которое было бы необходимо для образования партии народной революции. Человек из народа со своими бедами, со своею часто голодною семьею и со своими еще неясными и колеблющимися порывами к равенству, был им чужд. Скорее, это был отвлеченный индивидуум, единица демократического общества, что их интересовало“ (стр. 618). После победы над жирондистами якобинцы, перешедшие было на сторону народа, стали только работать над образованием твердой власти — против народных же движений, между прочим (стр. 654 и след.). „Пока, говорит еще Кропоткин, у монтаньяров была на руках борьба с жирондистами, они искали поддержки у народных революционеров, ... но, достигши власти, они думали только об основании *средней* партии, которая стояла бы между крайними и контр-революционерами, и смотрели, как на своих врагов, на тех, которые представляли эгалитарные стремления народа. Они их раздавили, сокрушив все их организационные попытки в секциях и в парижской Коммуне“ (стр. 618). В этой революционной буржуазии, взявшей верх над жирондистами, все свелось на общую борьбу за власть. „Было бы, замечает автор, скучно рассказывать здесь интриги различных партий, оспаривавших друг у друга власть в декабре 1793 г. и в первые месяцы 1794 г.“ (стр. 688). В конце концов, революция отождествилась для большей их части с террором (стр. 692). Реорганизация революционного суда в июне 1794 г. была прямым банкротством революционного правительства, и это только дало созреть через шесть недель контр-революции. Издать такой закон значило „делать с внешним видом легальности то, что в сентябрьские дни 1792 г. парижский народ сделал революционно, откровенно, в момент паники и отчаяния“ (стр. 716). „Государственные люди не понимали одного: террор перестал терроризировать“ (стр. 720). Это было смертью революции, ибо парижский народ чувствовал теперь, что люди, стремившиеся его снова поднять, как

прежде, „не представляли собою ни одного принципа народной революции“ (стр. 728). Наступил праздник буржуазии, такой же, как в июне 1848 и в мае 1871 г. (стр. 731).

Переходим к тому, как в книге изображается деятельность тех, кого уже современники французской революции называли „анархистами“. Сам Кропоткин говорит о своей связи с ними, как одного из их потомков (стр. 6), причем слово „анархисты“ он обыкновенно заключает в кавычки. Это—та категория деятелей революции, которая противопоставляется всем остальным группам, как наиболее соответствующая понятию революции „народной“ (populaire), а не буржуазной в классификации Кропоткина. Сведения и замечания об „анархистах“ разбросаны по всей книге, но особенно много говорится о них в первый раз только в главе сорок первой, так и названной „Анархисты“. Они, следовательно, появляются на сцене не сразу. Кроме того, к концу книги, после главы пятьдесят седьмой, посвященной „истощению революционного духа“, помещены три главы о „коммунистическом движении“, тоже имеющие ближайшее отношение к предмету.

„Анархисты, говорит, между прочим, Кропоткин, — не составляли партии. В Конвенте есть Гора, Жиронда, Равнина, или скорее Болото, Брюхо, как тогда выражались, но нет „анархистов“. Дантон, Марат и даже Робеспьер или кто-либо еще из якобинцев могут иногда идти с анархистами, но последние вообще были вне Конвента. Они, можно сказать, были над ним: они ему повелевают. Это — революционеры, рассеянные по всей Франции. Они преданы революции телом и душой; они понимают ее необходимость; они любят ее и ради нее работают. Большое их число группируется около парижской Коммуны, потому что она еще революционна; некоторая часть принадлежит клубу кордельеров; кое-кто ходит в якобинский клуб. Но их настоящая сцена это — *секции* и особенно улица. В Конвенте их видят в трибунах, откуда они направляют прения. Их средство действия — мнение *народа*, а не „общественное мнение“ буржуазии, настоящее же их оружие — восстание. При его помощи они оказывают влияние на депутатов и на исполнительную власть. И когда нужно напрячь все силы, воспламенить народ и *вместе с ним* идти на Тюильери, это они готовят нападение и дерутся

в рядах нападающих. В тот день, когда истончится революционный пыл народа, они возвратятся в неизвестность, и останутся только желчные памфлеты их противников, чтобы свидетельствовать нам о громадной революционной работе, ими совершенной. Что касается их идей, они ясны, резки... Они хотят земли для всех, того, что тогда называли „аграрным законом“, экономического равенства, или, выражаясь тогдашним термином, „уравнения состояний“. „Вот кто были эти „анархисты“, против которых и вооружаются и жирондисты и якобинцы. В других случаях те же самые анархисты обозначались у врагов народной революции термином „бешеные“ (les enragés). Эта категория, состоящая из разнородных элементов, объединялась мыслью, что революция еще не кончилась, и сообразно с этим действовала в жизни.

Находя анархистов 1793 г. не в Конвенте, не среди народных представителей, составивших партию Горы, не в якобинском клубе, а в Коммуне, в секциях столицы и провинций и в клубе кордельеров, автор переносит все свое сочувствие на Коммуну, на „дистрикты“ и секции, делавшие народную революцию и тем вооружавшие против себя не только контр-революционную буржуазию, но и буржуазных революционеров, к каковым он относит и эбертистов с их воззрениями, делавшими их неспособными, по его определению, к экономической революции (стр. 687 и 688). Методом „анархистов“ были не захватывание власти и не террор, они даже были против централизации власти, — главное же для них было в непосредственном действии народа на местах в целях непосредственного же осуществления социального переустройства Франции. В коммунах и секциях и стали фактически господствовать „анархистские принципы“, и уже в самом начале революции, говорит Кропоткии, „парижские дистрикты полагали основание новой, либертарной организации общества“. Они же „спаяли союз Парижа и провинций и подготовили почву для революционной Коммуны 10 августа“ (стр. 242). Что особенно отличает эту Коммуну и ее секции, это — глубокое недоверие к какой бы то ни было исполнительной власти. Французский народ, по словам автора, повидимому, понял в самом начале революции, что громадное

¹⁾ См. главы 26, 27 и 40.

преобразование, которое ему предстояло, не могло быть совершенно ни конституционной, ни центральной силой: оно должно было быть делом местных сил, и, чтоб действовать, они должны пользоваться большою свободою" (стр. 248). В другом месте он замечает, что назвать эту „коммунальную независимость“ автономией было бы, пожалуй, слишком мало (стр. 245). Между тем с этим-то стремлением и боролись представительные собрания и революционеры-государственники, при чем и парижские секции, и провинциальные коммуны долгое время фактически отстаивали свою самостоятельность, как учреждений, в которых „народ управлял сам собою непосредственно, т.-е. без посредников, без господ“ (стр. 246). С общим ходом революции шло параллельно развитие социальных идей, и оно совершалось именно в секциях; по несомненно преувеличенному мнению Кропоткина, даже „право на труд, которого народ требовал в 1848 г. в больших городах, было только реминисценцией того, что уже существовало фактически в Париже во время великой революции“; но, прибавляет он к приведенным словам, это право проводилось „снизу, а не сверху, как того хотели Луи Бланш, Видали и другие сторонники власти (autoritaires), заседавшие в Люксембурге“ (стр. 251). В секциях и в коммунах политическое и социальное развитие революции шли рука об руку.

Собственно в истории „коммунистического движения“ во время французской революции Кропоткин начинает издавна указывать, что еще в философия XVIII в. были высказаны идеи, которые теперь могли бы быть названы социалистическими. Главные глашатаи коммунизма были в некоторых секциях и в клубе кордельеров, а кроме того, была даже попытка свободной организации всех, как их называли, „engagés“, замечательная тем, по мнению Кропоткина, что в ней уже был „зародыш идеи, которая позже была положена в основу мутуализма и народного банка Прудона“ (стр. 627). „Мы, признается он, не знаем еще всех этих смутных движений, обнаруживавшихся в Париже и в больших городах в 1793-1794 г.г.“, так как „только теперь их начинают изучать“ (стр. 628). Эта история, прибавляет он, дело будущего, пока же можно лишь наметить кое-какие существенные черты этого периода. Здесь еще широкое поле для догадок, одну

из которых и высказывает Кропоткин: не основывались ли после 10 августа 1792 г. тайные коммунистические общества, которые позднее были расширены Буонарроти и Бабёфом, а после июльской революции дали начало секретным обществам бланкистов? (стр. 628).

„Очевидно, — читаем мы в главе 58, — что коммунизм 1793 г. вовсе не представляет такой полной доктрины, какую мы находим у французских подражателей Фурье и Сен-Симона и в особенности у Консидерана и даже у Видаля. В 1793 г. коммунистические идеи не вырабатывались в тиши кабинетов; они возникли из потребностей момента. Вот почему во время французской революции социальная проблема ставилась преимущественно в виде *проблемы продовольствия и проблемы земли*. Но, утверждает Кропоткин, в этом заключается и превосходство коммунизма великой революции над социализмом 1848 г. и его потомками“. Он полагает, что уже тогда на практике зарождались *три главные вида коммунизма*: коммунизм *земельный*, коммунизм *промышленный* и коммунизм *в торговле и кредите*¹⁾. Если агитаторы 1793 г. выдвигают вперед предпочтительно тот или другой из этих видов коммунизма, то виды эти один другим отнюдь не исключаются. Наоборот, получив свое начало в одном и том же понимании равенства, они другими дополняются. В то же время коммунисты 1793 г. пытаются достигнуть осуществления своих идей непосредственным (*sur place*) действием *местных сил*, хотя и стремясь положить начало прямому единению сорока тысяч коммун.

Мысль об осуществлении коммунизма путем заговора, т.-е. при помощи тайного общества, которое захватило бы власть, — мысль, апостолом которой сделал себя Бабёф, облеклась в плоть только позднее, в 1795 г., когда термидорианская реакция положила конец восходящему развитию великой революции (стр. 628—630). Это — продукт истощения, никак не следствие здоровой силы между 1789—1793 г.г. Кропоткин называет и несколько таких действовавших

¹⁾ Фактических оснований у Кропоткина для такого утверждения не было, если не видеть с ним торгового коммунизма в законе о максимуме и не отождествлять промышленный коммунизм с ролью двух-трех парижских секций-подрядчиц в изготовлении сапог, палаток и т. п. для армии, о чем см. в моих „Парижских секциях.“

в народе коммунистов, каковы Жак Ру¹⁾, Шалье, Леклерк, Варле, Роза Лакомб, и таких теоретиков коммунизма, каковы Буассель, Пьер Доливье, Анж (или Л'Анж²⁾) и Бабёф, и сообщает о каждом из них кое-какие сведения, но кое о ком из них (особенно о Варле) мы вообще знаем мало. Что касается, в частности, Бабёфа, наиболее из них прославившегося, то Кропоткин находит, что, хотя коммунизм впоследствии и связали с заговором Бабёфа, в сущности, сам он был только „оппортунистом“ коммунизма 1793 г. Бабёф хотел на самом деле *сначала демократии*, чтобы потом ввести в нее понемногу коммунизм. Вообще его представление о коммунизме было до такой степени узко, искусственно, что он думал достигнуть цели действием нескольких лиц, которые захватили бы власть при помощи простого тайного общества. Он зашел в этом направлении так далеко, что „всю свою надежду возлагал на одного человека, лишь бы у него была твердая решимость *вести коммунизм и спасти мир*“. Кропоткин называет это „пагубной иллюзией, которую продолжали питать иные социалисты в течение всего XIX в. и которая дала в результате цезаризм, — веру в Наполеона или Дизраэли, веру в спасителя, не прекращающуюся до сих пор“ (стр. 632 и 633).

За общою характеристикою коммунистического движения в эпоху французской революции, составляющею содержание целой главы, в конце помещена еще одна глава об „идеях, касающихся социализации земли, промышленных предприятий, продовольственных средств и торговли“. Можно только пожалеть о краткости этой главы — всего в восемь неполных страниц (634—642). Автор дает здесь слишком мало фактического материала в подтверждение своих слов о большой популярности, в 1793 г., мысли сделать коммуну производительницей (стр. 637). В одном месте он выразил сожаление, что у „анархистов“ 1793 г. не нашлось своего Робеспьера. В другой раз он высказывает сожаление, что Марат не сделался коммунистом, „не схватил того, что было верного в идеях Жака Ру, Варле, Шалье, Л'Анжа и др.“, и „не оказал поддержки коммунистам всю свою энергию и всем

¹⁾ Жак Ру, собственно не был коммунистом. Историк фр. рев. II, 265 (прим.) и выше стр. 165.

²⁾ Может быть, это был немец Ланге.

своим громадным влиянием“ (стр. 581). Между тем у Кропоткина человеком, наиболее безошибочно оценившим общее положение дел и верно предсказывавшим, что из него должно было выйти, был Марат. В целом ряде отдельных мест он называет его представителем чисто народной революции и самым верным другом народа и истинным патриотом (стр. 304, 339, 505, 579 и др.), вместе с тем постоянно понимавшим лучше, чем кто то бы ни было, что было самым важным в тот или другой из переживавшихся моментов (см. стр. 309, 376, 415, 429, 505, 580 и др.). „Чем более, говорит он, мы в настоящее время изучаем революцию, чем более узнаём, что делал и что говорил Марат, тем более обнаруживается, до какой степени им не заслужена репутация зловещего истребителя, которую создали ему историки, поклонники буржуазных жирондистов“ (стр. 505). В глубине своей души Марат „несколько не был кровожаден“, хотя в минуты крайнего возбуждения и писал, что нужно послать на плаху целые десятки тысяч аристократов для того, чтобы революция шла вперед (стр. 579). Только в отношении к коммунизму Кропоткин усматривает изъяс в этом, на его взгляд, повидимому, самом выдающемся деятеле революции, но вообще эта реабилитация Марата составляет наиболее слабую сторону всей книги.

По общему представлению Кропоткина, из двух течений революции, вступивших между собою, в конце концов, в борьбу, народно-социальное было побеждено буржуазно-политическим, которое, лишившись сочувствия и поддержки со стороны народа, само было побеждено течением контр-революционным. Народная революция затронула собственность, на защиту которой стали буржуазные революционеры. „Революция, останавливающаяся на полдороге, по словам автора, идет необходимо к своей гибели. И, продолжает он, положение во Франции в конце 1793 г. было таково, что революция, будучи остановлена в момент искания новой жизни на путях великих социальных перемен, разрушила себя теперь внутренними распрями и усилием, одинаково губительным и неполитическим, истребить своих врагов, хотя и становясь на страже их собственности“ (стр. 686). Конечно, последнее нужно понимать в смысле охраны собственности вообще, или самого принципа собственности, ибо на деле для многих

священными были права собственности только „патриотов“, собственность же врагов революции должна была конфисковаться в пользу республики (стр. 700). Несмотря на такой общий исход народной революции и на реакцию, приведшую Францию к наполеоновскому игу, события конца XVIII в. глубоко изменили Францию, каковой мысли Крпоткин посвящает небольшое „заключение“ (стр. 734—746). В 1799 г. страна производила уже гораздо больше с'естных припасов, нежели в 1789 г., ибо в эти годы началась усиленная обработка земель, возвращенных себе крестьянами от сеньёров, от монастырей, от церквей. Города, пожалуй, материально еще бедствовали, но, говорит Крпоткин, „крестьянин *на-едался досыта*, в первый раз в течение веков. Он выпрямлял свою сгорбленную спину! Он дерзнул заговорить! Возникла новая нация, и, благодаря этому второму рождению (*nouvelle naissance*), Франция оказалась способною выдержать войны республики и Наполеона, а когда после всех войн ожидают найти в 1815 г. Францию обедневшею, низведенною до страшной нищеты, опустошенною, все деревни оказываются более процветающими, нежели в начале революции“ (стр. 736—737). Это один результат революции, другой — принципы, которые она завещала последующим временам, в частности освобождение крестьян и отмену абсолютной власти, две главные задачи, которые решал XIX век, а кроме этого, еще коммунистические принципы, возродившиеся в социализме.

Непосредственными, реальными следствиями революции Крпоткин считает, таким образом, те, которые имеют отношение к сельскому быту, к крестьянству, к земле. Мы уже видели, что в частности за революцией он признаёт значение, поскольку она уничтожила феодальные права и отчасти возвратила сельским общинам земли, которые у них были отобраны. К этому нужно еще прибавить распродажу национальных имуществ. Этим трем темам посвящен в книге целый ряд глав.

В истории отмены феодальных прав Крпоткин особенно подчеркивал роль самого народа в этом деле, с одной стороны, и крайнее нерасположение первых представительных собраний к радикальному решению вопроса — с другой, но подробного изложения хода работ в этом вопросе у него

нет. Во всяком случае, теперь это — предмет, достаточно выясненный. По вопросу о распродаже национальных имуществ в связи с историей крестьянской собственности во Франции существует очень большая литература, весьма мало остановившая на себе внимание автора, хотя он и прав. Впрочем, он прав тогда, когда отмечает, что вопрос о результатах продажи национальных имуществ остается до сих пор спорным. По общему убеждению Кропоткина, собственность подверглась дроблению, и „там, где революция увлекла массы, большое количество земли перешло в руки крестьян“ (стр. 557). Тема эта, однако, скорее только намечена, нежели сколько-нибудь разработана: ей посвящены лишь две главы (сорок восьмая и сорок девятая), одна в 10, другая в неполные 7 страниц. В 1789 — 1792 г.г., во время своих восстаний, „крестьяне, говорит Кропоткин, возвращали эти земли, несмотря на страшные репрессии очень часто следовавшие за этими актами экспроприации“ (стр. 529). Дальнейший вопрос заключался в том, чтобы „генерализировать и легализировать“ эти захваты, против чего были одинаково все три представительные собрания революции (хотя Конвент только до победы над ним народа 31 мая 1793 г.). Кропоткин рассказывает вкратце и о том, как активные граждане одни старались овладеть общинными землями и как относилось к этому законодательство (а относилось оно сначала благоприятно к стремлению мелких земельных собственников устранять безземельных). „11 июня 1793 г., говорит он дальше, Конвент принял великий закон об общинных землях, составивший целую эпоху в сельской жизни Франции и представляющий собою один из наиболее богатых последствиями фактов французского законодательства“ (стр. 539). Это — закон о возвращении общинам отобранных у них с 1669 г. земель, но с факультативным их разделом между всеми жителями, а не между одними только активными гражданами, в случае требования одною третью голосов. Сколько земель в силу этого закона перешло в крестьянские руки и сколько было разделено, сколько осталось в нераздельном пользовании, об этом книга молчит.

В заключение укажу на то, как Кропоткин строит общий ход французской революции. Переселением короля и Национального Собрания в Париж в его книге оканчивается

первый период революции, который он называет „героическим“ (стр. 226), но с октября 1789 г. и по июнь 1792 г. тянется период глухой „борьбы комplotов и контр-комplotов“, очень бедный крупными, по своему значению, историческими событиями (стр. 229), и лишь в июне 1792 г. революция снова забирает силу. Мало того, с лета 1790 г. по лето 1792 г., т.-е. в течение двух лет в истории революции Кропоткин видит один лишь застой, одну остановку движения (стр. 277), когда можно было спрашивать, возьмет ли верх революция или контр-революция, и стрелка весов не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. „В 1790, 1791 и 1792 г.г., старый порядок существовал еще почти весь, готовый быть восстановленным целиком — кроме кое-каких легких изменений, — совершенно так же, как вторая империя готова была каждую минуту возродиться во времена Тьера и Мак-Магона“ (стр. 270). Эту реакцию, продолжавшуюся два года и даже больше, Кропоткин приписывает не одним дворянам и духовным, соединившимся под знаменем королевской власти, но и буржуазии вместе с интеллигенцией (les „intellectuels“), начавшим действовать против народа. И эта реакция, говорит он еще, имела бы полный успех, „если бы крестьяне не продолжали своих волнений в деревнях, и если бы в городах народ, в виду вражеского нашествия на Францию, снова не поднялся летом 1792 г.“ (стр. 285). Вся революция в 1790 — 1792 г.г. висела на волоске, — и Кропоткин даже упрекает историков революции за то, что они „слишком быстро скользят“ по событиям, сюда относящимся (стр. 321), тем более, что в контр-революционных движениях известную роль играли и иностранные деньги (стр. 362). Конец периоду зстоя положил июнь 1792 г., но собственно для Кропоткина наиболее важный период в революции, начинается с падения жирондистов 31 мая 1793 г. Последнее он считает событием не менее важным, нежели 14 июля и 5 октября 1789 г., 21 июня 1791 г. и 10 августа 1792 г., но и, может быть, наиболее трагическим из всех, ибо это было последнее усилие парижского народа придать революции чисто народный характер. „Восходящая фаза“ революции продолжается у Кропоткина до августа или сентября 1793 г., после чего начинается у него „фаза нисходящая“ (стр. 720), при чем внешние успехи Франции не мало, по

его убеждению, содействовали падению системы террора (стр. 723).

Из этого обзора русской исторической литературы по эпохе французской революции читатель может видеть, что и по количеству научных трудов, посвященных предмету, и по самостоятельному характеру разработки избранных тем, наша историография французской революции не уступает ни немецкой, ни английской, хотя во времени они много опередили нашу. Русские работы о великом перевороте конца XVIII века относятся только к последнему полувековию, в особенности же оживилась деятельность русских исследователей в начале XX века. Они сравнительно мало занимались событиями и деятелями революции, но за то очень много делали для истории экономического быта, социальных отношений и политических учреждений, равно как общественных идей, выдвинувшись здесь на первое место по признанию самих французских историков. Одною из важных особенностей русских работ по истории революции является то, что многие из них основываются на архивных источниках, и это также нередко подчеркивалось французскими критиками.

Можно смело сказать, что ни немцы, ни англичане столько не рылись во французских архивах, сколько это делали русские, хотя бы немцы и англичане и превосходили их в пользовании архивным материалом для внешней истории ¹⁾.

Рассмотренными или даже просто упомянутыми книгами и статьями русских ученых, писавших о французской революции, не исчерпывается вся наша историческая о ней литература. В виде библиографического дополнения даем здесь список ряда работ, из которых лишь некоторые имеют значение самостоятельных исследований, более или менее специального содержания, но большею частью это — простые популяризации ²⁾.

Арсеньев, К. К. Новый историк современной Франции. Ипполит Тэн (Вестн. Евр., 1893, IV).

¹⁾ Из русских историков дипломатической стороной эпохи интересовался А. С. Трачевский, который на основании архивных документов издал книгу „La France et l'Allemagne sous Louis XVI“ (1881). Первоначально она печаталась в „Revue Historique“ за 1880 и 1881 гг., в отдельном же издании вышла с приложением документов.

²⁾ Имена авторов этих работ, приведенные в алфавитном порядке, во избежание их повторения, в указателе историков революции не приводятся.

Афанасьев, Г. Е. Мирабо (публичная лекция, перепечатанная в „Собр. Соч.“). См. стр. 168.

Ахшарумов, К. Д. История Бастилии (1893).

Беркова, К. Н. Процесс Людовика XVI (1920).

Богданович, Т. А. Франция и Европа на грани XIX века (1909 г.; в коллекции „Ист. Европы по эпохам и странам“). Изложение в одной книге II—VIII томов труда Сореля. См. т. II, стр. 116.

Богучарский (Яковлев), В. Я. Маркиз Лафайет, деятель трех революций (1899). Популярная книжка, составленная главным образом по труду Барду.

Буковецкая, М. А. Развал королевской армии в первые годы великой французской революции (Анналы, т. IV, 1924).

Бутенко, В. А. Либеральная партия во Франции (1913). В первой главе говорится о либеральном направлении в эпоху революции.

Вайнштейн, С. Госпожа Сталь (1902).

Водовозов, Н. В. Культ Разума и Верховного Существа (Истор. Обзор., VII. 1893). Толковый пересказ известного труда Олара об этом предмете.

Гессен, С. Политические идеи жирондистов (Рус. Мысль, 1910, IX).

Глаголева-Данили, С. М. Крестьянство и аграрный вопрос в эпоху французской революции (Анналы, I. 1922). — Научное изучение французской революции (там же, II. 1923). См. стр. 181.

Гливенко, И. Н. Витторно Альфьери (1911). Главы XIV—XV об отношении его к французской революции.

Градовский, А. Л. Между Робеспьером и Бонапартом (Собр. Соч., т. III).

Гримм, Э. Д. Мирабо (1908, популярный очерк) и Политические воззрения Тэна.

Дживелегов, А. К. Армия французской революции и ее вожди (1921) и Французская революция в провинции и на фронте (1923).

Дубнов, С. М. Эмансипация евреев во время великой французской революции (1906). Основательный этюд хорошего знатока вообще истории евреев. О том же предмете см. в отд. I, гл. 1 его „Новейшей истории еврейского народа“ (1914).

Захер, Л. М. Парижские секции 1790—1795 г.г., их политическая роль и организация (1921).—Жак Ру (1922).—Сен-Жюст (1923). См. стр. 167.

Иванов, Н. И. Политическая роль французского театра в связи с философией XVIII века (1895).—И. Тэн (Рус. Богатство, 1901).

Идельсон, Н. Революционный трибунал во Франции (1914). Небольшой, но самостоятельный и серьезный этюд.

Книга для чтения по новой истории. Том III (1912) ¹⁾.

Клячин, В. П. Значение дореволюционного периода в истории Франции XVIII века (Киев. „Универс. Известия“ 1893).

Лукин, Н. М. Максимилиан Робеспьер (1920).—Из истории революционных армий (где из трех глав одна относится к франц. революции).

Любимов, Н. А. Первые дни французской революции 1789 года по неизданным запискам очевидца.

Мижусев, П. Г. Декларация прав (1906).

Мирович. (Иванова, З. С.). Страница из истории Великой французской революции. Г-жа Ролан (1905).—Сен-Жюст (Истор. Обзор., т. VII. 1893).

Михайлов-Шеллер. Пролетариат во Франции с 1789 до 1852 г.: (1869).

Михайловский, Н. К. Философия истории Лун Блана (Соч., т. III, изд. 1897 г.).

Овсянников, А. Великая французская революция в песнях современников (1920).—Последние дни Людовика XVI по песням великой революции (1921). Первая из этих работ—значительно дополненное второе издание статьи автора „Песни великой революции“ (Северн. Зап., 1913).

Пименова, Э. К. Эро де-Сешель, творец французской конституции 1793 г. (1923).

¹⁾ Предназначенное для средней школы, это учебное пособие оказалось более полезным для студентов высшей школы и для преподавателей. В указываемом томе есть ряд статей частью популярных, частью повышенного типа, по истории французской революции. Среди имен авторов отдельных статей мы находим некоторые, принадлежащие ученым, труды которых рассмотрены выше (А. А. Боровой, И. В. Лучицкий, Е. В. Тарле, М. Н. Рознов, Н. И. Кареев). Один из них (Лучицкий) поместил здесь целое исследование (см. выше, стр. 174). Кроме того, отмечу несколько статей о французской революции в I томе юбилейного издания „1812—1912. Отечественная война и русское общество“.

Попов-Ленский, Н. Л. Антуан Барнав и материалистическое понимание истории (1924). См. стр. 167.

Попов, М., свящ. Французская революция и религия (1919). Большой том, написанный исключительно по пособиям, имеющимся в русском переводе.

Процесс жирондистов (1920). Анонимная (и плохая) брошюра.

Радциг, Н. П. Декларация прав 1789 года и ее источники (Журн. Мин. Нар. Просв. 1914, XI). Серьезный самостоятельный этюд.

Смирнов, А. М. Кризис денежной системы французской революции (1921). Хороший свод главных данных, написанный по пособиям.

Степанов, И. Марат и его борьба с контр-революцией (1920).

Тарле, Е. В. (Под редакцией). Революционный трибунал в эпоху великой французской революции (1917).

Трачевский, А. С. Россия и Франция в конце прошедшего века (Вестн. Евр., 1885).

Фалькнер, С. А. Бумажные деньги французской революции (1919). Серьезный научный труд по источникам, предпринятый для получения ученой степени.

Холостова, Л. В. Прения о „veto“ короля в Учредительном Собрании (Журн. Мин. Нар. Просв., 1917, XI—XII).

Шмелев, П. Н. Роль французского театра XVIII столетия в распространении новых идей (Издания Истор. Общ. при Моск. унив. 1898).

Щепкина, Е. Н. Женское движение в годы французской революции (1921).

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Книги, брошюры, главы, статьи и заметки автора настоящего труда, относящиеся к эпохе французской революции ¹⁾.

- *1. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в. 1879. Франц. пер. 1899 г.
2. Новый историк французского крестьянства. О книге Бабо „Le village sous l'ancien régime“ (Крит. Обзор., 1879).
3. Очерк истории французских крестьян до 1789 года. 1881. Последняя глава.
4. О книге Г. Е. Афанасьева „Главные моменты политической деятельности Тюрго“ (Юрид. Вестн., 1885).
5. Новейшие работы по истории французской революции. По поводу столетия революции (Истор. Обзор., том I, 1890).
6. Новая биография Мирабо. О книге А. Штерна „Mirabeau“ (Русск. Мысль, 1891).
7. История Западной Европы в новое время. 1893. Том III. Восемнадцатый век и французская революция. Главы 29 — 42.
8. История Западной Европы в новое время, Том IV. 1894. Главы 2 и 3.
9. La Révolution Française dans la science historique russe (La Rév. Franç., 1902).
10. Французская революция. Статья в полутоме 72 „Энцикл. Слов.“ Брокгауза-Ефрона, 1902. (С историографическим очерком и библиографическим указателем).
- *11. Работы русских ученых по истории французской революции (Изв. Сиб. Политехн. Инст. и отдельно, 1904).
- *12. Альберт Сорель, как историк французской революции (там же и отдельно, 1907).
13. Заметка о книге P. Boissonnade „Les études relatives à l'histoire économique de la révolution française“ (там же, 1907).
14. Тэн перед судом Олара (Рус. Богат., 1908).
15. Новая книга по истории французской революции. P. Kropotkine. „La Révolution“ (там же, 1910).
- *16. Происхождение современного народно-правового государства. 1908. Главы 8—11.
- *17. Отзыв о соч. П. Н. Ардашева „Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка“ (Отч. о XIII присуждении Ак. Наук премий митр. Макария и отдельно, 1910).
18. Несколько новейших книг по французской революции (Вестн. Евр., 1910).
- *19. Парижские секции времен французской революции (Ист. Обзор. и отдельно, 1911). С шестью раскрашенными планами Парижа в разные годы революции.

¹⁾ Перепечатывается, с дополнениями, из «Великой французской революции» (1918).
Мелкие газетные рецензии в список не вошли. Звездочкой отмечены книги и брошюры.

*20. Что сделано в исторической науке по вопросу о положении французских рабочих перед революцией 1789 г.? (Извест. Сиб. Политехн. Инст. и отдельно, 1911).

21. Русская книга по истории личной свободы во Франции. О книге А. А. Борового "История личной свободы во Франции" (Ист. Обзор., 1911).

22. Русская книга о французских рабочих в эпоху великой революции. О книге Е. В. Тарле "Рабочий класс во Франции в эпоху революции" (Рус. Богат., 1911).

23. Доктрина государственного права дореволюционной Франции. О книге Ф. В. Тарановского "Доктрина положительного государственного права во Франции при старом порядке". (Журн. Мин. Нар. Просв., 1911).

24. Из новейшей литературы по истории французской революции (Вестн. Евр., 1911).

25. Последние работы русских ученых о французской революции (там же, 1911).

26. Еще о новых русских работах по французской революции (там же, 1911).

*27. Эпоха французской революции в трудах русских ученых за последние десять лет: 1902—1911 (Истор. Обзор. и отдельно, 1912).

*28. Незданные документы по истории парижских секций (Зап. Ак. Наук и отдельно, 1912).

29. Политические выступления парижских секций во время великой революции (Рус. Бог., 1912).

30. Из новейшей литературы по истории французской революции (Вестн. Евр., 1912).

31. Книга И. В. Лучицкого о крестьянском землевладении во Франции перед революцией (там же, 1912).

32. Влияние французской революции на другие страны (в III т. "Книги для чтения по истории нового времени", 1912).

*33. La densité de la population des différentes sections de Paris pendant la révolution. 1912. С раскрашенным планом Парижа.

34. Les travaux russes sur l'époque de la révolution française depuis dix ans (Bul. de la société d'histoire moderne, 1912).

35. Un nouveau livre russe sur l'histoire des ouvriers français pendant la révolution (La Rév. Franç., 1912).

*36. Белые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции. Два выпуска. (Изв. Сиб. Полит. Инст. и отдельно. 1913 и 1915).

*37. Революционные комитеты парижских секций (там же и отдельно, 1913).

38. Deux opinions contraires sur l'histoire agraire de la France à l'époque de la révolution (La Rév. Franç., 1913).

*39. Незданные протоколы парижских секций 9 термидора II года (Зап. Ак. Наук и отдельно, 1914).

*40. Роль парижских секций в перевороте 9 термидора (Записки Ист.-Филол. Фак. Сиб. Унив. и отдельно, 1914).

*41. Было ли парижское восстание 13 вандемьера ронистическим? (Сборн. в честь проф. В. П. Бузескула и отдельно, 1914).

*42. Борьба парижских секций против декретов 5 и 13 фрюктидора (Журн. Мин. Нар. Просв. и отдельно, 1915).

43. Клише парижских секций времен революции (Рус. Библиофил. 1914).

44. Жорж-Жак Дантон (Вестн. Евр., 1915).

45. "Коммунистическая" петиция Жака Ру и секция Гравилье (Рус. Записки, 1916).

46. Реакция в парижских секциях после 1 прернала III года (Истор. Известия, 1916).

47. Психология якобинца в изображении рожависта-эпикурейца (Вестн. Евр. 1916). О романе Анатоля Франса "Боги жаждут".

48. М. М. Ковалевский, как историк французской революции (там же, 1917).

49. История французской революции в средней школе (Вопрос преподав. в ср. и низш. школе, вып. II, 1917).

50. Две революции (Нива, 1917).

*51. Великая французская революция, 1918. Четыре выпуска в приложении к журналу „Нива“. (С иллюстрациями) 1918.

*52. Отзыв о книге Е. В. Тарле „Рабочий класс во Франции в эпоху революции“ (Сборн. отчетов Акад. Наук о премиях и нагр. в 1913 г. 1918).

53. Патриотизм французской революции (Наш Век, 1918, № 22).

54. Французский революционный трибунал 1793—1795 годов (Вестник культуры и политики, 1918, № 3).

55. Что читать по великой французской революции? (Ежемесячный Журнал, 1918).

56. Коммунистические стремления великой французской революции (там же). Окончание статьи не появилось.

57—62. Ряд популярных, большею частью иллюстрированных статей в „Ниве“ за 1918 год.: а) Французская революция и Россия; б) Женщины и женский вопрос в эпоху французской революции; в) Париж времен революции; г) Главные военные деятели французской революции; е) Эмблемы, аллегории и карикатуры французской революции; ф) Бумажные деньги эпохи французской революции.

*63. Французская революция и Наполеоновская эпоха. 1922. (Библиограф. пособие в серии „Введение в науку“, Отд. истории, вып. 16).

*64. Французская революция в историческом романе. 1923¹⁾.

*65. Истории французской революции. 1924. Три тома.

Печатаются и готовятся к печати:

*66. Жорж-Жак Дантон (в серии „Образы человечества“).

*67. Французские крестьяне и рабочие в эпоху революции.

*68. Французская революция в философии истории.

Несколько слов об истории французской революции А. Матьеза.

Уже по окончании второго тома настоящего труда я узнал о выходе в свет нового общего труда по истории французской революции, написанного известным специалистом по данной эпохе Альбером Матьезом (A. Mathiez), профессором Безансонского университета и редактором „Annales Révolutionnaires“, о котором см. т. II, стр. 160, 170 и 291). Автор этого трехтомного труда уже давно известен, как самостоятельный исследователь, и после общих трудов Олара и Жореса, вышедших в свет более двадцати лет тому назад, это — первый большой труд такого же историографического значения, поскольку книга Маделена и оба тома о революции в издании Лависса (см. т. II, стр. 280—291) скорее только подводят итоги под добытым наукой для широкой публики, нежели пролагают новые пути.

¹⁾ В книге рассмотрены романы и повести Дюма, Жорж Санд, Бальзака, Диккенса, В. Гюго, Эркмана и Шатриана, Ф. Гра, Э. Додэ, А. Терье, А. Франса и драмы Р. Роллана.

УКАЗАТЕЛИ.

I. Авторы, писавшие о французской революции (и о XVIII веке).

В этом указателе жирным шрифтом отмечены страницы всех трех томов, на которых об отдельных авторах говорится более подробно. Хотя настоящий том посвящен ве-французским авторам, имена французских часто называются в тексте и повторяются в указателе, причем при сорока из них места, о них говорящие, и отмечены жирным шрифтом. В указателе всех английских историков названо тридцать, немецких тридцать шесть, русских сорок два (не считая трех десятков, приведенных на стр. 295—297), но нужно иметь в виду то, что было сказано на стр. 146—147 об особой мере, примененной в настоящем труде к русской исторической литературе. В этот перечень имен не вошли, кроме трех десятков русских авторов, перечисленных особо (стр. 294—297), литература о рассматриваемых историках на стр. 7 (о Шлоссере), 12 (о Л. Штейне), 54 (о Зибеле), 77 (о Гейссере), 122 (о Карлебле), 151 (о Герье), 169 (о Лучицком), 181 (о Ковалевском), 203 и 209 (об Арлашеве), 210 (об Ону), 222 (о Тарле), 240 (о Боровом), 267 (о Броноткине).

- Актон, см. „Кембриджская Новая история“.
- Алексеев 169, 202.
- Алсон 121, 122, 141.
- Альджер 146.
- Ардашев 160, 167, 203—209, 210, 298.
- Афанасьев 168, 295.
- Ахшарумов 235, 295.
- Бабо 298.
- Байард-Теккерман 146.
- Барнгаузен 202, 241.
- Барни 241.
- Бакса 140, 149.
- Веллок 146.
- Берк 56, 76, 142. — I, 45—51.
- Бирюкович 167.
- Бисле (Beeslay) 146.
- Блан, Луи 12, 14, 15, 52, 54, 56, 60, 61, 86, 88, 103, 101, 149, 270, 283, 296. — I, 232—278.
- Блос 80, 84—88, 149.
- Бокль 140.
- Борнье 101.
- Боровой 234—240, 267, 296, 299.
- Брадлей 146.
- Бранд 99.
- Бретт 210, 212.
- Брунинг 146.
- Буассонад 205, 298.
- Бюшез 52, 54, 86, 88, 104, 109, 127, 136. — I, 203—231.
- Ваксмут 11.
- Валь 98, 212, 219, 263.
- Виолле 141, 143.
- Вольвилль 6.
- Вольтерс 98.
- Враская 99.
- Вульфийус 240—244.
- Гейдрих 6.
- Гейссер (Hausser) 11, 77—81, 149.
- Генц 7, 76. — I, 55—57.
- Герье 150—161, 167, 169, 202, 248, 250.
- Гиггс (Higgs) 143—146.
- Глаголева-Данини 166, 181, 296.
- Глогау 98.
- Гонеггер (Honegger) 6.
- Григорьева 209.
- Гриль 78.
- Гуглиа 98.
- Гурвич 264—267.
- Гуффер (Huffer) 6.
- Гуч (Hooch) 142.

- Дармштедтер 98.
 Де-Вага 98.
 Декуртэ 235.
 Дельплас 101.
 Дельвэз (Delvaize) 101.
 Доуден 146.
 Евстафиев 209.
 Еллинек, см. Йеллинек.
 Жорес 21, 81, 92, 115, 144, 149, 162, 201, 205, 225, 227, 276. — II, 216 — 278.
 Дюст 101.
 Захер 167, 295.
 Зибель 54 — 76, 77, 78, 80, 81, 149.
 Зиммерн 6.
 Зугенгейм 6.
 Иванов, И. И. 161, 295.
 Иегер (Jaeger) 93.
 Йеллинек (Jellinek) 99, 249.
 Излиг 93.
 Еареев 147 — 148, 151, 161 — 167, 296, 298 — 300.
 Карлейль 10, 122 — 140, 141, 149.
 Каррэ 169.
 Каргельерн 99.
 Каутский 10, 80, 81 — 84, 149.
 Квэнэ 67, 103, 107, 108, 149. — II, 34 — 58.
 Ковалевский 161, 162, 163, 169, 170, 172, 181 — 202, 220, 221, 240, 249, 257, 299.
 Козловский 140 1).
 Кох 99.
 Кошен 158, 160.
 Крокер 141.
 Кроноткин 159, 267 — 294.
 Кунов 80, 88 — 98, 149.
 „Кэмбриджская Новая история“ 140 — 145.
 Лакретель 15, 51. — I, 61 — 62.
 Ламартин 15, 34, 39, 149. — I, 189 — 200.
 Левассёр 168, 224, 225, 257.
 Левиц 79, 99.
 Лемин 120.
 Лимановский
 Лоран, Фр. 101 — 120, 241.
 Лоран и Мавидадь 78, 220, 255.
 Лумброзо 120.
 Лучицкий 99, 161, 163, 166, 167, 169 — 181, 196, 197, 198, 210, 220, 296, 299.
 Любимов 149, 150, 160, 295.
 Маган (Mahan) 141, 146.
 Матафтина 166.
 Матвеева-Леман 166.
 Местр, Ж. де- 34, 105. — I, 30 — 35.
 Минцес 99.
 Минье 7, 15, 24, 35, 43, 46, 51, 54, 81, 125, 127, 149. — I, 103 — 116.
 Мишле 10, 12, 15, 56, 60, 103, 108, 109, 125, 126, 127, 140, 149, 276. — I, 145 — 189.
 Мори 162, 163.
 Морлей 145.
 Никифоров 209.
 Новгородцев 247 — 250.
 Олар 127, 128, 149, 158, 159, 160, 166, 168, 171, 180, 185, 267, 278, 283, 295, 298 — II, 17 — 116.
 Опкен 6, 77, 78.
 Ону 166, 209, 210 — 219, 253.
 Паяов 250.
 Пертес 6.
 Петров, Д. 209.
 Петров, Е. 166, 167, 253 — 253.
 Пинид 79, 99.
 Поисен 153.
 Попов, И. 167.
 Райф 6.
 Ранке 6, 56.
 Реноар 224.
 Ригер 99.
 Рихтер, К. 76.
 Роз 140.
 Розанов 244 — 247, 296.
 Рудкевич 209.
 Рюс 6.
 Савин 161.
 Саньяе 170, 171.
 Сарра 120.
 Смит, В. 140.
 Смит, Э. 146.
 Сорель, 56, 62, 63, 76, 103, 149, 162, 295, 298. — II, 115 — 147.
 Сталь, г-жа 295. I, 67 — 88.
 Стефенс 146.
 СЭ, Анри 171.
 Таллентэйр 146.
 Тарановский 251 — 253, 299.
 Тарле 52, 99, 159, 167, 181, 199, 220 — 234, 295, 296, 297, 299, 300.

1) Козловский, автор книги на польском языке „Historya francuzkiej rewolucyi“.

- Тобвиль 15, 16, 19, 24, 56, 61, 65, 67, 78, 103, 104, 107, 108, 149, 167, 193, 205, 209. — II, 8—34.
 Тоуэр 146.
 Тулонжон 127. — I, 62—64.
 Трачевский 294, 297.
 Тэн 60, 66, 74, 76, 103, 127, 128, 149, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 209, 263, 278, 283, 294, 295, 298. — II, 69—112.
 Тьер 7, 47, 87, 127, 149. — I, 116—137.
 Уорвик (Warwick) 146.
 Устинов 258—264.
 Фенедей 6.
 Фихте 75. — I, 53—55.
 Хвостов 161.
 Хиггс, см. Гяггс.
 Хорошун 160—161, 220.
 Цинкейзен 99.
 Чичерин 169.
 Шаламель 235.
 Шассен 78, 153.
 Шатобриан 167, 258. — I, 38—45.
 Шерэ 22, 162. — II, 157—160.
 Шлоссер 7—12, 77, 148.
 Шмидт 99.
 Штейн, Лоренц 12—54, 81, 144.
 Штерн, А. 99, 298.
 Шульгин 166.
 Шютц 11.
 Щеголев 167.
 Эбкарт 99.
 Элери 146.
 Эспинас 145.

II. Исторические деятели XVIII (и отчасти XIX) века, имеющие отношение к французской революции.

Большую часть этого указателя занимают имена деятелей самой французской революции, крупных и мелких, какие только упоминаются в тексте или в названиях книг или статей о ней. Кроме них, упоминаются только писатели XVIII века, оказавшие влияние на революцию, а из деятелей XIX века большую часть некоторые социалисты.

- Альфieri 75, 295.
 Анж, г' 144, 289.
 Барер 247.
 Бабёф 42, 43, 46, 71, 144, 232, 233, 263, 271, 288, 289.
 Барнав 146, 261, 297.
 Бильо-Варенн 95.
 Бланшар 104, 117.
 Бонапарт, см. Наполеон.
 Бонвиль 104, 117.
 Бриссо 146, 283.
 Буассель 289.
 Буйлье 47.
 Буонаротти 42, 288.
 Варле 94, 144, 289.
 Верньо 130.
 Видадь 287, 288.
 Вимпфен 184.
 Вольней 104, 117.
 Вольтер 78, 110, 114, 145, 146, 240 и сл.
 Гельвеций 113, 167, 178.
 Гольбах 113, 360.
 Гримм, Мельхиор 167.
 Дантон 35, 38, 39, 59, 69, 92, 132, 146, 149, 262, 285, 299, 300.
 Дартэ 43.
 Демулен 92, 94, 100.
 Дидро 113, 145, 260, 265.
 Диккенс 139.
 Долилье 144, 289.
 Дюбарри 129.
 Дюмурье 35, 47.
 Екатерина II 66.
 Иосиф II 100.
 Камбон 114.
 Карра 273.
 Клоотц 94, 99.
 Колло д'Эрбуа 95.
 Кондорсэ 202, 260, 262, 263.
 Консидеран 288.
 Констан, Бенжамен 202, 265.
 Лакомб, Роза 289.
 Ланге, см. Анж.
 Лафайет 146, 295.
 Леклерк 289.

- Ле-Шапелье 52, 225, 226, 227, 228, 232, 233.
 Людовик XVI 20, 28, 30, 32, 73, 99, 125, 130, 146, 171, 189, 204, 208, 223, 253, 258, 295, 296.
 Мабли 41, 110, 136, 151, 152, 153, 159, 188, 202, 249, 250, 253, 260.
 Мальзерб 20.
 Марат 38, 39, 74, 87, 94, 131, 133, 262, 285, 288, 290, 297.
 Маршалль, Сильвен 115.
 Маркс, Карл 14, 17, 52, 80, 162, 225.
 Милль, Дж.-Ст. 139.
 Мирабо 29, 68, 69, 78, 99, 130, 131, 169, 247, 260, 295, 298.
 Монтескье 21, 78, 79, 110, 136, 153, 182, 185, 188, 201, 202, 237, 240 и сл., 247, 248, 249, 253, 260.
 Мунье 259, 260.
 Наполеон 45, 47, 49, 50, 51, 68, 100, 118, 239, 291.
 Оуэн 13, 122.
 Петион 261, 262.
 Ребманн 99.
 Ревейльон 225.
 Рейбо 13.
 Робеспьер 35, 38, 39, 40, 41, 43, 69, 74, 87, 94, 96, 117, 118, 131, 132, 165, 194, 230, 231, 232, 247, 263, 283, 284, 285, 289, 296.
 Ролан, г-жа 130, 247, 296.
 Ру, Жак 94, 144, 165, 289, 295, 299.
 Руссо 26, 40, 78, 79, 110, 117, 118, 136, 145, 151, 153, 167, 169, 182, 188, 201, 202, 237, 240 и сл., 244 и сл., 247 и сл., 258, 260, 262, 263, 264 и сл.
 Сантерр 273.
 Сен-Жюст 247, 263, 295, 296.
 Сен-Симон 13, 238, 295.
 Сьёвес 48, 99, 249, 259, 260, 261, 263.
 Талейран 146.
 Турэ 260.
 Тюрго 20, 145, 163, 195, 243, 244, 298.
 Ферзен 129.
 Франс, Анатоль 139.
 Фурнье Американец 273.
 Фурье 15, 288.
 Шалье 289.
 Шиллер 99.
 Шометт 96.
 Эбер 92, 94, 96, 97, 112.
 Эро де-Сешель 296.
 Юнг, Артур 145, 161.

III. Наиболее важные предметы, упоминаемые в тексте.

В основу этого указателя (с некоторыми сокращениями и дополнениями) положены соответственные указатели первых двух томов. Помещение в нем отдельных слов было произведено с тем же выбором, как и в предметных указателях первого и второго томов.

- Аграрное законодательство революции 78, 143, 162, 164, 172, 174, 178, 181, 190, 205, 206, 210, 211, 221, 223, 227, 230, 269, 270, 294.
 „Аграрный закон“ 274, 283, 286.
 Аграрный строй и вопрос 43, 98, 161, 169 и сл., 180, 191 и сл., 218, 219, 299.
 Активные граждане 27.
 Американофильство 186 и сл.
 Анархизм 66, 73, 91, 94, 237, 267 и сл., 278, 280.
 Анархисты 268, 285 и сл.
 Австромагия 186 и сл., 191.
 Армия 47, 50, 234, 295.
 Архивный материал 7, 56, 60, 61, 71, 78, 143, 162, 164, 172, 174, 178, 181, 190, 205, 206, 210, 211, 221, 223, 227, 230, 269, 270, 294.
 Бабувизм, см. Бабеф во II указателе.
 Бастилия 225, 228, 235, 236, 295.
 Бриссотинцы 95, 288.
 Брошюры революции 41, 89, 212, 200, 230, 234, 236, 260, 261.
 Бумажные деньги 46, 62, 297, 300.
 Буржуазия 26, 28, 29, 31, 81 и сл., 84 и сл., 92, 95, 96, 97, 162, 193, 194, 195, 214, 218, 239, 245, 271 и сл., 280, 281, 285.
 Брюмерский переворот 50, 233.

- Вандемьер 138, 165, 299.
Веротерпимость 240 и сл.
Верховное Существо (культ) 104, 117, 166, 295.
Вмешательство в экономическую жизнь 72—73, 257.
Внешняя политика революции 5, 30, 34, 57—58, 62, 63, 67, 68, 75, 76, 78, 100, 120, 143.
Выборы в Генеральные Штаты 91, 92, 162, 193, 210 и сл., 254 и сл., 258, 259.
Генеральные Штаты 23, 153, 154, 155, 206, 236, 258.
Государственное право старого порядка 186, 251 и сл. Гора, см. Монтаньеры.
Государство и общество 16 и сл., 32, 45, 49, 51.
Гражданская религия 117, 118, 244, 265.
Гражданское устройство духовенства 115, 117, 244.
Дантонисты 92, 93, 95, 96.
Декларация прав 23, 24, 67, 69, 70, 99, 103, 183, 236, 243, 249, 264, 265, 267, 296.
Демократическая монархия, см. Народная монархия.
Христианизация 75.
Директория 44, 47, 115, 118, 119, 232, 263.
„Дух Законов“ 202, 243.
Евреи 295.
Женщины в революции 297, 300.
Жерминаль.
Жирондская конституция 239, 261.
Жирондисты 34, 35, 43, 73, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 137, 138, 229, 237, 238, 239, 262, 281, 282, 283, 295, 296.
Журналистика 88 и сл., 101, 226, 227.
Законодательное Собрание 9, 22, 29, 83, 95, 113, 185, 237, 277, 279.
Индивидуализм 86, 247, 262; см. Свобода личности.
Интеллигенция 21, 35, 71, 82, 89, 91, 94, 95, 96, 214, 215, 217, 218, 293.
Интенданты 208, 209, 213.
Июня 20-ое 1792 года 229.
Классовая борьба 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 41, 52, 84 и сл., 88 и сл., 97, 179, 271, 276.
Классовая теория общества 14, 17, 52, 80, 90, 93.
Клубы 27, 29, 40, 227.
Комитет общественного спасения 68, 118, 230.
Коммуна 96, 97, 165, 284, 285, 286.
Коммунизм 12, 13, 41, 42, 53, 67, 71, 72, 144, 287 и сл., 300.
Коммунистическое движение, см. Муниципальное движение.
Конвент 33, 37, 43, 44, 59, 83, 94, 96, 113, 114, 116, 117, 118, 165, 195, 199, 200, 221, 229, 231, 261, 262, 277, 279, 285, 286, 292.
Конституанта, см. Учредительное Собрание.
Конституция 1791 года 25, 29, 31, 48, 49, 59, 69, 85, 183, 187, 190.
Конституция 1793 года 36, 37, 48, 49, 239, 249, 261, 263.
Конституция III (1795) года 45, 48, 49, 50, 233, 263.
Конституция VIII года 50.
Кордельеры 73, 285, 286.
Крестьяне 24, 71, 82, 92, 96, 143, 161, 162, 163, 164, 169 и сл., 181, 182, 193, 194, 280, 291, 298, 300.
Крестьяне-кустары 196, 199, 221, 222, 223.
Крестьянское землевладение 169 и сл., 196 и сл.,
Laboueurs 173, 198.
Lettres de cachet 235.
Максимум (закон) 225, 228 и сл.
Мануфактуры 223, 224.
Марсово поле 28.
Мая 31-ое 1792 года 44, 86, 167, 292, 293.
Монтаньеры 34, 35, 38, 39, 86, 87, 96, 137, 229, 237, 238, 239, 262, 281.
Муниципалитет парижский 226.
Муниципальное движение (п устройстве) 25, 262, 278 и сл., 286, 287.
Наказы 1789 года 23, 61, 91, 147, 151, 153, 154, 155, 156, 162, 164, 166, 167, 184, 193, 196, 199, 206, 209, 210 и сл., 220, 223, 247, 248, 254 и сл., 259, 260, 261.
Народная монархия 30, 156, 183, 188.
Народное представительство (его теория) 185, 189, 258 и сл.
Народное участие в революции 26, 27, 33, 40, 70, 72, 85, 89, 136, 216, 217, 231, 271 и сл., 276 и сл., 285, 286, 290.
Народовластие 21, 26, 28, 33, 36, 40, 55, 151, 152, 154, 183, 184, 185, 247, 249, 261, 263, 265 и сл.
Национальная гвардия 26, 27, 29.

- Национальное Собрание, см. Учредительное Собрание.
 Национальные имущества 24, 99, 166, 179, 196, 281, 282, 292.
 Национальные мануфактуры 224.
 Нотаблии 21, 22, 23, 236.
 Ночь 4 августа 1789 года 24, 152.
 „Общественный Договор“ 79, 136, 169, 202, 243, 245, 247, 249, 265.
 Общество и государство, см. Государство и общество.
 Общинные земли 179, 180, 196, 199, 200, 280, 281, 292.
 Октября 5-ое и 6-ое 1789 года 125, 227, 273, 277, 293.
 Ораторы революции 146.
 Париж 27, 146, 165—166, 227 и сл., 256, 287, 299, 300.
 Парламенты (старые во Франции) 236, 251 и сл. 1.300.
 Партийность эпохи 73, 84 и сл., 92, 95, 97, 271.
 Патриотизм 34.
 Прериналь III года 165, 299.
 Провинциальная администрация 203 и сл.
 Пролетариат 18, 82, 94, 227 и сл. См. Рабочие.
 Промышленность 200, 221 и сл., 254 и сл., 288.
 Рабочие 18, 29, 52, 71, 82 и сл., 92, 95, 96, 162, 164, 182, 193, 199, 220 и сл., 256, 280, 299, 300.
 Равенство 25, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 52, 54, 85, 108, 240, 250, 272.
 Реакция 43, 46, 47, 106, 239, 293, 299.
 Революционный суд 284, 295, 297, 300.
 Революция 10 августа 1792 года 27, 31, 84, 85, 229, 237, 286, 288, 293.
 Реквизиция 230, 231, 232.
 Религиозная свобода 240 и сл., 265.
 Республиканцы 29, 34, 110, 183, 283.
 Робеспьеристы 95.
 Руссоизм 245 и сл.
 Санкюлоты. Санкюлотизм 82, 83, 128, 134, 135.
 Свобода личности 25, 35, 51, 69, 86, 108, 234 и сл., 250, 265 и сл.
 Секции 26, 27, 164, 165, 167, 261, 284, 285, 286, 287, 295, 218, 299.
 Сентябрьские дни 1792 года 67, 284.
 Сенъернальные права 177 и сл., 180, 193, 197, 198, 209, 215, 219.
 Собственность 40, 46, 73, 74, 95, 194, 265, 290, 291.
 Социализм, социалисты 12, 13, 53, 17, 86, 88, 144.
 Социальная революция 16, 24, 72, 286, 287, 290.
 Статистическое изучение экономической истории 172 и сл., 223 и сл.
 Старый порядок 61, 64, 66, 67, 81 и сл., 98, 144, 152, 190, 203 и сл., 209, 235, 251 и сл.
 Стачки рабочих 52, 195, 222, 225 и сл., 231.
 Суверенитет народа, см. народовластие.
 Теофилантропия 119.
 Термидор 41, 43, 114, 165, 239, 240, 299.
 Террор 35, 37, 38, 41, 42, 75, 83, 85, 99, 151, 230, 238, 284.
 Торговка 168, 254 и сл., 288.
 Третье сословие 20, 22, 25, 92, 95, 113, 197, 273.
 Учредительное собрание 9, 22, 23, 24, 25, 27, 52, 69, 71, 72, 95, 112, 115, 135, 138, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 226, 227, 237, 250, 259, 261, 277, 278, 279.
 Федерализм 282.
 Фейльбацы 73.
 Феодализм 19, 65, 66, 152, 177 и сл., 180, 192, 193.
 Фермерство 177, 178.
 Физикократы 146, 195, 209, 257, 260.
 Философия XVIII века 109 и сл., 112, 142, 145, 166, 189, 208, 242, 273, 274.
 Финансы 62, 93, 143, 232, 297.
 Фрюктьдорские декреты 165, 299.
 Фрюктьдорский переворот 46, 48, 49, 50, 60.
 Христианство и революция 104 и сл., 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 296.
 Цепз (избирательный) 25, 27.
 Цепз (чинш, оброк) 197, 198.
 Цехи 182, 191, 194, 199, 200, 223, 254, 255, 258.
 Эбертисты 39, 89, 286.
 Экономическая история революции 52, 71, 73, 81 и сл., 92, 145, 163, 164, 166, 176, 177, 190, 196, 201, 207, 208, 221, 231 и сл., 269, 275, 294.
 Энциклопедисты 145.
 Якобинизм 34, 88, 99, 240.
 Якобинский клуб 97, 99, 282, 283.
 Якобинцы 73, 83, 85, 96, 146, 158, 160, 282, 283.

Оглавление.

	СТР.
XII. Немецкие историки	5
Общие замечания (5 — 6). — Фр.-Хр. Шлоссер (7 — 12). — Лоренц Штейн (12 — 54). — Генрих Зибель (54 — 77). — Людвиг Гейссер (77 — 81). — Карл Каутский (81 — 84). — Вильгельм Блос (84 — 88). — Генрих Кунов (88 — 98). — Дополнительные библиографические указания (98 — 99).	
XIII. Бельгийские и итальянские историки	100
Значение французской революции для Бельгии (100 — 101). — Франсуа Лоран (101 — 120). — Французская революция в итальянской историографии (120 — 121).	
XIV. Английские историки	121
Общие замечания (121). — Томас Карлейль (122 — 140). — „Cambridge Modern History“ (140 — 145). — Дополнительные библиографические указания (145 — 146).	
XV. Русские историки	146
Разработка истории французской революции в России (146 — 150). — В. И. Герье (150 — 161). — Н. И. Кареев (161 — 167). — И. В. Лучицкий (169 — 181). — М. М. Ковалевский (181 — 202). — П. Н. Ардашев (203 — 209). — А. М. Ону (210 — 210). — В. И. Хорошун (220). — Е. В. Тарле (220 — 234). — А. А. Боровой (234 — 240). — А. Г. Вульфус (240 — 244). — М. Н. Розанов (244 — 247). — П. Н. Новгородцев (247 — 250). — В. Иванов (259). — В. Ф. Тарановский (251 — 253). — Е. Н. Петров (253 — 258). — В. М. Устинов (258 — 264). — Г. Д. Гурвич (264 — 267). — П. А. Кропоткин (267 — 291). — Дополнительные библиографические указания (166 — 169 и 294 — 297).	
Приложение. Список работ автора, касающихся французской революции	298
Несколько слов об истории французской революции Матьеза	300
Указатели	301
Авторы, писавшие о французской революции (301). — Исторические деятели XVIII века, имеющие отношение к французской революции (303). — Наиболее важные предметы, упоминаемые в тексте (304).	